ВМБ

Кн. Е.Н. САЙН-ВИТГЕНШТЕЙН

YMCA PRESS

ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕМУАРНАЯ БИБЛИОТЕКА

Кн. Е. Н. САЙН-ВИТГЕНШТЕЙН

ДНЕВНИК

1914 - 1918

YMCA-PRESS



ОСНОВАНА А. И. СОЛЖЕНИЦЫНЫМ

СЕРИЯ

НАШЕ НЕДАВНЕЕ

5

YMCA–PRESS
11, Rue de la Montagne-Ste-Geneviève – 75005 - Paris

Кн. Е. Н. САЙН-ВИТГЕНШТЕЙН

ДНЕВНИК

1914 - 1918

Подготовила к печати Мария Разумовская.

1986

ISBN 2-85065-078-1
ISSN 0295-7469

Посвящается внукам Вере, Мари-Анне, Андрею и Дарье; Кире, Екатерине и Григорию; Андрею, Татьяне и Наталии. И их русским сверстникам.



Екатерина Николаевна, прибл. 1917

ВВЕДЕНИЕ

Когда в ноябре 1918 года князь Николай Николаевич Сайн-Витгенштейн со своей семьей перешел мост через Днестр между Могилевом-Подольским и поселком Атаки в Бессарабии, чтобы "на несколько дней" спрятаться от петлюровцев, его 23-летняя дочь Екатерина — Катя — захватила с собой в своем маленьком чемоданчике вторую, третью и четвертую тетради своего дневника. Вторую тетрадь она начала писать в августе 1914; первая тетрадь осталась в Киеве. Перевод этого дневника вышел в 1984 году на немецком языке в берлинском издательстве В.Й. Зидлер.

Фамилия Сайн-Витгенштейн — немецкого происхождения. Это один из самых древних и знатных родов Германии. Самостоятельное графство было основано в 1352 году и существовало до наполеоновских времен. В 1762 году один из младших сыновей, граф Христиан-Людвиг-Казимир, вступил в императорскую русскую военную службу и умер в 1797 году в чине генерал-лейтенанта русской армии. Его сын Петр-Людвиг-Адольф — знаменитый Петр Христианович, — родившийся во Владимирской губернии, чувствовал себя уже совершенно русским и сделал блестящую военную карьеру: он был одним из полководцев во время Отечественной войны 1812 года, впоследствии фельдмаршалом и главнокомандующим русских войск. За защиту С. Петербурга в 1812 году благодарное купечество подарило ему богатейшее имение Дружноселье, упомянутое В.В. Набоковым. Оно перешло старшему сыну Петра

Христиановича, южнорусские имения Старостинцы и Броница* – младшему. При Николае I Петр Христианович впал в немилость – он симпатизировал декабристам.

Фельдмаршал Витгенштейн был прадедом автора дневника. Ее деда, Николая Петровича, постигло семейное несчастье: его молодая жена Каролина сбежала со знаменитым композитором и пианистом Францем Листом и увезла с собой единственного ребенка, 11-летнюю дочь Марию. Князь Николай Петрович добивался развода, но во время царствования Николая I не получил его. Только после смерти царя в 1855 году он смог развестись. Он вновь женился в 1855 году и во втором браке стал отцом двух дочерей и сына, которому было два года, когда отец умер.

Князь Николай Николаевич был воспитан в Пажеском корпусе. Заслуги его деда открывали ему блестящую карьеру при дворе, но он отказался от этого поприща, окончил Сельскохозяйственную Академию в Петровско-Разумовском и главную свою задачу видел в развитии сельского хозяйства в своих южнорусских имениях. Он пользовался самыми новыми европейскими машинами и техническими средствами, применял новые аграрные методы, завел фруктовые плантации, построил винокуренный завод, где после окончания войны хотел начать производство фруктовых соков; он строил дороги и школы, много общаясь с местными крестьянами. Главными помощниками в этом деле были не сыновья, а его дочь Татьяна.

В 1888 году Николай Николаевич женился на Марии Павловне Зубовой, из старой дворянской семьи. Ее брат, Николай Петрович Зубов ("дядя Коля"), был директором Николаевского Института, московского сиротского дома, и членом Государственного Совета. У Николая Николаевича и Марии Павловны было шестеро детей: Наталия, рожденная в 1889 году и скончавшаяся в 1910 году в Давосе от туберкулеза, Борис (1890-1919), Татьяна (1894-1974), Екатерина – автор дневника (1895-1983), Андрей (1899-1939) и Ольга (1900-1943). Членом семьи считалась также Надежда Владимировна Соколова ("Нудичка"); она поступила на службу в княжескую семью, когда родилась Наташа, и пробыла у них до рокового дня бегства через Днестр. От нее впоследствии не было никаких вестей.

---

*) Именно так, "Броница" (а не "Бронницы"), стоит в Дневнике. (Прим. изд.).

О судьбе семьи Сайн-Витгенштейн в годы Первой мировой войны и революции, о конце и гибели целой эпохи русской культуры рассказывает этот дневник очевидца, молодой девушки. Она записывала свои наблюдения и мысли исключительно для себя самой, "чтобы вспоминать в старости", и иногда резко, иногда несправедливо, но всегда искренно и от всего сердца высказывала то, что ей казалось правдой. "Дневник – это не мемуары, – написал А.И. Солженицын нашей матери 6 мая 1982 года, – но гораздо дороже их. И не потому только, что пишется для себя – а *современно*, как не может потом восстановить ничья память, особенно – о подробностях настроений, которые потом изглаживаются и меняются ..."

В своем эпилоге Е.Н. Сайн-Витгенштейн-Разумовская рассказывает о дальнейшей судьбе действующих лиц ее повести. Добавить нужно лишь то, что и у самого дневника была особенная судьба: многие годы черные тетради лежали забытыми в ящиках, сначала в Чехословакии, после 1946 года – в Вене. Только после призыва А.И. Солженицына к старым эмигрантам (в 1975 году) наша мать вспомнила об их существовании. Она выписала из них несколько страниц и послала Солженицыну, но когда впоследствии он выразил свой интерес к этому дневнику, она уже не могла переписать то, что писала 60 лет назад. Но читать она еще могла, и в течение почти целого года она читала свой дневник на магнитофонную пленку, сама исправляла машинописный текст, приняла деятельное участие в редактировании, написала несколько дополнений и эпилог. Она умерла в 1983 году, в 87-летнем возрасте, вскоре после того, как нами был закончен немецкий перевод дневника.

Большой успех немецкого издания дневника нашей матери уже не пришлось увидеть, но ее очень обрадовал отзыв ее первого русского читателя:

"Вы были весьма проницательной барышней – Вы в середине марта в Петрограде сформулировали, в общем, все то главное, что мне далось восемью томами повествования, и в чем я тоже абсолютно уверен.

А.И. Солженицын, 6 мая 1982".

Мы публикуем дневник с полного одобрения автора. Наша мать была рада, что смогла восстановить память любимой и всю жизнь оплакиваемой родины, что она таким образом смогла еще раз рассказать о ней не только своим внукам, но и старшему и молодому поколению ее бывших соотечественников.

При подготовке рукописи к печати нам очень помогла Э.П. Гомберг. Биографические данные нам сообщили отец Борис Бобринский, гр. Л.С. Милорадович, В.С. Оболенский и Е.А. Пущина. Мы очень признательны также нашей двоюродной сестре К. Чиплеа (урожд. Василько) за предоставление нескольких фотографий. Всем им приносим нашу благодарность.

М., Д. и О. Разумовские
Вена, апрель 1985 г.

Знаешь ли ты тот край,
Где душа вся моя?...

1914 год.

Воскресенье, 3 августа 1914.
11 часов вечера.

Вот я начинаю вторую тетрадь моего дневника. Задаю себе вопрос: о чем я буду писать в конце ее? Все еще о великой европейской войне или о всемирной? Эта тетрадь такая толстая, что много совершится событий, пока я допишу ее до конца. Хороших или дурных? Зачем загадывать, лучше отойти в сторону и следить за движущимся потоком жизни.

Сегодня газеты наконец пришли, но все-таки не принесли особенных новостей. Конечно, некоторые новости есть и, как всегда, благоприятные для нас. Может ли это быть правда, что в газетах только хорошие известия? Официально подтверждается о нашей победе при Сокале. Мы выбили из города 3 (если я не вру) неприятельских полка и заставили их отступить. Ландштурмисты разбежались до исхода боя; город остался за нами. Вот уже, кажется, день, что немцы стараются прогнать наши войска из занятого нами Eydtkuhnen, и все время безуспешно. Это все маленькие стычки, пока еще ничего серьезного не было. Но и за эти незначительные стычки один казак успел отличиться и получить Георгия. Он один убил 11 немцев; получил 16 ран штыками и все-таки поправляется. Право, молодцы наши казаки, хорошо, что мобилизовали всех сибирян, они еще дадут себя знать немцам.

Соединились армии, бельгийская с английской. Льеж не взят, а немцы отходят к Намюру. Kaiser предложил было мир королю Альберту, говоря, что никогда не хотел воевать с доблестным бельгийским народом, и обещал крупные территориальные компенсации по окончании войны. Король ответил, отверг это любезное предложение и оповестил об нем дружественные державы. Попытка Kaiser'a села в калошу.

Понедельник, 4 августа 1914.

Япония объявила ультиматум Германии: очистить японские и китайские воды от немецких военных судов или разоружить их, а также безвозмездно передать Японии Као-Чао, которое Япония в свою очередь отдаст Китаю. Все это исполнить в течение месяца. Срок ультиматума 7 дней. По истечении его Япония оставляет за собой свободу действий. Коротко и ясно. Японцы не могут обойтись без нахальства, но на этот раз это нахальство послужило нам в пользу. Да и немцам не лишнее узнать, что такое получать ноты, составленные в том же тоне, как та, которую они редактировали Австрии для передачи Сербии.

Немцы не могут обойтись без надувательства. Знаменитые "Goeben" и "Breslau", застрявшие в Средиземном море, были "куплены" Турцией. Очень понятно, что двум крейсерам не очень приятно сидеть в Средиземном море, имея перед собой соединенную Мальтийскую и Тулонскую эскадры. Они могли соединиться с австрийской эскадрой, но разве Kaiser думает о выгоде своих союзников, когда не замешана его прямая собственная выгода? Ему гораздо было выгоднее дать Турции в руки большой козырь, перевес над греческим флотом в лице "Goeben", который есть последнее слово науки. Другая выгода, это возможность войти в Черное море и разгромить наши порты. Все было прекрасно задумано и мастерски разыграно: немецкие команды по телеграфу приняли турецкое подданство, надели фески и прошли проливы. Но державы Тройственного Согласия не пошли на эту удочку: послали требованье Турции немедленно разоружить суда и послать их команды в Германию, т.к. международным правом запрещено судам воюющих стран стоять в нейтральных гаванях, и также потому, что это право запрещает покупку судов во время их плаванья. Державы Тройст. Согл. решили считать эти суда как немецкие и действовать против них как против таковых. Из этого всего вышло то, что до прихода "Гебен" и "Бреслау" в Константинопольский пролив они были настигнуты

английской эскадрой и начался бой, из которого "Гебен" удрал с помятым боком и развороченным командирским мостиком. Жаль, что так дешево отделался.

У нас все спокойно, австрийцы еще не пришли громить Броницу. Ходят слухи об их наступлении и их намерении взять Каменец-Подольск. В этом случае нам бы пришлось "prendre la clef des champs".

Мы до сих пор не получили известия от Бобы, кроме той телеграммы из Москвы. Мамулечка ужасно беспокоится, и вообще настроение у нас царствует не из веселых. Хоть бы завтра пришла телеграмма.

Вторник, 5 августа 1914.

Наконец телеграмма пришла и вслед за ней и письмо. Телеграмма нас очень изумила и огорчила. В ней сказано: "Только сейчас выяснилось положение. Полк не застал, еду в Новгород резервный батальон. Здоров. Пишу подробно".

Это известие, которого мы менее всего ожидали. Мы все думали, что Конногвардейский полк не двинут из Петербурга, а тут вдруг в Новгород, зачем, и надолго ли? А если двинут на границу? Все это темно, неясно и поэтому страшно. Сегодня получили его письмо из Москвы. Оно написано в веселом, бодром духе и показывает, что его настроение не изменилось. Он между прочим рассказывает, что слышал несколько раз, как его называют солдатом, и говорит, что гордится этим. Он говорит, что чем ближе он к цели, тем скорее ему хочется вступить в новые обязанности. Это очень понятно, и я ему так завидую! . . . Еще Боба пишет, что Таня, Женя Лопухины и Наталья Бобринская записались сестрами милосердия при московских госпиталях. Долго ли я буду сидеть сложа руки, хлопать глазами и смотреть, как другие работают? Я до сих пор не решилась поговорить об этом с мамулечкой, боясь получить раз навсегда отказ. Но право, я не могу так продолжать, я так хочу работать. Сегодня целый день шила белье для раненых, но это не довольно, я знаю, что могу сделать больше! Если бы мы сейчас были в Москве!

6 августа 1914.
4 часа вечера.

Упорные слухи о взятии Каменца австрийцами продолжают циркулировать. Старый Пан ходит мрачно и толкует о том, что нам надо ехать. Это, наверно, так и случится, т.к. я слышала очень отчетливо сегодня звуки стрельбы из пулеметов, да, кажется, и не я одна. Смешно то, что, кажется, все уже не раз это слышали, но никто об этом не говорит и как будто старается сам забыть, чтобы другие забыли об угрожающей опасности. Вообще мы все поразительно хладнокровный народ, и я могу только положивши руку на сердце сказать, что не боюсь, и что если нам скажут, что надо бежать, не произойдет ни малейшего замешательства, никто не испугается, – или по крайней мере никто не покажет этого. Когда идет война, все жители должны принести хоть какую-нибудь жертву, и если австрийцы разгромят Броницу, то это будет наша жертва. Мы уже дали Бобу, но, может быть, этого не будет довольно. Мы знаем, что наш фронт самый второстепенный, и наверно австрийцы могут войти в Подолию. Тут, кажется, совсем нету войск.

9 часов вечера.

Австрийцы заняли Каменец. На рассвете мы уезжаем. Едем на Рохны, 80 верст лошадьми. Суматоха. Нужно все убрать, спрятать. Говорят, они скоро будут здесь.

Рохны, 7 августа 1914.
8 часов вечера.

Мы устали, раскисли! Этот день был так богат переживаниями, что голова идет кругом. Не знаю, смогу ли я описать все это по порядку, да я и не буду пока пробовать, т.к. все равно ничего не выйдет.

Пока займусь более близкими предметами. Вот какая сейчас передо мной открывается картина: крошечная комнатка подозрительной чистоты, с зелеными стенами, кафельным полом, продушенной зеленой кожаной мебелью и кривым зеркалом. Вся эта комната битком набита нашими бесчисленными чемоданами, мешками и т.д. На зеленом диване, по углам, сидят мамулечка, бабушка и Надя. Все трое дремлют. Против меня, на куче мешков и чемоданов, лежит скорченная Татьяна и, кажется, спит. Из соседней комнаты, salle d'attente, слышен целый хор голосов и запах табака. Там, между

прочим, сидят папа, Андрей и Ольга – "кавалеры" потому, что здесь нет места, а Ольга потому, что здесь слишком жарко, и скорее потому, что там ей веселее.

Я сижу одна между всеми спящими, и при тусклом свете керосиновой лампочки не разбираю даже линеек. Поезд должен отойти в 10 часов вечера, но, конечно, уже опаздывает и придет не раньше половины одиннадцатого. Время тянется медленно, но, несмотря на все пережитые тревоги и волнения, я даже не чувствую себя усталой. А вместе с тем, я половину прошлой ночи провела на ногах в страшной беготне, спала не больше двух с половиной часов и встала в 5 часов утра, целый день ехала на линейке. А все-таки вовсе не чувствую потребности сейчас ложиться спать. Думаю, что если мне при обыкновенных условиях пришлось бы сделать то же, я сейчас бы лежала в компоте. Это просто возбуждение, чрезмерное напряжение всех сил, что дает мне такой избыток энергии. Еще я не знаю, как мы проведем ночь. Этот поезд из Одессы может совсем не придти, он может быть переполнен. Если же мы не попадем на него, то нам ничего другого не остается делать, как сидеть всю ночь здесь или спать на наших "гаробах" на дворе. И то и другое скверно, но я все-таки предпочитаю последнее.

Киев, 8 августа 1914.
Гостиница "Франция".

Все вчерашние опасения оказались неосновательными, и мы прекрасно доехали до Киева, да еще с большими удобствами, т.к. по случаю того, что нам прицепили несколько воинских вагонов, мы приехали сюда в половине первого вместо 5 часов вечера. В Рохнах нам сказали, что мест 1-го и 2-го класса не будет, но папа все-таки взял билеты 1-го, чтобы хоть там сидеть в коридоре. Но это оказалось ложными слухами, и мы достали 2 места первого и 6 второго. Выспались отлично, отдохнули, и все пришли в веселое настроение, тем более, что нас очень успокоил один офицер: рассказал, что Каменец решили брать обратно, что австрийские разъезды около Ушицы прогнаны, что насчет Могилева не слышно ничего угрожающего. "Барометр общественного настроения" моментально поднялся очень высоко, и мы с увлечением принялись рассматривать попадающиеся воинские поезда. И правда, эти поезда все время попадались нам на пути.

Площадки с пулеметами, автомобилями, повозками, товарные вагоны с лошадьми, все это возбуждало наше любопытство. Солдаты

одни спят в соломе, другие пьют чай и едят хлеб. Все имеют веселый, довольный вид. Потом песни поются... Глядя на них, вовсе нельзя подумать, что война так ужасна.

Как хорошо мы ни ехали, мы все-таки были довольны приехать в гостиницу, в большой, роскошный номер... Первым делом купили себе закопченые стекла и провели 2 часа на улице, смотря на знаменитое солнечное затмение. Так сильно в нас развита туристическая жилка. Но, к величайшему нашему разочарованию, небо было закрыто густыми тучами, и хотя затмение было полное, можно было наблюдать только его начало. Темно же было, как ночью, но все было испорчено тем, что на Крещатике зажгли фонари, и темно было только два часа с секундами, но все-таки это было очень интересно.
Я не верю, что австрийцы могут разгромить Броницу: мы все слишком веселы!

Киев, 9 августа 1914.
9 часов вечера.

В час ночи уезжаем в Москву. Будем ехать ночь и день, да еще хорошо, если найдутся места.

В Бронице пока все благополучно. Ходят слухи, что мы прогнали австрийцев и перешли границу. Не рано ли было удирать? Мы хотим прилечь отдохнуть. Может быть, не придется спать.

11 часов вечера.

Бедная Ольга заснула. Сейчас едем на вокзал. Все устали и хотят спать. Надеюсь, найдем лежачие места в вагоне.

10 августа 1914.
В вагоне. 4 часа вечера.

Царство сна. Во всех углах нашего купе спят: папа и Ольга внизу, Татьяна и Андрей наверху. Ночь была скверная. У нас всего одно купе 1-го класса на семь человек, да и это было удержано папой и Андреем после долгого, упорного боя. Спали мы вшестером, так как папа спал где-то в 3-ем классе. Андрей и Татьяна на верхних диванах спали хорошо, несмотря на то, что мы забыли положить тюфяки и они лежали на твердых досках. Нам, нижним, было хуже. Мы заполнили часть прохода между диванами всяким мелким

багажом, постелили на них пальто, и мы с Ольгой улеглись на этот "понтонный мост". Мамулечка и бабушка устроились на диванах, или скорее на половинах диванов... Мы легли только в 3 часа ночи, "понтонный мост" был такой узкий и в нем были такие ребра, что из этих пяти часов я половину провела сидя. Сегодня утром я чувствовала себя очень усталой, но сейчас мне хорошо. Должно быть, я совсем привыкла не спать.

... Жара и духота ужасная. Окно открывать нельзя, если не хочешь задохнуться от пыли. Скверно летом ездить в вагоне, да еще по семи человек в купе. Но нам не приходится жаловаться: уже не говоря о том, что масса желающих не попала на этот поезд, целые толпы всю ночь и утро наводняли коридор. Спали, сидя на ручных вещах, где кто мог приткнуться. Бедный папа был один из них, но он хоть нашел себе место в 3-м классе. Но в Конотопе прицепили еще один вагон, и коридор немедленно очистился. Поезд неимоверной длины, чуть ли не 50 вагонов. В день идет только один поезд, все остальное время занято воинскими поездами.

Сегодня мы оригинально завтракали: в хуторе Михайловском поезд стоял 20 минут. Мы решили пойти поесть. Но, по-видимому, это решили все пассажиры, т.к. в маленькой комнате буфета происходило что-то неописуемое: сплошные толпы с громкими требованиями борща и котлет теснились к столам. Папа усадил на угол стола маму и бабушку, а нас четверых повел дальше. Наконец, мы с Татьяной и Ольгой сидели между какими-то толстыми, веселыми людьми. Ольга принялась было за борщ одного из наших коллег, но при отчаянном его протесте собралась оставить отвоеванный пункт. Но папа достал еще тарелку борща и другую с огромным шницелем. Татьяна и Ольга принялись двумя ложками хлебать борщ, я же взялась за шницель. Когда я его довольно съела, то предложила Татьяне с Ольгой меняться. Это вызвало большую веселость со стороны наших соседей, но все-таки мы прекрасно позавтракали и, купив себе красного кваса и яблок, в очень веселом настроении вернулись обратно в купе.

Вообще энергия наша не падает. В Бронице все благополучно. Боба здоров, и кроме того ходят слухи, что мы взяли* *Краков и Лемберг.* **

---

*) Дикая утка! (Прим. 1916г.).

**) Лемберг – немецкое название Львова.

Москва, 12 августа 1914.
12 часов ночи.

Вчера приехали, и как нам ни было грустно опять очутиться в наших знакомых комнатах, мы все же были рады, что наши странствования кончены и мы опять на месте. Вчерашний день прошел тихо: ходили в баню (первый раз в жизни. Очень весело!), потом пришла Женя Лопухина. Она поступила на курсы сестер милосердия. Она рассказала нам, что попасть туда невозможно: все вакансии расписаны на две очереди, т.е. три месяца. Кроме того, все поступающие подвергаются медицинскому осмотру, который мы не можем пройти. Требуется большая физическая сила, выносливость, здоровье, а разве мы отвечаем этим требованиям? Но мы с Татьяной не останемся сидеть сложа руки. Мы записались на дневные дежурства в лазаретах. Я еще не знаю хорошенько, в чем будут заключаться наши обязанности, но вроде чтения раненым, писания писем и т.д.* Этим всем заведует графиня Бобринская. Я не буду распространяться, как я рада, что попала туда.

Сегодня уже мы вступили в наши обязанности.

Гр. Бобринская вызвала нас по телефону на Александровский вокзал, куда должны были приехать два поезда раненых и пленных, 1200 человек. Для всех надо было приготовить по большому куску хлеба с колбасой и стакану чая, а потом всех накормить. Жаркая это была работа! Мы приехали в 12 часов, а уехали в 5 часов...

Одна из зал 3-го класса была всецело предоставлена под нашу "кухню". За длинным столом стояли все участвующие и резали хлеб. Потом клали колбасу и делали сэндвичи. Тут же готовились огромные чайники кипятка и чая и в мешке лежал сахар. Готовый хлеб складывался в огромные корзины, которые должны были нести двое людей. Все это делалось с быстротой молнии. Варвара Николаевна командовала, как фельдмаршал, и порядок был образцовый. Готовые корзины выставлялись на перрон в ожидании прихода поезда. Было две команды: хлебная и чайная. Мы принадлежали к первой, причем нашу корзину несли два студента, а мама, Татьяна и я раздавали хлеб... Когда поезд подошел, корзины пошли по линии вагонов и каждому раненому давали по куску хлеба. За ними шли чайники и разливали чай. По большей части это были легко раненые, более тяжелых оставили в Ковно. Большая часть веселые; рассказывают, что мы наступаем на Кенигсберг. Это же подтверждают

---

*) Как мы потом радовались, что не попали в число этих "сестер утешительниц". (Прим. 1915г.).

пленные. Это все с немецкой границы, из-под Гумбиннена и Сольдау. Почти что все поляки, говорят немного по-русски, и вид имеют очень веселый. Все крепкие, рослые, красивый народ. Есть и пруссаки в касках, обмотанных тряпками хаки. Эти держат себя очень развязно и нахально, требуют побольше хлеба. Поляки же держат себя смирно и благодарят, когда им приносят есть. Наши мальчишки Андрей, Гаврилка Бобринский и Владимир Львов, разносили по вагонам папиросы и спички, болтали с ранеными и были очень довольны. Завтра опять будем на вокзале. Еще предстоит много работы.

13 августа 1914.
11 часов вечера.

Сегодня два раза были на вокзале. Первый поезд пришел в 12 часов, а второй в 8 часов вечера. Мы встречали оба, устали, но очень довольны. Как много мы наблюдали разных типов, как много можно рассказать, а сейчас вечером так устали, так хочется спать, что с трудом пишешь эти строки. Ведь раненые и пленные – это живые газеты. Они рассказывают, что видели, что перечувствовали, они – это те самые солдаты, про геройство которых мы читали в газетах. Глядя на них, можно только изумляться, изумляться их необыкновенно бодрому, веселому духу, их готовности немедленно по выздоровлению вернуться в поле. Они рассказывают о бое при Гумбиннене, как будто это простая вещь. "Мы все нападали, а "он" отступал". –"Хорошо дерутся немцы?" Одни говорят: "Хорошо, да наши лучше!" А другие: "Какое хорошо? Все от нас убегают!" – "А страшные ли немцы?" "Нет, мы их за два дня за 80 верст прогнали".

Пленные изумляют меня своим веселым расположением духа. Они видимо радуются, если с ними заговаривают на их языке, и очень благодарят за еду и папиросы. Видно, что они не ожидали такого обращения. Наши солдатики смотрят на них странно: ни тени недоброжелательности. Они обращаются с пленными снисходительно, ласково, мягко. Разливаем мы чай в одном вагоне; на доске перед дверью сидит вольноопределяющийся и говорит: "Спасибо, нам всем довольно, а вот немчику нашему дайте, он славный малый".

Так относятся к пленным солдаты, так же публика, и как-то нельзя себе представить, чтобы могло быть иначе. Хорошо ли это или плохо, не знаю, но эта мягкость присуща всем славянам.

Завтра будем встречать три поезда, от 12-и до 7 часов вечера. Я очень устала и не могу писать дальше.

. . . .

Получили от Бобы телеграмму: он в Новгороде и наконец причислен к полку. Сейчас конногвардейцы отозваны в Вильну на поправку. При Каушене они впереди всех шли на приступ какой-то батареи и, кажется, понесли большие потери. Есть убитые из наших знакомых: оба Катковы, бедный Андрей Катков, с которым мы танцевали прошлую зиму и который всего несколько месяцев был женат. Он был Бобин друг, и это известие очень огорчило его. Еще убит Лопухин, троюродный брат Тани и Жени; Бобриков, наш родственник, ранен. Какое счастье, как я благодарю Бога, что Боба не успел попасть в это дело. Мне страшно подумать, что его бы сейчас могло не быть в живых. Надолго ли? На все воля Божья!

14 августа 1914.
11 часов вечера.

Опять несколько часов пробегали на вокзале. Там с каждым днем все больше беспорядка. Масса совсем посторонних личностей как-то ухитрились попасть на перрон и только мешают. Сегодня я имела больше дела с пленными. Кормила и поила их, и между ними одного тяжело раненного офицера-немца. Он с трудом двигался и все время стонал. Я помогала ему пить. Все раненые пленные имеют ужасно жалкий вид. Чем виноваты эти люди, что их Kaiser задумал завоевать весь мир?

Наши солдатики более веселые. Только некоторые спрашивают, тут ли их выгрузят, и говорили, что дальше ехать "невмоготу".

Сегодня к нам приходил В.А. Воложской. Он только что приехал из Петербурга, куда ездил навещать раненого Бобрикова. Он нам рассказывал подробности геройского поведения Конногвардейского полка в деле под Гумбинненом. . . . Тут говорили, что почти что весь полк уничтожен. Это неправда: солдат погибло мало, но зато очень много офицеров. Вот как это было: Конногвардейскому и Кавалергардскому полкам нужно было взять какую-то батарею. Для этого 4-й эскадрон Конногвард. полка, тот, которым командовал Бобриков, должен был отвлечь внимание неприятеля. Он сделал небывалую вещь: офицеры, спрятавши солдат за блиндажи, взяли штыки и пошли одни вперед, на врага. На них бросился неприятель.

Тут-то и погибло много этих героев, и между ними Катковы и тот другой Бобриков, молоденький вольноопределяющийся, как Боба. Сам командир Бобриков спасся только чудом: он был ранен в руку и упал, но в эту минуту из-за блиндажа выскочил один вольноопределяющийся – граф Гудович, поднял его, несмотря на град пуль, и привел за блиндаж. А пока все это происходило, солдаты бросились на неприятеля и пошел бой. А тем временем остальные силы стремительным натиском напали на батарею, и после долгого, упорного боя, где полегло немало героев, овладели ею.*

Геройскую атаку наших гвардейских полков будут долго вспоминать. Бобриков представлен к золотому оружию, а Гудович получил Георгиевский крест. Пока оба полка отозваны на отдых, но только не в Либаву, так как ее взорвали и готовятся к осаде.

Что-то нам принесут завтрашние газеты? Пока наши войска находятся на прусской границе, возле Инстербурга, под Кенигсбергом, а на австрийском фронте под Львовом.

Меня пугает отсутствие союзных войск. Правда, что против них были посланы главные силы, но, должно быть, теперь часть их откинута на нашу границу.

. . . .

12 часов ночи.

Звонит телефон. Это Саша Зубов, говорит, что Павлуша Салтыков ранен осколком гранаты в ногу. Это еще не так страшно. Хоть жив останется. Что-то делает мой милый Боба?

Суббота, 16 августа 1914.
12 часов ночи.

Как давно я не записывала совершающихся исторических событий, а вместе с тем они правда поразительны! Я остановилась в моем дневнике записи событий на словах "кажется, австрийцы хотят взять Каменец, а тогда нам придется prendre la clef des champs". Это было написано 4 августа, а в тот же день Каменец был занят, а 6-го австрийцы показались у Новой Ушицы. 7-го утром мы уехали, а в тот же день австрийцы были разогнаны и у городка соединились с более крупными силами, которые 8-го были наголову разбиты

---

*) Этой атакой командовал Врангель. (Прим. 1981 г.).

нашими войсками. С этого времени австрийцев гнали отовсюду, и вскоре Каменец был очищен. Сейчас ни одного австрийца нет в пределах нашей границы, а наши войска находятся под Львовом. Всего 12 дней прошло со дня нашего отъезда из Броницы, а как все изменилось! Тогда это было время очищения нами Привислинского края, сдача Каменца и др. городов, а также время незаконченной мобилизации и нашего бездействия на прусской границе. С тех пор, как мы, стянув нужные силы, двинулись вперед, с тех пор газеты каждый день приносили известия о все новых и новых победах. Мы наступаем – молниеносно, неудержимо беря города, гоня перед собой неприятеля, сламывая все препятствия! Правду сказал один английский писатель: "Россия не должна двигаться, пока не будет окончательно готова. Когда же двинется русская лавина, ее удержать будет невозможно!" Много мы выдержали кровавых боев и велики наши потери, но мы победоносно идем вперед, и велик подъем духа той армии, которая, сметая врага, проникает все дальше вглубь его страны. Впереди идет цвет нашего войска, лучшие полки гвардии, а с ними мы победим, т.к. гвардия или побеждает, или ложится костьми за отечество. Бой под Гумбинненом 9 августа, наш первый генеральный бой, в котором победа была столь блестящей, поднял на небывалую высоту дух армии, дух нации. Он доказал, что немцы вовсе не так непобедимы, как казалось, а также – что мы опять стали такими русскими, какими бывали встарь.

Мы заняли Гольдап, Сольдау, Найденбург, Ортельсбург, Гумбиннен и важные железнодорожные центры, по которым сейчас и тянется граница занятой нами области: Тильзит, Инстербург и Алленштейн. Ходят слухи, что мы под самым Кенигсбергом, даже будто бы мы его взяли. Это слишком невероятно: Кенигсберг такая сильная крепость, что говорили, будто мы его пока брать не будем, а, оставив заслонку, пойдем дальше. Но сегодня в вечерней газете есть следующее сообщение: "Официально сообщаем, что наше наступление в Пруссии продолжается все так же успешно. Из достоверных источников известно, что наши успехи в Северной Пруссии столь блистательны, что перед нами преклоняется вся Россия". Не значит ли это, что Кенигсберг скоро будет в наших руках?

Население занятых нами городов, напуганное властями, говорящими, что русские варвары и что надо от них спасаться, в панике бежит в Берлин, внося ужас и беспорядок среди тамошних жителей, от которых скрывают положение на поле действий. Не сослужил ли Вильгельм таким образом самому себе плохую услугу?

Если у нас дела обстоят блестяще, то у наших союзников пока они плохи. Льеж и Брюссель взяты. Намюр горит. Конечно, это ничего не значит, т.к. с нами за спиной немцы не могут обратить должного внимания на Западный фронт. Но чем виновата маленькая Бельгия, что на нее обрушились все тяжести войны? . . .

Какие-то нам вести принесут завтрашние газеты?

Воскресенье, 17 августа 1914.
Половина двенадцатого.

Вечером получили телеграмму, что завтра папа приедет из Петербурга и привезет Бобу! Что бы это значило? Может быть, его отпустили на день перед тем, как отправить в полк? Дай только Бог, чтобы все было благополучно. . . . На театре военных действий ничего нового. Идет большое сражение в Галиции. Результаты неизвестны. Наступление наше на Пруссию продолжается. Все благополучно.

Вторник, 19 августа 1914.
12 часов ночи.

Опять три дня не писала, и опять так много случилось разного, что я не знаю, как обо всем написать.

Во-первых, третьего дня приехал Боба. Его отпустили к нам на два дня, должно быть перед походом. Он весел, бодр и очень гордится своей новой военной формой: синие рейтузы, рубашка цвета хаки, белый ременной пояс, черные и красные погоны и шашка на белом же ремне. Эта форма очень простая, но очень идет к нему. В ней он выглядит еще выше, настоящий гвардеец! Он живет в какой-то деревушке около Новгорода, где стоит резервный эскадрон из всех гвардейских полков. Скоро их двинут в Вильну, где распределят каждого к своему полку. Пока он живет в избе, с двумя другими вольноопределяющимися и двумя солдатами. Господа вольноопределяющиеся живут на одной половине избы, едят из одного котелка, спят на полу вповалку, причем комната так невелика, что когда они лежат, пройти по ней можно с большим трудом. Но Боба чувствует себя прекрасно и вид у него очень хороший.

Сегодня утром он уехал опять и теперь уже по-настоящему. О Война, Война, хоть Ты и великая, но Ты требуешь большую жертву. Какая будет следующая? Нет, мне стыдно, это малоду-

шие. Мы должны собрать все силы, должны отдать все, даже самое дорогое – наших близких. Но насколько это было бы легче, если при этом мы бы могли отдать и самих себя, свои силы, свои руки и энергию ...

. . . .

На театре военных действий, после ряда блестящих побед, пришел первый удар! Весть об отступлении наших войск, о смерти генерала Самсонова и колоссальном уроне двух наших корпусов.

Это была гроза после ясного дня, горе после радости. Все немного упали духом. Не рано ли? Избалованные последними успехами, мы как будто забыли, что ведем борьбу с сильнейшим врагом, забыли, что счастье переменчиво, забыли, наконец, что это война, а никакая война не может пройти без крупных неудач и тяжелых потерь. Это поражение не ослабит силы России, наоборот, оно удвоит их. Это уже доказали последующие события. В том сражении победили не немцы-люди, а тяжелая артиллерия, состоящая из ужасных 42-сантиметровых орудий Круппа, бьющих на 20 верст. Эти-то орудия и уничтожили почти что два наших корпуса, убили нашего талантливого генерала и несколько чинов штаба.

Тяжелое впечатление произвело это поражение, и все еще с большей надеждой устремили глаза на австрийскую границу, где длившийся 8 суток ожесточенный бой начал разрешаться в нашу пользу. К вечеру получили известия о полном поражении австрийцев. Сегодня утром эти слухи официально подтвердились: австрийская армия отрезана от своей базы; 15-я дивизия уничтожена; в плен взято 100 офицеров и 4000 солдат; масса раненых, взяты знамена и несколько пулеметов; все поле усеяно убитыми. Эти известия несказанно всех обрадовали. Но вслед за ними пришло и другое, еще более радостное: в Пруссии наши войска перешли в контратаку и опять отбросили немцев. Генерал Ренненкампф был героем этого трудного, кровавого дела. Имя его у всех на устах. Государь наградил его орденом св. Владимира 2-й степени с мечами. Известие об этой новой победе сразу разогнало все страхи и беспокойства. Опять все просветлели и развеселились. Русский народ нескоро опустит руки, его нелегко пошатнуть, даже в годину таких тяжелых испытаний. Велика сила русского народа, подкрепленная верой в правоту своего дела и в конечный благоприятный исход. "С нами Бог! Разумейте языци, и покоряйтеся, яко с нами Бог!"

Среда, 20 августа 1914.
11 часов вечера.

Опять хорошие новости! Газеты говорят о полном разгроме австрийской армии под Львовом, о захвате массы пленных и орудий. Ходят даже слухи, что форты Львова в наших руках. Если это так, город скоро вынужден будет сдаться. Львов – это оплот всей Галиции, и когда он падет, вся эта область в скором времени будет наша. Галичане очень рады такой комбинации: постоянно слышно о капитуляции целых отрядов, о перебежке под наши знамена и т.д. Еще сегодня в газете было сказано, что целый полк, составленный из славян, чехов и поляков, с распущенным знаменем и под звуки "Боже Царя храни" перешел нашу границу и сдался нашим солдатам. Они просили, чтобы их обмундировали по-русски и отправили бить немцев. Их просьба будет удовлетворена. У нас было еще одно сражение в Галиции: у Белой Липы, при слиянии Буга с другой какой-то речонкой. Это, по мнению австрийцев, была неприступная позиция, но это не помешало нам взять ее и отбросить назад неприятеля. Разве для наших солдат существуют неприступные позиции? Ожидаются большие бои на Висле. Должно быть, хотят двинуть войска на Краков.

Из Восточной Пруссии известия тоже хорошие. Опять было сражение у Остероде, и опять в нашу пользу. Немцы спешно переводят войска с Западного театра войны, но кажется – и мы не спим. Отсюда, так же, как из Киева, через каждые четверть часа отходит воинский поезд. Пусть немцы не надеются так скоро выгнать нас из Пруссии. Пока что письма из занятых нами городов приходят с русскими марками.

Все это последнее время я не писала о наших союзниках. А вместе с тем на Западном театре войны дела обстоят плохо. Немцы наконец прорвались через Бельгию и вторглись во Францию. Брюссель в их руках, Шарлеруа и Намюр превращены в груду развалин, беззащитный Лувен сожжен. В этом последнем погибла масса памятников искусства: университет, знаменитая библиотека, древние фолианты и т.д. и т.д. Варварское уничтожение этого высококультурного города вызвало небывалое возмущение во всей Европе, нет, во всем мире, т.к. Америка тоже выразила свой протест по случаю вандальства гуннов XX века. Конечно, их пока не укротишь, и Бельгии приходится плохо. Кажется, они хотят окружать Антверпен. Королева с детьми уехала в Лондон. Каково-то ей было уезжать, оставляя своего мужа в его разоренной стране! Немцы также далеко зашли вглубь Франции. ... Скоро можно ожидать осаду Парижа.

Город уже объявлен на осадном положении, в Bois de Boulogne пасутся стада, так же, как и в Longchamps; Louvre закрыт, а банки выбираются из города. Над Парижем уже несколько раз летали немецкие аэропланы и бросали бомбы, но безуспешно, т.к. авиаторы боялись спуститься пониже и летели на высоте от 1500 до 2000 метров. Теперь в Париже стоит целая "escadrille" блиндированных аэропланов, снабженных пулеметами. Уже был один бой в воздухе, первый, в котором французы уничтожили три немецких аэроплана.

О наших других союзниках буду писать завтра, сейчас я очень устала. Скажу только, что французы правы, что не падают духом. Разве немцы могут уничтожить Париж, когда мы сидим у них в Пруссии и громим австрийцев.

Суббота, 23 августа 1914.

Вчера случилось великое событие в истории европейской войны: после страшного натиска наши войска заняли Львов! Эта победа имеет громадное значение: упорный, кровопролитный бой, продолжавшийся 7 суток, мог кончиться только разгромом одной из армий и блестящей победой другой. Мы победили. Мы завоевали сердце Галиции, и с ним свободу галицийских славян. И заняли мы не один Львов, а также Галич, и опять эти древнерусские города стали принадлежать своей первой матери – России. То напряженное состояние, то трепетное ожидание известий об ужасном бое, при известии о победе разрешилось в бурю восторга. Трудно описать, что делалось с Москвой при первых словах о великой радости. Это было в 12 часов ночи, с 21-го на 22-ое. И когда на экране "Русского слова" ожидающая толпа увидела вспыхнувшую надпись: "ЛЬВОВ ВЗЯТ", – на секунду толпа замерла, потом все головы обнажились и грянуло могучее несмолкаемое "ура".

Это было как раз в ночь, когда продавали флажки "на помощь жертвам войны". Случилось, что тут же присутствовал Собинов с кружками. Он произнес речь, прося присутствующих жертвовать. Деньги посыпались щедрой рукой; в несколько минут было наполнено 3 кружки. Тогда Собинов запел "Боже Царя храни", толпа подхватила, и огромная манифестация двинулась по Тверской к памятнику Скобелева. Тут манифестация приняла грандиозные размеры, восторгу и энтузиазму не было конца. Так Москва праздновала великую победу славянства.

11 часов вечера.

Мне кажется, я скоро добьюсь своего: работать. Все эти последние дни мы были без дела и мучились этим. Зная, что наши братья "там", посылая их на все трудности и опасности похода, мы должны что-нибудь делать, должны работать, чтобы заглушить страхи и беспокойства. Мы *не можем* ничего не делать, это общий крик среди всех наших знакомых. Кажется, все наши знакомые и друзья сейчас работают целыми днями: Таня Лопухина все дни проводит в своем коннозаводстве, где она одна из главных заправительниц склада; Женя, Ольга Стаховичи, Соня и Марина Гагарины, Ольга Матвеева слушают медицинские курсы и от 7 до 3 часов работают в госпиталях; Наталья Бобринская и Соня Новосильцева уехали с санитарным поездом на австрийский театр военных действий. Все молодые люди ушли как добровольцы, кто санитаром.* Остались только мы и с отчаянием смотрим, как все работают. Наши занятия в питательном пункте мы давно бросили: там набралось столько лишнего народу и такая идет неурядица, что делать нечего, а осталось одно веселое препровождение времени. Моей мечтой было сделаться сестрой милосердия, и сейчас я ближе чем когда-нибудь к этой цели. Оказалось, что мамулечкин доктор, Миловидов, вместе с друзьями оборудовал частный госпиталь и, конечно, искал для него сестер. Мы предложили свои услуги через Василевских, и вот сегодня др. Миловидов приехал нас осматривать и допрашивать. Оказывается, когда он сказал, что две княжны желают поступить как сестры, ему сказали, что "белоручек нам не надо". Тогда он захотел узнать, белоручки мы или нет.

Мы подверглись долгому расспросу, после чего было решено: нам дана неделя на размышления, после чего мы должны явиться в госпиталь, где нас будут учить уходу за больными, перевязкам и всему тому, что нужно. Но при этом он предупредил, что нам придется делать всю черную работу, все без исключения. На это ответили, что если сами предложили свои услуги, то имели это в виду. Он, кажется, остался доволен и сказал, что нас примут.

Так чего же лучше, можно спросить. Все-таки еще не все улажено. Мамулечка согласна, но я не могу понять, она за или против этого. Теперь все зависит от того, как на это посмотрит папа, который послезавтра приедет из Петрограда. (Как странно писать это имя!) Если он позволит, я буду очень счастлива.

---

*) Не все: некоторые ловчили, остались из трусости, другие "протестующие" – из протеста против правительства. Москва всегда была "красной", и даже тогда нашлись такие негодяи. (Прим. 1917г.).

Еще задолго до войны, еще несколько лет тому назад, я желала быть сестрой милосердия. С тех пор как война объявлена, я стремилась к этой цели. Неужели я не достигну ее?

Я ни минуты не обманываю себя во всех предстоящих трудностях, которые лежат передо мною. Я знаю, что их будет много, но я не уклоняюсь от них. Я не жмурюсь, а храбро смотрю им в глаза. Лучше вперед!

26 августа 1914.
Половина двенадцатого вечера.

Наконец-то мы достигли цели! Все устроилось так хорошо, что лучше и желать невозможно.

С завтрашнего дня мы с Татьяной начнем ходить в Ново-Екатерининскую больницу, где будем на практике проходить весь курс сестер милосердия. Пройдя этот курс, мы поедем в Броницу и устроим там госпиталь. ... В больнице мы поступаем под начальство др. Файденгольда и Ольги Брониславовны Ивенсен, наших хороших знакомых по аппендицитам. Все это устроил папа, который, кажется, очень доволен, что мы желаем работать.

Вся эта комбинация устроилась так неожиданно, что я до последней минуты была уверена, что ничего не выйдет и мне придется удовольствоваться тем, что крутить бинты да шить рубашки. Теперь я буду работать, буду полезной! Наконец моя дорогая мечта уже больше не химера, а настоящая, живая действительность!

Много трудностей мы найдем на нашем пути, но разве мы их не одолеем? Храбрости хватит, хватило бы только сил!

То, чего я немножко боюсь, это первого испытания, первой пробы завтра. А вдруг нас возьмут на операцию, а с нами будет дурно? Я не могу ответить за себя, п.ч. знаю, что очень подвержена обморокам. Но, Бог даст, все обойдется благополучно. Ведь это дело привычки: со всеми нашими коллегами было дурно на первой операции, а на другой день они все перенесли великолепно. Храбрее всех оказались Соня Гагарина и Татя Трубецкая. Может быть, мы последуем их примеру. С завтрашнего дня мой дневник будет называться: "Дневник сестры милосердия"!

Как мне ни хочется писать еще, я не могу, т.к. сегодня целый день катала бинты и рука болит порядочно.

. . . .

Еще хочу сказать кое-что о военных событиях: наши войска в Галиции продолжают наступать. Мы заняли Черновицы, столицу Буковины, и крепости Стрый и Миколаев. Наша конница и горные батареи уже сидят в Карпатах. Между прочим, папе сказали в Петрограде, что это наши могилевские батареи и что они одни из самых лучших в нашей армии.

На западном театре военных действий все благополучно: немцы отложили осаду Парижа, т.к. французы их, кажется, славно побили.

... Пора кончать, поздно. Завтра надо быть в больнице в 10 часов, но до этого мы должны купить себе фартуки и косынки, а для этого надо встать рано.

27 августа 1914.

Первый опыт, первое крещение! У меня даже дрожь по телу пробегает, когда я вспоминаю это утро. Нас с Татьяной поставили на самые страшные перевязки,* и я удивляюсь той храбрости, с которой Татьяна присутствовала при всех, все время помогая. Я не выдержала: при первой же перевязке (раздробленный шрапнелью локоть), на которой я должна была держать таз, при виде громадной гнойной раны и осколков костей, которые доктор бросал в мой таз, мне сделалось дурно, глубокий обморок. Я помню, как я кому-то передала таз, отошла и прислонилась к стене, потом захотелось выйти из перевязочной, чтобы быть подальше от ее тяжелого запаха, вышла в коридор, а дальше – ничего. Оказалось, что там я упала на дверь перевязочной, которая открылась, и я с шумом влетела обратно в перевязочную. Должно быть, это было очень смешное зрелище! Я очнулась, лежа на койке в одной из палат, около меня стояли разные няни, сестры и доктор.** Меня напоили валериановыми каплями и велели лежать смирно. Мне было скверно, и я клялась себе, что больше не вернусь в эту страшную комнату. Мысли путались, и я с ужасом спрашивала саму себя: как мы сюда попали? Зачем мы здесь? Когда я совсем пришла в себя, мне стало стыдно; несмотря на шум в голове и слабость, я все-таки встала и вышла в коридор. Там было пусто. Мне хотелось найти Татьяну, узнать, как она, но ее не было видно. Я стала бродить по коридору, знакомясь

---

*) Мнение новичка. (Прим. 1916г.).

**) Сам проф. Мотовилов.

с больницей. Глядя на всех этих страдающих людей, меня мучило раскаяние; я боялась, что не смогу быть им полезной и облегчить их страдания. Взяв себя в руки, я решила идти опять в перевязочную, как вдруг наткнулась на Ольгу Брониславовну, которая предложила отвести меня в операционную. Я имела глупость на это согласиться. В операционной, большой, обставленной по последнему слову науки комнате, вокруг стола толпилась масса народу, все в одинаковых белых фартуках. Подойдя ближе, я увидела лежащего ничком человека и двух склонившихся над ним докторов. Он был под наркозом. Доктора что-то делали в его спине, но я увидела только их окровавленные руки,* которыми они держали какие-то темные жилы. В глазах у меня потемнело, я пошатнулась.

"Вам, кажется, дурно?" – сказала Ольга Брониславовна, охватывая меня за талию. Моим единственным желанием было уйти отсюда подальше.

"Уйдемте, уйдемте отсюда", – сказала я моей спутнице, и мы вышли из этого ада.

Ускользнув от О.Б., я вышла на площадку лестницы и села на зеленый диванчик. Тут было прохладно и воздух был чище. Скоро пришла Татьяна, которая искала меня. Она присутствовала все время при перевязках и чувствовала себя прекрасно.

Скоро она опять ушла туда, а я не могла надивиться ее геройству и с завистью посмотрела ей вслед. Пришла какая-то особа в черном и с изумлением уставилась на сестрицу, которая, бледная и с лицом, спрятанным в руках, сидела на диване и, кажется, имела очень несчастный вид. Мне стало стыдно: я решила во что бы то ни стало пойти в перевязочную. Храбро открыв двери, я остановилась: мне было страшно, страшно, как ребенку, который боится войти в темную комнату. Но так распускаться нельзя будущим сестрам милосердия. Я решительно открыла дверь и вошла. Перевязки продолжались; Татьяна была там и грозно на меня посмотрела. Она держала руку, в которой была большая рана и видна кость. У меня опять что-то заныло в затылке и руки похолодели. К счастью, эту руку перевязали и поручили мне с Татьяной отвести больного в его палату и уложить в кровать.

Когда мы его уложили, он попросил написать письмо. Я осталась с ним, а Татьяна ушла опять. Написав письмо, я вернулась в перевязочную, и хотя несколько раз спасалась на лестницу, пробыла там до конца перевязок. Там нам сказали, что мы с Татьяной приняты

---

*) Не окровавленные, а просто намазанные иодом! (Прим. 1916 г.).

в число палатных, т.е. не только зрителей. Татьянина палата №10, а моя №5. Мы были очень горды этим нашим назначением.

Время тянулось бесконечно долго. Мне так хотелось вырваться из страшной обстановки больницы и выйти на свежий воздух. Наконец пришла мамулечка, и мы, отпросившись у нашего начальства, с радостью вышли с ней. Бедная мамулечка испугалась, когда услышала о моем обмороке, и скоро повезла нас домой.

Так прошел мой первый день сестры милосердия. Сейчас я чувствую себя усталой, разбитой и (что таить) со страхом думаю о завтрашнем дне.

Пятница, 28 августа 1914.

Я очень устала и не могу писать долго. Так хочется заснуть и забыть все ужасы!

Сегодняшний день прошел гораздо лучше вчерашнего: я присутствовала на всех перевязках и даже на двух операциях, и совсем благополучно!

Одна операция была маленькая и продолжалась не больше двух минут: это было вынимание пули, засевшей очень неглубоко в мякоти руки. Я держала голову пациента, который "мой", из моей палаты, и не смотрела, как Файденгольд резал. Меня поразило, как скоро все было готово.

Вторая операция была очень серьезная, хотя ее и делали в перевязочной, а не в большой операционной, но, конечно, под наркозом: вынимание раздробленной кости из верхней части руки. Я видела только часть этой операции, а Татьяна совсем ее не видела. Мы с ней решили не присутствовать и ушли, как только больного стали усыплять. Она пошла в свою палату и стала читать газету своему Николаю, а я, побродив по коридору, решила вернуться на операцию. Когда я пришла, рука уже была разрезана, и меня поразила масса крови. Доктор какими-то щипцами вытаскивал кусочки костей, и они трещали таким ужасным, хватающим за сердце треском. Несмотря на участливо-насмешливые взгляды моих коллег, я осталась и, хотя раза три выходила на лестницу, чтобы вздохнуть на минуту, тотчас же возвращалась обратно и пробыла до конца.

Я очень устала, но не физически, а нравственно, и довольна собой. Я знаю, что теперь с каждым разом все будет лучше и лучше, и больше не сомневаюсь в том, что добьюсь своего.

Завтра будут две тяжелые операции, и я буду присутствовать на обеих.

Суббота, 29 августа 1914.

Сегодня наши занятия начались с операции. Оперировали несчастного офицерика 20 лет, у которого пуля застряла между ребрами и вызвала нагноение и всякие осложнения такого рода. Мы все собрались в большой операционной и в ожидании прибытия больного приготовили себе трибуну: две длинные скамейки разной высоты, с которых очень удобно следить за ходом операции. Наконец привезли больного, который совершенный ребенок, и мы помогали ему ложиться на операционный стол. Видно было, что ему очень страшно, но он старался шутить и смеяться. Когда его усыпляли, он сказал: "Я уже засыпаю", – и заснул так тихо и спокойно, как будто лежал у себя в кроватке.

Я со страхом ждала той минуты, когда его начнут резать, и правда, это производит ужасное впечатление. Раньше делается маленький надрез скальпелем, а потом продолжается ножницами, причем тело кажется твердым, как резина. Сначала появляется белая полоска, это слой кожи, потом она делается красной, расширяется и наконец медленно наполняется густой, темной кровью. Ее вытирают и продолжают резать глубже. Операция продолжалась 30 минут, и все время в продолжение ее доктор (или, кажется, профессор) все объяснял и читал вроде лекции. Делали много ужасных вещей, от которых я вся холодела и голова шла кругом. И даже несколько раз я должна была слезать со скамейки и садиться на нее отдыхать. Сделали два больших разреза, вставили дренаж, но пулю все-таки не нашли. Оказывается, что у больного очень слабые легкие, потому с ним надо быть особенно осторожным. Под конец сделали прокол плевры, и оказалось, что она полна кровавого гноя. Доктора многозначительно покачали головами и переглянулись. У меня закружилась голова: я вспомнила заплаканную даму, стоящую в больничной церкви, его мать, и, не в силах больше смотреть на мертвенно-бледное лицо больного, вышла из операционной. Что-то больно душило мне горло, и мне хотелось плакать. Преодолев себя, я вернулась в операционную, когда дверь открылась и Татьяна с еще несколькими сестрами вывезли больного. Я пошла за ними. У двери в церковь стояла его мать и горько плакала, с ужасом и горем смотрела на нашу процессию. Я вспомнила, как полгода тому назад я так же смотрела, как провозили Ольгу, и от души пожалела, что не могу сказать ей ничего утешительного.

Мы уложили его в кровать и остались втроем дежурить в ожидании его пробуждения. Он проснулся так же тихо и спокойно, как заснул, и мы с Татьяной, оставив около него другую, ушли на вторую операцию.

Раненого только что принесли из другой больницы с переломанной рукой и разорванной артерией. Кровоизлияние было ужасное, и жизнь его висела на волоске. Его тотчас же перенесли в операционную, захлороформировали и сделали операцию. Мы с Татьяной пришли посередине ее. Артерию зашили, и пульс опять стал биться в больной руке, но доктора очень боятся нового кровоизлияния, и потому около больного назначили постоянное дежурство. Мы с Татьяной будем ночью, от 12 и до 6 часов, еще с одной коллегой. Это будет трудно, т.к. завтра в 9 часов утра опять операция, но таким образом мы узнаем еще одну вещь из жизни сестер милосердия: ночное дежурство.

30 августа 1914.
3 часа дня.

Только что встали и кончили завтракать. Я чувствую себя великолепно, ничуть не уставшей после этой длинной ночи, и жалею только, что мамулечка не пустила меня на утренние занятия. Но я расскажу все по порядку.

Вчера вечером, наскоро пообедав, мы с Татьяной легли спать. От 7 и до 11 нам было 4 часа, совсем довольно для этого бесполезного занятия. Мы легли, но заснули (по крайней мере я) только под самый конец, т.ч. встать оказалось довольно трудно. Несмотря на это, я поспешила скорее одеться и вышла в столовую, где сидел Андрей, только что вернувшийся после своих занятий у Фон-Мекка.* Выпивши чаю, мы с Татьяной совсем разгулялись и с радостью стали собираться на наш ответственный пост.

Мы выехали без четверти двенадцать и к двенадцати были у двери нашей больницы. Она была заперта, и через стекло было видно, что внутри не освещено. Нас впустил заспанный швейцар, который сообщил нам, что наша коллега уже пришла, мы наскоро надели фартуки, косынки и бегом поднялись по большой лестнице. ...

Мы с некоторым трепетом вошли в длинный коридор; он был пуст. По обоим концам одиноко горели две лампы, тишина была полная, и наши шаги как-то особенно гулко будили эхо, хотя мы и старались быть как можно тише.

В 10-ой палате мы застали нашу коллегу и двух других дежуривших от 9 до 12. ... Обе имели крайне сонный вид и очень

*) Он устроил общество "бой-скаутов".

обрадовались нашему приходу. Большая темная палата была слабо освещена низко опущенной электрической лампой под зеленым колпаком. Все больные спали. Наш Мартын тоже дремал. Он дышал тяжело. Я дотронулась до его руки: она была сухая и страшно горячая. Бедная дежурная, видимо, чуть не заснула, сидя в темноте. При нашем приходе она вдруг развеселилась, и мы, столпившись посередине палаты, разговаривали шепотом. Несмотря на непривычный вид полутемной палаты, на нас вдруг нашло веселое настроение, вызванное полным незнанием одной из коллег самых простых вещей медицинского ухода. Наконец, не в силах больше сдерживать смех, мы высыпали в коридор, оставив Татьяну около больного.

Наконец, спровадив первых дежурных, мы собрались втроем у стола, над которым висела лампа. Мы с Татьяной надели мягкие туфли и стали устраиваться на ночь: наша коллега села в большое старое кресло, Татьяна на соседнюю кровать, а я, переменив больному мокрый компресс на голове, села на табуретку у его ног. Больной задремал опять. Так мы и сидели минут пять. Через открытую в коридор дверь раздались чьи-то стоны. Кругом нас тяжелым, лихорадочным сном спали пять других раненых. У меня начало болезненно сжиматься сердце. Татьяна позвала меня, чтобы вместе прилечь на кровать, но мне захотелось осмотреться, и я вышла в коридор.

Там мне показалось еще тише и пустынней, чем раньше. Идя по коридору, я вдруг вспомнила про маленького поручика, которому в этот день делали такую страшную операцию. И я решила пойти посмотреть, как он себя чувствует. Когда я его видела в последний раз, он только что проснулся после наркоза, не чувствовал никакой боли и был даже очень весел. Но я знаю на опыте, что первая ночь после операции ужасная, и поэтому захотела узнать: есть ли около него хоть кто-нибудь, чтобы помочь ему перенести эту ночь бессонницы и страдания.

Палата 20-ая, в которой он лежит, в противоположном конце коридора, и я со срахом смотрела на предстоящий мне длинный путь. Я была одна, совсем одна в этом полутемном коридоре, и направо и налево тянулись палаты с тяжелоранеными, может быть, умирающими людьми! Я остановилась. Не вернуться ли обратно к Татьяне? Вдруг мне стало стыдно, так стыдно, что я почувствовала, как кровь приливает к моим щекам. "И я смею называть себя сестрой милосердия, и я не постыдилась прийти сюда, якобы, чтобы помогать больным?" – говорила я себе. "Нет, я недостойна носить это звание!" И, собрав свою последнюю храбрость, я решительно

пошла вперед. Мои войлочные туфли бесшумно скользили по линолеуму, а сердце мое билось быстро. Я остановилась только в дверях 20-ой палаты.

С утра картина тут переменилась: мой глаз достаточно опытен, чтобы увидеть, что больному плохо. Он неспокойно ерзал головой по подушке, старался перевернуться и стонал. Комната была так же освещена низко спущенной лампой; второй офицер спал. Выбившаяся из сил нянька беспомощно стояла у ног больного и старалась успокоить его ласковыми словами. Мой страх мгновенно исчез. Я быстро подошла к нему и нагнулась. Он замолк и устремил на меня свои болезненно расширенные, лихорадочные глаза. Я увидела, что у него сильнейший жар.

"Сестра, – сказал он слабым, прерывающимся голосом, – мне так больно! Я не могу спать, и бедная няня не спит..."

Теперь я ни минуты не сомневалась в том, что мне надо было делать. У того больного уже было две сиделки, и я решила остаться здесь.

"Няня сейчас ляжет спать, а я посижу с вами", – сказала я, кладя руки на его пылающий лоб. Он не протестовал и закрыл глаза. Я отвела няньку в сторону и сказала ей немедленно ложиться спать, т.к. я останусь дежурить около больного. Она посмотрела на меня недоверчиво, но все-таки предложила мне во всяком случае взять себе табуретку и сесть, а сама легла в углу на какой-то матрац и приготовилась спать. Я ей сказала, что пойду предупредить своих товарищей и сейчас вернусь. Когда я вышла в коридор, он уже не показался мне таким мрачным. На другом конце я увидела Татьяну, которая вышла меня искать.

Я рассказала, что нашла в 20-ой палате и мое намерение остаться там дежурить. Она сказала, что придет сменить меня в 2 часа, и мы разошлись. Я бегом отправилась к моему больному.

Он не спал, а, закинувши голову назад, продолжал стонать. Я нагнулась к нему, стараясь узнать, чем я могу помочь ему. Он старался пошевелить рукой, около которой сделали разрез. Я скатала валик из каких-то двух полотенец и, осторожно приподняв эту руку, подсунула его под нее. Он успокоился и затих. Я сидела неподвижно, стараясь дать ему уснуть, но не тут-то было: он опять открыл глаза и стал жаловаться, как ребенок, что во всем виноваты те, которые заставили его спать днем, потому что он сейчас не может заснуть.

"Они меня заставляли, вот и вышло, – говорил он таким слабым голосом, что я с трудом его понимала. – Никогда больше не буду слушаться!"

Я старалась его успокоить, что это из-за наркоза, что следующая ночь будет лучше, но он не верил. Я пустила в ход последний аргумент, что я это сама испытала. Он закрыл глаза и заснул. Сидя на табуретке и глядя на его совсем детское изможденное лицо, я со страхом прислушивалась к его короткому, прерывистому дыханию и с болью в сердце думала о том, как он тяжело болен. Не жестоко ли было со стороны принципалов этой больницы оставить его совсем одного на эту тяжелую ночь? Я благодарила судьбу, пославшую меня сюда.

Он опять застонал, слабо, беспомощно. Я нагнулась к нему, удерживая его больную руку от движений. Его глаза с каким-то странным изумлением остановились у меня на лице: я была для него совсем чужая, это был первый раз, что он меня по-настоящему видел.

"Дайте водицы, сестра". Я достала маленький стакан, наполовину наполненный водой, и напоила его. Он опять забылся. Разбудив няньку, я спросила, где достать воды, и была очень удивлена, услышав, что из-под крана, в коридоре. Странные порядки! Чуть ли не за каждым глотком воды надо ходить в коридор, да еще поить больного водой из крана! Делать нечего! За неимением лучшей воды, я пошла за этой.

Время потянулось медленно: больной бредил, стонал и метался. Каждые две-три минуты он требовал то воды, то спрашивал, который час, и приходил в отчаяние, что время так тянется, то жаловался на боль и хотел перевернуться. Я шла за водой, только когда он забывался. По временам он открывал глаза и рассматривал меня, потом начинал бредить про какую-то сумочку, про кого-то, кого не догадались где-то подобрать, про своего папу, который говорил по телефону, и много других бессмысленных вещей, которые показывали, что мозг ни на минуту не остается в покое. Я исполняла его малейшие прихоти и старалась их предугадывать. Меня очень изумило, когда он стал просить меня отдохнуть, говоря, что я устала. Пришлось уверить его, что я только что выспалась и вовсе не устала. Да это и было правда. Я чувствовала необыкновенный прилив сил и энергии. Это совсем особое чувство и настроение, когда сидишь ночью совсем одна у постели тяжелобольного. ... Ты сидишь на табуретке, прислушиваешься к прерывистому дыханию больного, к его стонам и чувствуешь большое спокойствие и удовлетворение. А кругом так тихо, и другой больной так сладко спит, что боишься пошевелиться, чтобы не нарушить эту тишину и не пробудить лишних звуков. Это хорошее, приятное состояние – знать, что ты нужна и полезна.

Больной несколько раз открывал глаза как бы для того, чтобы удостовериться, что я еще здесь, и говорил: "Посидите". Потом он говорил: "Спасибо, что вы так за мною ухаживаете!" И мне было так жаль этого бедного мальчика, которого бросили тут совсем одного.

Так время шло. В 2 часа пришла Татьяна, и я отправилась в палату №13. Наша коллега сидела в большом кресле, а Мартын дремал. Я легла на кровать, но, конечно, о сне не могло быть и речи, т.к. в палате было еще три тяжелобольных. Их стоны поминутно заставляли меня вставать и подходить к ним.

В 3 часа я вышла в коридор. В двери перевязочной я увидела свет и пошла посмотреть, что там делается. Оказалось, что с вокзала привезли тяжело раненного в руку и его тут же перевязывали. Меня изумил подбор ночного персонала: кроме дежурного доктора, там были ужасные, заспанные, грязные личности, на которых даже не было фартуков. Я предложила свои услуги, которые тут же были приняты. Когда раненый был перевязан, я уложила на кровать нашу коллегу и села дежурить около Мартына. Он поразил меня своим терпением и спокойствием. За поручиком ходить было труднее.

В 4 часа я опять пошла в 20-ю палату, а Татьяна вернулась к Мартыну. Начало рассветать, и мой больной стал все больше и больше успокаиваться. В 5 часов он заснул и спал до 6-и. Тут проснулась нянька, и я была свободна. Этот последний час был для меня самым трудным: на дворе было светло, я потушила лампу и опять села на табуретку; было очень холодно.

В 6 часов я пошла за Татьяной. Она сидела в большом кресле, завернутая в платок, и вязала колпак. Мартын не спал, и мы еще сидели с ним, пока наша коллега привела себя в порядок. Я вдруг пришла в очень веселое настроение и не могла без смеха смотреть на Татьяну, которая, как старая нянюшка, продолжала вязать свой колпак. Мы с ней ушли в половине седьмого, когда коллега вернулась, а няньки начали просыпаться.

Странно было возвращаться домой в такой ранний час, когда по улицам ходили одни рабочие. Мы вернулись домой веселые, свежие и ничуть не уставшие. Нас встретила мамулечка и напоила чаем. После этого мы залегли спать и проснулись только в 2 часа. Сейчас я вовсе не чувствую себя усталой и от всей души желаю, чтобы опять представился случай дежурить ночью. Я начинаю немножко больше уважать свои способности сестры милосердия.

31 августа 1914.
5 часов вечера.

Сегодня со мной был очень неприятный случай, и из-за него я сейчас лежу в кровати. Вот что случилось.

С утра мне нездоровилось, да и Татьяне тоже, но все-таки мы, конечно, отправились в больницу. Перевязки были тяжелые, и на одной из них мне сделалось дурно, и я должна была стремительно удалиться из перевязочной. У меня начались сильные боли во всей пояснице, такие, что я с трудом могла стоять на ногах. Делать было нечего, надо было ехать домой. Пошла искать Татьяну. Она сидела зеленая на скамейке в коридоре, около самой двери в 20-ую палату. Мне было очень плохо, но все-таки хотелось пойти посмотреть на моего ночного пациента и узнать, как он себя чувствует. Мы пошли. Бедный подпоручик, слабый и бледный, полусидел на постели. Он тотчас же меня узнал и очень мне обрадовался. Тут же была его мать, маленькая, симпатичная женщина, которая (как мне показалось) не подозревает, как сильно болен ее сын. Он начал рассказывать ей, что я "та сестра, которая сидела с ним ночью", и прибавил: "Какие это сестры, которые тут только днем ходят? А вам надо медаль дать!" Его мать тоже стала меня благодарить, так что мне стало просто стыдно, что я такого сделала?

Мне было так плохо, что я с трудом добралась до зеленого дивана, и тут со мной сделалось дурно. Пока Татьяна бегала за водой, я, право, думала, что отправляюсь на тот свет. О нашем путешествии домой я вспоминаю, как о каком-то кошмаре. Наверно, прохожие были очень изумлены, когда видели двух сестер милосердия, ехавших на извозчике, причем одна без шляпы лежала полумертвая на плече другой, которая ее бережно поддерживала.

Дома наше появление произвело переполох. Меня уложили в кровать, где я сейчас и лежу в очень мрачном расположении духа. Как скучно, что люди так устроены, чтобы вечно уставать и не мочь делать дело. Завтра все равно придется сидеть дома.

1 сентября 1914.

Лежу в кровати. Скучно. Я все время думаю о моих больных. Как мне хочется скорее идти в больницу! Как скверно ничего не делать и лежать в мягкой кровати. Завтра пойду непременно. Татьяна была, но вернулась со страшной мигренью. Было четыре операции. Завтра мамулечка ее не пустит. Делать нечего, пойду одна.

17 ноября 1914.

Два с половиной месяца! Я убедилась, что писать дневники могут только бездельники, да еще очень прилежные и аккуратные люди. Первым я за последнее время перестала быть, а вторым и третьим никогда не была. Но все-таки два месяца, и таких месяца, выпустить совсем, как будто их никогда не было – это непростительно!

С той минуты, как я надела косынку сестры милосердия, т.е. именно тогда, когда надо было писать каждый день, я положила тетрадь в ящик и больше не вынимала ее до сегодняшнего дня. Конечно, не из лени, а просто не было ни минуты времени свободного, или такой, чтобы я была не слишком усталой, чтобы сосредоточиться, думать, писать, а только сидела, вязала и спала, последнее чаще всего.

Это было трудное время. Сколько испытаний, давящих впечатлений, разочарований, работы в операционной и перевязочной, дежурства, и вечно одна и та же картина страшного, давящего, но безмолвного человеческого страдания, которому ты не в силах помочь! Сколько горя, но рядом с этим – сколько радости! Первая улыбка тяжелобольного, его благодарность, удачно сделанная трудная перевязка и, наконец, любовь, привязанность и безграничная вера в тебя и твое искусство твоих больных, разве этого не довольно, чтобы заставить забыть усталость и все трудности? Та колоссальная популярность, которой мы с Татьяной пользуемся среди наших больных, и их любовь к нам облегчили трудный путь сестры-новичка, проходящей свои "практические работы" в клинике.

Теперь, когда мы окончили наш курс ученья и создали себе известное положение, нам и легче и приятнее работать. Наш труд ценят и доктора, и больные: когда, отработав свои шесть недель, мы собрались уходить в частный лазарет, как это делают все, то нас не пустили, а принудили остаться в числе немногих избранных, оставленных при больнице. Скажу без хвастовства : мы, да еще двое,

считаемся самыми лучшими сестрами в нашей больнице, а всего сестер было около двухсот.* ...

. . . .

У нас эти последние дни жил Боба. Его полк стоит на охране у Ставки верховного главнокомандующего, под Могилевом-Барановичи. Папа хотел поместить Бобу в корпус, чтобы держать экзамен на прапорщика. Но теперь полк выступает, и, конечно, Боба с ним. Он уезжает завтра. На этот раз по-настоящему...

. . . .

28 ноября 1914.

Дни тянутся однообразно, но настроение у всех изменилось: все ходят как в воду опущенные. Вот уже 10 дней, как Боба уехал, а мы еще не получили от него ни одного слова. Не знаем ни где он, ни что с ним. Конечно, конный полк ушел из Барановичей, иначе он бы написал оттуда, но куда он ушел, мы не знаем. Наверно, куда-нибудь под Варшаву, где сейчас идет этот ужасный бой. Тяжесть на сердце еще увеличивается беспокойством за исход этого боя. Ведь немцы стянули на наш фронт чуть ли не все свои силы, перекинули их с Западного фронта. Конечно, мы сильны нашими прежними победами, мы знаем, что исход этого боя решит многое, но вдруг мы не выдержим? Ведь Лодзь опять занята немцами!

У меня есть утешение: больница. Как только вхожу в ее длинный коридор, я с головой окунаюсь в эту столь знакомую мне жизнь и забываю все, кроме интересов моих больных. Это большое утешение – возможность помогать слабому и облегчать страдающего. У меня есть теперь для этого и опыт, и умение, много желания и любви, но у меня нет одной вещи необходимой: силы. Я устаю смертельно. Со мной раньше никогда не бывало, чтобы я чувствовала себя усталой все время, и днем и даже ночью. Этому виной те две ангины, которые я перенесла одну за другой. Из-за этой усталости я не гуляю, не

---

*) Хочу дополнить мой рассказ: из 250 кандидаток сестер милосердия при больнице, т.е. при клинике Московского университета, нас осталось 5 человек: из них одна была фельдшерица, ей было уже 34 года, значит, по нашим понятиям, старая, потом была дочь профессора Алексинского, третья была казачка, молоденькая, очень энергичная и умная, и – Таня и я. Нас 5 человек осталось при больнице постоянными сестрами милосердия. (Прим. 1981 г.).

пишу дневника, даже никогда не читаю газеты. Единственное время, когда я не чувствую этой усталости, это в больнице, когда работаю. Я бегаю, вожу стол, таскаю больных, делаю перевязки, стою на наркозе, учу новых, командую братьями, делаю ванны и массаж, ничего не чувствуя, но когда все кончено – еле волочу ноги.

Я имею успокоение и утешение в работе живой и полезной, но бедная мамулечка не имеет и этого. Я ужасно за нее боюсь: она все время очень плохо себя чувствует, мало ест, мало спит и никогда не улыбается. Видно, что неотступная мысль о Бобе ее гложет и не дает ей покоя. Вообще, теперь тяжелое, смутное время. Дай Бог, чтобы поскорей кончилось! Кажется так странно, что когда-то мы жили мирно и счастливо, беззаботно, что было лето и что мы ни за что не боялись. За эти 4 месяца войны я сделалась старше на 4 года. Время идет так быстро, и я не смею заглядывать вперед!

17 декабря 1914.

20-го я уезжаю. Как глупо! Никогда не предполагала, что можно дойти до того, чтобы посередине зимы, на Рождество, уехать отдыхать. Никогда не думала, что у меня вдруг может не хватить сил, чтобы продолжать, как начала, и придется бросить все и убегать в Броницу, чтобы вновь вернуть свои силы и энергию.

У меня был двигатель в 10 лошадиных сил, но я заставляла его тратить энергию за 12. Вначале он работал исправно, быстро, хорошо и не жаловался. Но так продолжать было нельзя: он начал работать тише, хуже, с перебоями. Если бы я была осторожна и сократила его работу на энергию 8 МР, то, может быть, все прошло бы хорошо. Но этого я не сделала, а продолжала нажимать. Тогда он стал давать перебои. Сейчас он стучит, старается, но я только жду, что остановится. Все это техническое объяснение можно передать в двух словах: я раскисла. Я еле волочу ноги. Я устаю и не могу отдохнуть, я плохо сплю, у меня бьется сердце и дрожат руки; я сбавила много фунтов в весе. Так продолжать нельзя. Мамулечка усылает меня в Броницу. Мы едем вдвоем с Андреем, который ходит зеленый и которому очень полезно будет отдохнуть на чистом воздухе от постоянного сидения за уроками.

Рада ли я ехать в нашу милую Броницу, которую мы ожидали больше никогда не увидеть? Здесь я бросаю всех наших, мамулечку,

моих больных, мое дело. Это трудно, но с этим надо примириться. Если хочу работать, я должна отдохнуть. Там буду спать, отдыхать, есть, гулять, нянчить моего милого Фрошку. Я так сильно люблю моего Фрошкача и всех других наших собак, что опять увидеть их мне доставит настоящее удовлетворение.

20 декабря 1914.
Моя комната, 3 часа дня.

Укладываю мой чемодан, а голова страшно трещит. Все разбросано, еще надо убрать вещи в комнате. Выедем вечером в 8 часов. Андрей уже оказывает мне должное внимание и разговаривает больше со мной, как будто мы уже едем одни. ...

Сегодня я заходила в больницу, чтобы проститься со всеми моими пациентами. Они так хорошо со мной прощались, желали всякого счастья и просили скорей вернуться. Странно, как все они сильно привязались. Ох, надо скорее все убирать, да еще кончить одну пару чулок...

1915 год.

Броница, 1 января 1915.
Половина первого ночи.

Сейчас 1915-му году только полчаса времени, а все-таки неминуемое совершилось: 1914 год, со всеми своими волнениями, радостями и горем перестал существовать. На его место поступил новый 1915 год, тот год, на который пророчили все великие события и катастрофы. Но эти великие события разразились еще в 1914 году. Может быть, они достигнут своей вершины, завершатся в этом году полным преобразованием Европы? Может быть, дойдя до своего предела, они потрясут все основы человеческие?

Что *нам* готовит только что наступивший 1915 год? Сколько горя, сколько радости? Никогда жгучий вопрос о будущем не встает с такой остротой, как в ночь Нового года. Никогда так не чувствуется щемящий страх перед черной бездной неизвестности. Я заглядываю в эту бездну и голова моя кружится, а в глазах темно. На все воля Божья, пусть будет, что будет.

Москва, 1 апреля 1915.
Моя комната, 4 часа дня.

1 апреля, вот какое число, чтобы опять начинать писать дневник! Неужели все, что пишу под этим числом, будет ложь, обман или шутка? Посмотрим, я еще не знаю, что писать.

О событиях? Вот ровно три месяца, как я не дотрагивалась до этой тетради, а за это время произошло слишком много событий, а может быть слишком мало, чтобы описывать здесь. О переживаниях? Это тоже своего рода события, а за последнее время у меня что-то мало переживаний. Я веду пустую, глупую жизнь! Встаю поздно, ложусь рано и целый день ничего не делаю. Это особенно странно после этой зимы, когда я горела, тратила силы и энергию на работе, но они возвращались еще в большем количестве, волновалась, веселилась и была счастлива... А теперь у меня нет больших волнений, я спокойна, я не волнуюсь, но при этом во мне есть какое-то смутное неудовлетворение, неудовольствие, я несчастна. ... Теперь, сидя сложа руки, я сама не знаю, чего хочу. Мне чего-то не хватает, я или слишком весела, смеюсь, шучу, вожусь, ни минуты не могу сидеть на месте; или делаюсь сердитой, раздражительной, обижаюсь и сержусь из-за всех пустяков, или еще на меня нападает полное равнодушие ко всему, ничего меня не интересует, мне все противно. ...

Теперь постараюсь разобрать, почему произошла такая грустная перемена. Мое последнее писание помечено 1 января. Это было в Бронице, куда меня послали отдыхать. Но две недели – короткий срок, и хотя я вернулась сюда свежей и отдохнувшей и с шестью лишними фунтами, мне ничего не стоило в две недели спустить все, что было собрано с таким старанием, и фунты, и силу, и здоровье. 11 января утром я приехала, вечером пошла в театр на "Царя Федора Иоанновича", а на другое утро в больницу. Случилось, что Татьяна захворала и 10 дней не могла ходить: ей сделали операцию аденоидов. И за 10 дней я вернулась на то же место, с которого я уехала в Броницу. Дела пошли хуже: каждый вечер у меня стала подниматься температура, а потом доктора, лежание в кровати около двух недель, полное запрещение ходить в больницу и, наконец, режим, как в санатории.

С тех пор, как у меня была отнята возможность работать и приносить пользу, я впала в то состояние, о котором говорила выше. Что можно еще сказать? Я недовольна собою, и, к несчастью, мне не на кого излить это чувство: я не могу быть недовольна окружающими. Несмотря на мой скверный характер, меня никто не чуждается, наоборот. Андрей и Ольга больше всего любят меня, Татьяна, конечно, тоже, бабушка тоже. Про маму и папу я этого не могу сказать, но я знаю, что они меня любят, особенно мамулечка. Любимцы Нади – это Андрей и опять-таки я... Почему? На этот вопрос я не умею ответить.

Наверно, это глупое состояние скоро кончится: меня с Татьяной отправляют в Броницу, спасительную Броницу, где все вылечивается, заживают все раны и забываются неприятности. Татьяна не переставала работать в больнице и переутомилась. А я?.. Как бы то ни было, я рада ехать в Броницу.

Есть ли во всем сказанном выше "ложь, обман или шутка"? – не знаю.

Москва, 2 апреля 1915.
Моя комната, 5 часов вечера.

Уж раз писать, так писать опять аккуратно. Сегодня я целый день занималась уборкой вещей и сортировкой их: какие едут в Броницу, какие в Петроград. Да я и ничего еще не писала насчет того, что мы переезжаем на жительство в Петроград. Причина: Андрей поступает в Правоведение, да и Ольгу там же пристроят в гимназию Оболенской. Мы уезжаем из Москвы надолго, может быть навсегда. Я никогда не чувствовала особенной нежности к Москве, но теперь, уезжая из нее, мне кажется, что я ее люблю и мне жалко ее. Так уж странно устроены люди.

Мы с Татьяной едем 12-го, через 10 дней, и, право, мне кажется – я еду в рай земной! Например: сегодня ночью здесь выпал снег! Конечно, сейчас он уже стаял, но разве это приятно, что в апреле выпадает снег? До сих пор не было ни одного настоящего теплого денька, а лед на Москве прошел только вчера. А тем временем в Бронице распускаются листики на смородине и наверно уже появляется зеленая травка! Через две недели будем там! Как хорошо!

P.S. Боба произведен в унтер-офицеры. Пишет, что на их фронте такая грязь, что невозможно что бы то ни было делать. Ограничиваются небольшими стычками разъездов. Его полк сейчас находится недалеко от Мариамполя, т.е. совсем на севере прусского района. Когда немного просохнет, они, наверно, пойдут вперед.

PP.S. Я и забыла написать, что австрийцы были опять недалеко от Броницы. На этот раз это было серьезнее, чем в тот первый. Они шли на Хотин, большими силами, с целью прорваться в наш тыл, на самом краю фронта, там, где (как им, наверно, рассказали услужливые евреи) у нас почти что не было войск. Говорят, мы туда двинули тоже большие силы и отбросили их назад. Несмотря на это, Нудичка пишет, что в Бронице земля дрожит от звуков канонады. Но все-таки

приготовления к нашему отъезду идут полным ходом, и я ни минуты не думаю, что нам нельзя будет ехать. Я не боюсь австрийцев! Пускай в Бронице будет слышна канонада, австрийцы все равно не подойдут близко. А в худшем случае можно опять бежать на Рохны.

Суббота, 11 апреля 1915.
5 часов дня.

Завтра мы едем. Зубовы и все другие изумляются, что мы едем одни, но я уже этому больше не удивляюсь. В позапрошлом году мы никогда не выходили одни на улицу, в прошлом редко, а в этом везде ходим вдвоем и одни, и, наконец, вдвоем едем в Броницу. Все это влияние войны.

У меня очень много дел, много всякой укладки и уборки, а тут надо еще идти прощаться с Лопухиными.

Броница, 28 апреля 1915.

Почему, как только приезжаешь в Броницу, сейчас же пропадает всякая охота что бы то ни было делать? А день наполнен замечательно важными делами. Вот образец такого дня, например, вчера: встали мы с Татьяной в половине девятого, с прохладцей оделись и пили кофе, похожий на английский *"breakfast"* по своему разнообразию и обилию; до 11 часов шатались по парку, смотрели, как цветут яблони, летают ли пчелы и раскрываются ли ландыши? Слушали соловьев и прочищали канавку, чтобы спустить воду из огромной лужи. В 11 часов мы ели кислое молоко, а потом пошли резать спаржу. Спаржевые гряды – самое жаркое место во всей Бронице. Скоро мы так раскисли, что раньше сели на горячую сухую землю, потом разлеглись на ней и, наконец, не будучи в состоянии двинуться, пролежали там добрый час. За обедом я еле могла держать глаза открытыми, а после него завалилась спать. Встала к четырем, погуляла, поужинали, написала мамулечке письмо и опять на боковую. Нечего говорить, что спала как убитая. Это образец нашего отдыха.

Броница, 16 июня 1915.

О чем писать? Слишком много пропустила событий, чувств, чтобы опять воскресить их в памяти, слишком много пережито, передумано, что теперь кануло куда-то далеко-далеко, туда, откуда ничего не возвращается – в прошлое. … Каковы могут быть мысли в переживаемое нами тревожное время? Когда приходится укладывать весь дом, каждую минуту быть готовым уезжать, бросить Броницу, все, что мы любим, с полной уверенностью, что, вернувшись, не найдем камня на камне от нашего гнезда.

Есть вещи, о которых не говорят, даже писать о которых мне трудно, но что я могу чувствовать, когда Боба все время в деле, в опасности, мамулечка больна и чувствует себя хуже с каждым днем? О чем я могу думать, сидя одна, как сейчас? …

Конечно, австрийцы и раньше переходили нашу границу и были недалеко от Броницы, но тогда было другое дело: тогда это был временный неуспех, тогда мы побеждали! А теперь? Боже мой! Эти поражения, эти неудачи, очищение Галиции, сдача Перемышля и Львова! Ведь все это вонзается так больно во что-то живое внутри меня и остается там!

Броница, 18 августа 1915.

С тех пор, как я писала последний раз, прошел месяц, целый месяц, прожитый нами изумительно спокойно. Хотя каждый день с приходом почты приходили все новые и новые удары – вести с войны, – они не изменили строй нашей жизни. Если бы год тому назад мы узнали, что Варшава занята немцами, мне кажется, такое известие до того ошеломило бы нас, что надолго все привычки и настроения были бы выбиты из колеи. Теперь же почти каждый день приходят известия, равносильные этому, а мы можем ездить в поле и в лес за грибами, гулять, кататься верхом, играть в крокет, смеяться? Почему?

Мне кажется, что один удар может ошеломить, убить, но много сразу, медленно и постепенно падая на человека, пришибают его все ниже и ниже. После каждого такого удара он инстинктивно поднимается опять, стараясь выпрямиться, пока на него не свалится новый удар. Только с каждым разом он поднимается медленнее и ниже, пока после последнего он не поднимется совсем.

Наши последние удары будут гибель Броницы и Старостинец, и если что-нибудь случится с Бобой. Мы имели последний раз письмо

от Бобы, помеченное 6-м июля, с тех пор ни слова. Что с ним, где он? Мы ничего не знаем! Я знаю, что на днях папа телеграфировал в полк, чтобы узнать что-нибудь о нем, но пока мы не имеем ответа. Мудрено ли, что самые страшные мысли приходят в голову. Но все-таки, все что угодно, но только чтобы он не был в плену у этих извергов!

С другой стороны, другое горе: вчера получили известие, что немцы заняли Луцк, прямая дорога на Киев. В скором времени и Броница, и Старостинцы будут отрезаны. Оставаться здесь невозможно, и то, наверно, наши родственники и многочисленные друзья не могут понять: что мы здесь до сих пор делаем? Они не знают, что с потерей Броницы и урожая нынешнего года мы теряем все, или близко к тому. А куда ехать? Кажется, Петроград эвакуируют, оттуда не получают ни газет, ни даже телеграмм. Из Киева в Петроград не дают плацкарт. Если слухи об эвакуации верны, то куда нам деваться? Это вопрос, который за последнее время каждый из нас задает себе. Другой вопрос: что же делать? Ведь если нам грозит полное разорение, не можем же мы с Татьяной сидеть сложа руки и ничем не стараться помочь горю. Но чем можем мы помочь? Как я могу заработать свой хлеб? Я не окончила ни одного учебного заведения, у меня нет ни одного положительного, до конца доведенного знания: значит, не могу быть учительницей или гувернанткой, как Катя Зубова. Быть компаньонкой, секретаршей не могу, т.к. часто делаю ошибки в русском языке. Я говорю на четырех иностранных языках, но все-таки не знаю ни одного основательно. Играю на рояле, но недостаточно хорошо, чтобы давать уроки. В общем, я дилетантка в полном смысле этого слова. Знаю очень много вещей поверхностно, но *ни одной* основательно. Я могу говорить о политике, о музыке, о механике, об искусстве, об истории и литературе и пр. и пр., но все-таки по-настоящему не знакома ни с одним из этих предметов. Что же делать? Единственное, что считаю возможным, это взять штатное место в лазарете, но тут есть тоже две трудности: мое имя и моя физическая слабость. Кто возьмет на штатное место сестру княжну, да еще с такой мало внушающей доверия наружностью?* Такие хороши только как добровольцы, да и то первые дни на них все косятся. Что же делать? Неужели я никуда, никуда не пригодна?

---

*) Эту фразу можно понять совсем не так, как желательно.

P.S. Если бы год тому назад нам сказали, что мы, сидя в Бронице, будем наблюдать, как против нас копают окопы, наверно, как бы все переполошились! Теперь же, вот уже скоро две недели, мы каждый день любуемся этим зрелищем. В Бессарабии, за Унграми, копают окопы, и, по всей вероятности, в скором времени будут копать и с нашей стороны Днестра, в наших полях, в нашем парке – где кажется более удобно. Первый день вид этих работ произвел неприятное впечатление. Стали поговаривать об отъезде нашем с Татьяной. Еще недавно существовал план оставить нас здесь и ехать только папе, маме и Андрею с Ольгой. 1-го и 3-го сентября у них начинаются занятия. Думаю, что из-за сложившихся обстоятельств и нам не придется долго здесь оставаться. Увидим ли мы опять Броницу?

Того же дня, 11 часов вечера.

Вот неожиданная радость! Сидели мы за чаем, вдруг вбегает Нудичка и кричит, что по горе едет Боба! Вскакиваем, несемся по аллее к воротам, и навстречу нам идет он сам в своей зеленой непромокайке с красными погонами. Мамулечка и Надя плачут, я тоже еле сдерживаюсь. Цел, жив, здоров и отпущен на побывку на две недели! Посланная им из Петрограда телеграмма не дошла еще. Сколько радости, рассказов! Так грустно начатый день кончился неожиданно так радостно! Даже об австрийцах и отъезде думать забыли. Боба бодр, выглядит хорошо. Много рассказывает о своих похождениях: страшно подумать, в каких он бывал переделках, но Бог хранил его. Только на двух пальцах правой руки белые шрамы – задела пуля. Послали телеграмму папе в Старостинцы, он и не подозревает, что Боба с нами.

Среда, 19 августа 1915.

Опять картина меняется: за ужином получили срочную телеграмму от папы: "Спешно готовиться 23-го уезжают все". Что могло случиться? Отступление наших войск из Галиции? Возможность быть отрезанными? Во всяком случае, у нас есть три дня впереди, не будет той спешки и бегства на рассвете, как в прошлом году. Нудичка остается и собирается все, что возможно, вывезти на подводах и угнать весь скот. Я что-то мало верю в возможность осуществить такой план. Все равно, самого дорогого, самого милого, самого любимого, самой Броницы не увезешь! Бедная, бедная Броница, что с тобой будет?

Броница, четверг, 20 августа 1915.

Едем завтра ночью, в 3 часа, все, кроме папы и Нудички. Скверно, что в Киеве придется сидеть 5 дней в ожидании плацкарт, которые заказаны на 28-е. Потом выезжаем в Москву, где Таня и я останемся у тети Оли Зубовой, а остальные едут в Петроград. Причина такого ускоренного отъезда – это паника, происшедшая в Киеве и в наших местностях. Немцы заняли Луцк, идут на Киев. Да и наши войска отходят из Галиции. Может быть, скоро будут здесь. Пока что все спокойно. Работы в поле продолжаются, но зато среди "туземцев" циркулируют самые фантастические слухи: самый упорный – это что окопы в Унграх уже заняты... румынами!

Откуда эти румыны явились и зачем, никто не знает, но только все говорят, что плохо. Другие рассказывают, что из Могилева приказано вывезти всю медь. Источником этого последнего слуха послужила эвакуация полковой церкви в Винницу. Увезли образа и колокола. Пожалуй, наш отъезд вызовет панику.

Киев, 23 августа 1915.
Гостиница "Франция".

Тепло, тихо, темно. Перед крыльцом неясные очертания трех экипажей; едва мерцают два фонаря; в стороне кучка пришедших проститься людей. А кругом, куда ни глянешь, знакомые очертания, дорогие силуэты. Они тонут во мраке, но привычный глаз отыскивает и улавливает их формы. И сердце глухо болит и ноет в груди.

Кругом суетня, носят и укладывают вещи по экипажам; проснувшиеся собаки ласкаются и прыгают, как будто понимают, что больше не увидят нас. Я украдкой целую их мордочки и еще раз спешу прижать к себе моих утраченных навсегда любимцев. Но пора трогаться: мы садимся и медленно двигаемся вперед. Не слышно ни "до свиданья" провожающих, ни слова с нашей стороны. Все молчит, и люди, и воздух, и природа, и наша грустная башня. Только колеса экипажа медленно приговаривают: "В последний раз, в последний раз..." И сердце глухо повторяет эти слова. А небо так же спокойно смотрит на эту картину, как уж столько лет смотрело на радость и горе наших предков и нашей семьи. Сквозь прорвавшиеся местами облака безучастно мерцают звезды. На горе последнее "прости" черной массе парка и сливающемуся с ним силуэту башни, последний, долгий-долгий взгляд, и все тонет во мраке. Я не удерживаю слезы, их никто не видит в темноте; рядом Ольга тоже

вывесилась на другую сторону коляски и тоже смотрит назад. В душе шевелится одна мысль, одна молитва: "Господи, буди милостив, сохрани и спаси Броницу!" А колеса продолжают выстукивать: "В последний раз..."

Эта картина преследует меня, и проживи я еще 60 лет, она останется в моем сердце до того дня.

Киев, 24 августа 1915.

В Киеве паника. Все укладываются, собираются, бегут. На улицах и в трамваях все озабочены, только и слышны разговоры – куда бежать и как достать билеты. А эта последняя вещь трудная: у городской станции чуть ли не по трое суток ждут очереди. С другой стороны, весь вокзал завален беженцами, начиная с перронов и всех залов и коридоров и кончая ступеньками подъезда. Завален в полном смысле этого слова, т.е. вся бесчисленная толпа этих стариков, детей и женщин лежит вповалку на своих узлах и просто на полу. Мы приехали в Киев в половине десятого вечера. Большая часть этих несчастных спала от истощения, равнодушная к тому, что мы почти что шагали через них. В день нашего приезда их прибыло 10.000 человек! Это беженцы из района действующей армии: из Ровно, Владимира-Волынского, Каменца, Проскурова и... Могилева-Подольского! Конечно, еще из многих других мест, но это название, прочитанное в газетах, заставляет сильно дрогнуть мое сердце. Все-таки, несмотря на всю неизбежность близкой катастрофы, еще думаешь: а вдруг? А вдруг Броница останется цела? Нет, это пустая надежда, и чем больше надеешься, тем горше будет разочарование. Разве можно ждать невозможного, утешаться утопиями? Чудо? Мы недостойны его!

Елизавета Михайловна Карцева очень хорошо знакома со многими влиятельными лицами и военными в Киеве, включая коменданта и начальника округа. Они сказали ей, что "кажется" будет неизбежно отдать *весь Юго-Западный край и Киев*. Я думаю, это "кажется" – только чтобы смягчить такое ужасное решение.*

Отдать Киев, матерь русских городов, со всеми его святынями, с Печерской Лаврой, со всем, что дорого русскому сердцу, первый русский город, святой Киев! – Какой ужас, какой кошмар!!!

---

*) Команд. округом, генерал Маврин – главный виновник паники в Киеве. Он лично советовал многим бросать все и ехать подальше. (Прим. 1917г.).

Пусть разрушат наши имения, пусть сделают нас и тысячи людей нищими, но *пусть* защищают Киев! Разве после такого удара, который потрясет всю Россию, разве можно во что-нибудь верить, на что-нибудь еще надеяться? Бог все может, неужели Он не спасет киевские святыни? Или мы правда должны так поплатиться за наши грехи?

Киев, 25 августа 1915.

Ездили в Лавру. Были везде, в близких и дальних пещерах, в Великой церкви. Выходили на берег Днепра и даже обедали в монастыре. И там больше чем везде приходила в голову тяжелая, гнетущая мысль: неужели и тут будут немцы?

26 августа 1915.

Сегодня мы с мамулечкой были в Покровском монастыре, прошли по Дионисьевскому переулку. За эти 10 лет ничего не изменилось, все то же, что и в те времена, когда мы жили в нашем доме и ходили гулять по монастырскому саду. Только могил прибавилось на кладбище да деревья разрослись в целый лес. Вид этих розовых заборов и аллеи из тополей и старой колокольни и всех этих зданий, эта картина, которую я видела так часто в те хорошие, счастливые дни моего детства, произвела на меня тяжелое впечатление. Там все осталось по-прежнему, но я совсем чужая для этого мирного уголка. На наше место встали другие, и никому нет дела до того, что у меня так много хороших воспоминаний связано с этим тихим переулком и садом, и что мое сердце больно сжимается, глядя на эту картину. Проходя мимо запертых ворот нашего дома, я не выдержала и заглянула в калитку. Ничего, ничего не изменилось, только деревья очень выросли. Лучше не смотреть и не растравлять прежние раны. Все прошло, ничего не вернешь! Живо, как будто это было еще вчера, вспоминается, как мы, дети, выбегали из этой самой калитки, шли гулять по тополевой аллее монастырского сада, как мы играли в снегу, бегали по первой весенней травке. И Наташа была с нами... Да, далекое, хорошее время!

На Львовской я узнала маленькую бакалейную лавчонку. Та же вывеска, та же низенькая темная дверь. И эта грязная лавчонка показалась мне чем-то таким родным и милым! А какое дело этой лавчонке до моих мыслей и чувств?

Москва, 4 сентября 1915.
Николаевский Институт.

Пока, кажется, настал конец нашим мытарствам: бедные беженки нашли "un toit hospitalier" у своих родственников. Тетя Оля и "кузины" очень с нами ласковы и милы, и мы очень мало чувствуем свое одиночество. Конечно, по крайней мере я, не могу быть счастливой там, где нет моей мамулечки, а спокойной кто может быть при таких обстоятельствах? Конечно, и об счастье говорить сейчас трудно, но для нас сделано все, чтобы сделать нас счастливыми. Пока дома живут только тетя, Лена, Маша и Коля, так что мы с Татьяной не занимаем много места. Дядя скоро вернется из Петрограда, Оля и Володя из деревни, а Катя из Крыма, тогда боюсь, что мы будем очень большой обузой...

Тот же день.

Все это последнее время я не могу писать о разных политических событиях, о войне вообще и обо всем, что из нее вытекает в частности. Я даже не могу думать обо всем этом, читать, говорить. Я как будто устала, смертельно устала от всего этого, моя голова отказывается думать. Перемена в верховном командованье, вся эта путаница в Гос. Думе и наконец роспуск ее, все это принадлежит к серии тех ударов, о которых я писала 18 августа. Да, кажется, Россия не в силах подняться! Мы еще вчера вечером узнали о роспуске Думы. Мы ужаснулись при этом известии: что из этого выйдет? Конечно, недовольство будет общим, и Бог знает, какие последствия вытекут из этого неосторожного и бессмысленного события. Сейчас уже по всей Москве не ходят трамваи и все говорят о всеобщих забастовках. Все остановится, все прекратится. Мы ничего не будем знать про наших в Петрограде. Что-то будет, что-то будет?

5 сентября 1915.

Забастовка не прогрессирует: не ходят трамваи и, кажется, стали заводы, все остальное пока работает.

Скверное настроение! Страшно подумать о том, что творится. Заводы, работающие на нужды армии, стали в ту минуту, когда каждый день и час дорог. И это значит, что рабочие сознательно относятся к переживаемому моменту, это они хотят помочь армии победить врага? Не может быть, что они были бы так слепы, просто нашлись изменники, которые заплатили за демонстративную забастовку. Московские беспорядки встревожат армию и уже конечно не поспособствуют поднятию ее духа!

6 сентября 1915.

Сегодня никакие газеты не вышли, кроме "Раннего утра", дрянной красной газетишки. Там сказано, будто все пойдет завтра, что к Челнокову явилась депутация рабочих и вела с ним переговоры. Они говорили, что понимают несвоевременность забастовки, но, не имея другой возможности выразить свой протест против закрытия Гос. Думы, они решили бастовать три дня. Хоть бы поскорей это кончилось, мне так хочется пойти в больницу, а без трамвая туда не попадешь! *

8 сентября 1915.

Наконец пошли трамваи и вышли газеты! Узнали мы эту радостную новость вчера вечером, и, конечно, сегодня мы с Татьяной встали в 8 часов и с удовольствием влезли в свои "мокрицы" и поехали в больницу.**

Петроград, 13 декабря 1915.

Сегодня я видела сон: будто иду по большой дороге и знаю, что надо спешить домой, а где этот дом – не знаю; где-то очень далеко. Подхожу к какому-то городу, а на окраине его строится огромная колокольня; высоко-высоко я вижу рабочих, которые весело копошатся и перекликаются между собой. Но меня пугает, как эта колокольня наклонилась на бок, как "torre pendente", и я останавливаюсь, чтобы посмотреть, как какими-то блоками и колесами ее хотят выпрямить. Вижу, как ее тянут, тянут, и душу мою наполняет мучительное беспокойство и ожидание. Но вдруг все меняется, шатается, и огромное сооружение рушится в противоположную от меня сторону. В диком ужасе я бегу по дороге подальше от катастрофы и думаю о несчастных рабочих, только что так весело перекликавшихся за работой.

Бегу я долго-долго, но вдруг каким-то непонятным образом выхожу на то же самое место катастрофы, но с другой стороны, там,

---

*) Я хочу прибавить, что мы с Таней сейчас же после приезда в Москву начали опять работать в нашей Екатерининской больнице и в наших палатах, где *очень* многое переменилось, так что мы многое уже нашли не так, как было, и были очень этим разочарованы. (Прим. 1981 г.).

**) "Мокрицы" были серые форменные платья, которые мы носили в больнице. Черные фартуки были на улице, а белые в больнице. (Прим. 1981 г.).

где упала башня. Движимая чувством не то любопытства, не то участия, я подхожу и останавливаюсь. Передо мной огромная беспорядочная груда красного кирпича, и везде разбросаны трупы, безобразные, ужасные трупы раздавленных людей. И где незадолго перед тем кипела жизнь, теперь тишина и безмолвие кладбища. Прикованная этим страшным зрелищем, я стою, стараясь только не смотреть на ужасную картину. И все время громко повторяю: "Господи, благодарю Тебя, что колокольня упала не в мою сторону!" И я представляла себе, как бы и я лежала тут раздавленная... И вдруг странное чувство наполнило все мое существо: ведь самое мое горячее, искреннее желание – это умереть теперь, умереть молодой. Почему же я так испугалась этой смерти? Вот я иду куда-то "домой", а моя цель так далеко, я так устала! А эти рабочие пришли к своей цели, им больше некуда идти, они "дома". А моя дорога, моя жизнь тянется такой длинной извилистой лентой, полна таких случайностей, опасностей, страданий! Почему я побоялась сразу сойти с этой дороги, кончить это путешествие с такой далекой целью? Не потому ли, что недостойна этой блестящей, манящей меня цели? Что надо пройти через все трудности далекого пути? И вот начались опасности: на меня нападали какие-то ужасные существа, не то люди, не то обезьяны; было темно, я устала. И образы несчастных рабочих вставали перед глазами, и теперь – я завидовала этим раздавленным рабочим!..

. . . .

Все это, точка в точку, мне снилось сегодня ночью, и сейчас я не могу забыть этого сна. Если бы я верила, что сны могут что-нибудь значить, я бы ломала голову – ну, да я еще не дошла до этого! Значит ли он, что мне долго-долго еще предстоит мыркаться на свете? Главное, странно то, что во сне я рассуждала как наяву, мысли были необыкновенно ясны. Страшный сон.

17 декабря 1915.

Вчера была на концерте Энери. Очень люблю Шопена, но очень уж завидно, что девочка на 3 года моложе меня так играет! Сегодня утром полтора часа сидела за роялем и училась брать аккорды сверху, тяжелой рукой, что очень больно в такой холодной комнате.

Это последнее время одна из самых больших неприятностей жизни в Петрограде – это холод. Везде, на улице, дома, он преследует и гнетет. Как мне надоел этот мороз в двадцать и больше градусов, с острым ветром и боязнью отморозить себе какую-нибудь

конечность, у compris нос. Как надоел этот холод в комнатах, кутанье в платки, гренье у печек, холодные как лед ноги, которые даже в кровати не согреваются. Место у рояля – самое холодное во всей квартире: около окна, из которого не дует только тогда, когда оно покрыто льдом. Я делаюсь вся твердая и замерзшая, когда долго сижу там.

Этот холод – одна из особенностей Петрограда. Мы знакомимся с ним впервые, по обстоятельствам военного времени (недостаток топлива), холод причисляется к разряду сахарных и других хвостов, неурядице на трамваях, дороговизне и т.д. Правда, кажется, что эти морозы настали для того, чтобы завершить картину петроградского беспорядка и неустройства, что сама природа решила посмеяться над бедными обывателями и дать им еще новый случай посердиться и посмеяться на "отцов города". Мы оказались счастливее многих: у нас квартира с хозяйскими дровами, а все, кого мы здесь знаем, прямо погибают от холода. У бедной grand'tante 8° в ее спальне. Мы купили себе спиртовую печку и носим ее из комнаты в комнату, но и это не очень помогает. У нас с Татьяной есть целое "appartement": спальня, за перегородкой, теплая (12° или 13°), гостиная прохладнее (9°-10°), и ледник в фонаре, куда отваживаться можно только с известной долей храбрости. Там бывает от 5° до 7°. Иногда, по утрам, лед на окнах (их пять в леднике) подтаивает и лавиной катится на пол, но к чему только ни привыкали бедные петроградцы. Вообще, для того, чтобы прожить здесь, надо иметь много энергии.

Все берется с бою, и немало нужно употребить военных хитростей и одержать побед, чтобы получить себе мяса, хлеба и молока на денное пропитание. Дерутся в лавочках, на базаре, в трамваях. Мясные, керосинные и свечные хвосты стоят по целым дням. В гвардейской "экономке" надо записываться, чтобы на другой день стать в очередь и получить фунтик муки или крупы. Когда не было сахара, все ужасались; теперь вместо сахарных хвостов стоят мучные, мыльные, керосинные, мясные, хлебные, крупичные, рисовые, макаронные и др. Цены на все баснословные: головка голландского сыра стоит 6 рублей, фунт сливочного масла 2 рубля с лишним; язык – 2р.60к., и так во всем. И эти втридорога стоящие продукты далеко не на высоте своей цены. Интересно было бы знать, из чего делается то молоко, которое мы пьем с кофе? Это какая-то безвкусная бурда, от которой черный кофе мало меняет свой цвет и на поверхности его плавают кружки жира. Это называется молоком, а сливки – это просто жидкое молоко, которое в Бронице никто и пить бы не стал. Недаром недавно была статья в "Вечернем времени", озаглав-

ленная: "Сколько в петроградском молоке молока?" Мы называем его "невской водицей".

Все, кто могут драть, дерут бессовестно, возмутительно! Дерут извозчики, дерут в магазинах, дерут все, не изменились только трамваи. Но зато и страдают же они от этого! Трамваи – это то, что больше всего бранят, об чем больше всего пишут в Петрограде. И правда, нигде не тратишь столько энергии, не портишь себе столько крови, как в трамваях. Начинается с того, что, когда подходит двойной вагон трамвая, на нем уже висят на всех ступеньках целые кисти лишних пассажиров. Несмотря на это, ждущая публика бросается, как на штурм, происходит короткая схватка, желающие войти толкаются, бранятся; желающие слезть кричат, толкают вниз стоящих на ступеньках. Минуту идет такая кутерьма, что разобраться трудно: все застревают в дверях и с силой пропихиваются окружающими. Вагон трогается. Петроградские трамваи *вообще* не ждут. Теперь на нем висят еще большие грозди пассажиров. Те счастливцы, которые попали на ступеньки и на площадку, начинают с того, что с усилием расправляют помятые члены и терпеливо, усидчиво начинают пробиваться к двери вагона и внутрь его. Сколько им приходится отдавить ног и выслушать за это разных разностей, пока они подвигаются по этому трудному пути, как им надо оберегать собственные конечности от сердитых локтей и ног окружающих! Но вот, от движения вагона публика мало-помалу "утрясается", становится свободнее. Тогда стоящие на площадке и на ступеньках стараются тоже проникнуть в вагон. Слышно голоса: "Господа, пройдите пожалуйста вперед, там еще *масса* места!" "Масса места" – значит довольно, чтобы не быть раздавленной. Несчастнейшие люди в трамваях – это кондукторши. Они бывают так приперты, что не могут двинуться, чем публика страшно злоупотребляет и ездит "зайцем". Остановки за три-четыре до той, на которой хотят выходить, начинают пробираться к выходу. Слышны отчаянные голоса: "Господа, дайте выйти! Дайте же выйти, господа!" Все стараются, расплющиваются, и желающие с ужасом, написанным на лице, пробираются к выходу. Часто случается, что это им не удается, и они едут одну и две станции дальше, чем хотят.

Вот все прелести езды на трамвае в Петрограде. Я лично против этого ничего не имею, толпы не боюсь, да и энергия у меня есть. Эти путешествия, полные многих случайностей и неожиданностей, бывают даже очень забавными. Вообще жизнь здесь носит совсем особый, ни на что не похожий характер.

24 декабря 1915.

Сочельник. Как много значенья в этом слове, какие воспоминания оно воскрешает, как оно звучит радостно, празднично! Я так люблю наши большие церковные праздники, люблю их за их простое и вместе с тем такое великое значение, за тот мир и спокойствие, которым они наполняют все мое существо, за то светлое и тихое, что живет во мне эти дни.

С тех пор, как я себя помню, я ждала праздников с таким светлым чувством, это чувство с годами крепло, развивалось и становилось сознательнее. В детстве я, конечно, ждала с нетерпением праздников из-за елки, подарков, каникул, но с годами все это приобрело другой характер. Как весело мы всегда проводили Рождество, какие у нас бывали роскошные елки, детские праздники, горы подарков! Наша огромная зала в киевском доме, с роскошно убранной елкой до потолка, так и горела огнями. Мы, дети, счастливые, веселые, нарядные, среди целой толпы окружающих детей, только и думали, чтобы веселиться, бешено веселиться и быть счастливыми! Безоблачное было время!

Потом картина меняется: я помню те Рождества, которые мы провели в Давосе, далеко от России – где первые три года не было даже нашей церкви. И там мы были счастливы, но иначе. На Рождество приезжали из Киева папа с Бобой; мы жили тесным, дружным семейным кружком, и в этом было наше счастье. Праздник проходил тихо, но тоже с веселыми хлопотами, тоже с елкой, хотя и маленькой и скромной, но устраиваемой с такой же любовью и заботой мамулечкой и нами. Тогда нас было еще шестеро; мы не видели перед собой ужасного горя, готового обрушиться на наш дом, и мы были счастливы. Потом была устроена церковь, возникшая благодаря неустанной энергии и любви мамулечки и Марии Александровны Крайгон. Как мы все горячо принимали к сердцу все дела по устройству нашей маленькой церкви, как мы любили ее всей душой.

Праздник Рождества в 1909 году был первым, когда я сознала все величие и духовную радость этого дня. С каким хорошим чувством мы пели рождественскую всенощную и обедню. Это было последнее Рождество моего детства. Следующее – это одно из самых моих тяжелых воспоминаний: только четыре месяца прошло со дня кончины Наташи. Мы были в Веве, папа, Ольга и я, остальные были уже в Нерви. Вернувшись в сочельник от всенощной, мы нашли в нашей комнате, на покрытом белой простыней столе, маленькую елку, всю украшенную белым и серебром, всю залитую светом

белых свечей. Вид этой елки произвел на меня тяжелое впечатление. Наше горе было еще так свежо, наше прошлое такое светлое, лучезарное, а настоящее такое темное, холодное. Я вспомнила наши веселые счастливые праздники, и я не могу сейчас сказать, какое чувство горя, сожаления об утраченном счастье и прошедшем навсегда детстве наполняло тогда мое сердце.

С тех пор у нас были еще тихие, счастливые праздники, но в этом счастье всегда чувствовались скрытые слезы о тех минувших безоблачных днях. Казалось, каждый желал устроить праздник не для себя, а для окружающих и испытывал сладкое чувство умиления и грусти. По крайней мере так чувствовала я. С началом войны, конечно, опять все переменилось. Не было и речи об устройстве семейного праздника. Мы с Андреем уехали в Броницу, Татьяна устраивала елку для раненых нашей больницы, все наши старались развлекать тех, кто лежал в кроватях и не мог прийти на елку.

Мы были очень счастливы в Бронице. Когда я сейчас вспоминаю это время, – две недели, проведенные нами в нашем уютном, теплом флигельке, – на меня и сейчас так и веет спокойным домашним уютом, тихим счастьем в дорогом уголке. ... Нас было трое: Нудичка, Андрей и я, и трудно было бы найти трех людей, более подходящих к той жизни, более скрепленных настоящей любовью и привязанностью. Нудичка свободное от хозяйства время проводила с нами, мы же с Андреем были неразлучными. В сочельник вечером мы с Нудичкой поехали в больших санях развозить корзины с подарками семьям наших служащих, ушедших на войну, а вернувшись, зажгли в столовой маленькую елочку, немногим больше самовара, на которую я днем привязала свечи, так как в Могилеве можно было получить только три подсвечника. Мы были совсем одни, и нам было так весело! С таким сожалением Андрей уезжал из Броницы! При прощании (я уехала на 2 дня позже него) он поцеловал мне руку. Я была так тронута и с трудом удержалась, чтобы не сказать ему, как страшно я его люблю.

В этом году у нас печальные праздники. Андрей болен, и никто не знает, что с ним. Вообще грустно. Все ушли в церковь ко всенощной, а я сижу дома, потому что только сегодня встала с кровати. Правда, что это первый раз здесь, но все-таки пролежала 4 дня с какой-то загадочной болезнью. Мне грустно, что не могла пойти ко всенощной, очень беспокоюсь за Андрея и устала. ... Невеселые будут праздники.

25 декабря 1915.

Все-таки была у обедни, но очень устала. Андрей очень болен, и я так боюсь за него! Долго ревела, да, к счастью, это не очень видно по мне. Был доктор и сказал, что эта ужасная температура от нарыва на подбородке, и это меня очень пугает. Такой большой гнойник, да еще на лице, и эта температура (39,5), это очень страшно. Да, невеселое Рождество.

26 декабря 1915.

Пошли на "Аиду" с не очень легким сердцем. Так тяжело, нехорошо, театр не идет на ум. Грустно, что эти праздники прошли совсем не так, как ожидала. Когда есть какое-нибудь горе или неприятность в обыкновенное время, это тяжело, но если то же самое в праздники, еще тяжелее. Ушли, не видав Андрея, а вернувшись, были встречены радостной вестью, что ему гораздо лучше, температура упала. Все как будто оттаяли; вечер провели веселые, вспоминали "Аиду" и хоть смеялись, чего не было эти дни. Но теперь вечером температура поднялась опять до 38. Что будет завтра?

P.S. Из "Народного Дома" шли пешком домой: ни одного извозчика, и висельники на подножках трамвая. Шли час и двадцать минут, но это послужило только к увеселению присутствующих.



Фельдмаршал граф Петр Христианович Сайн-Витгенштейн (1763-1843)

Могилев-Подольский и окрестности



Дом в Бронице, прибл. 1914.
Снимок автора



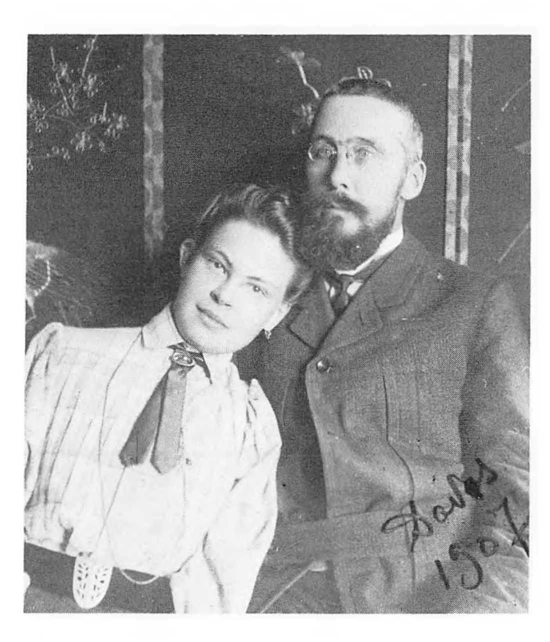
Князь Н. Н. Сайн-Витгенштейн
и М. П. Зубова. 1888



Мария Павловна и Катя. Прибл. 1897



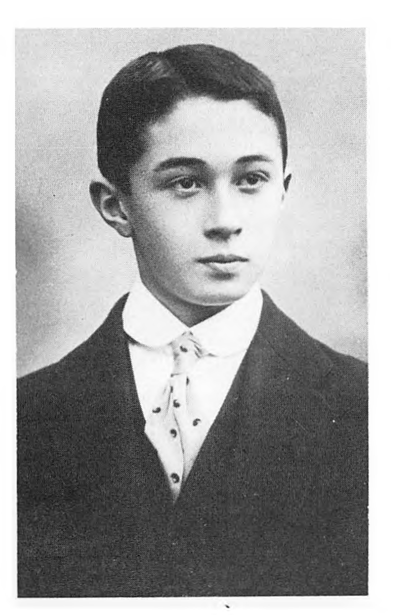
Катя в возрасте 3 лет



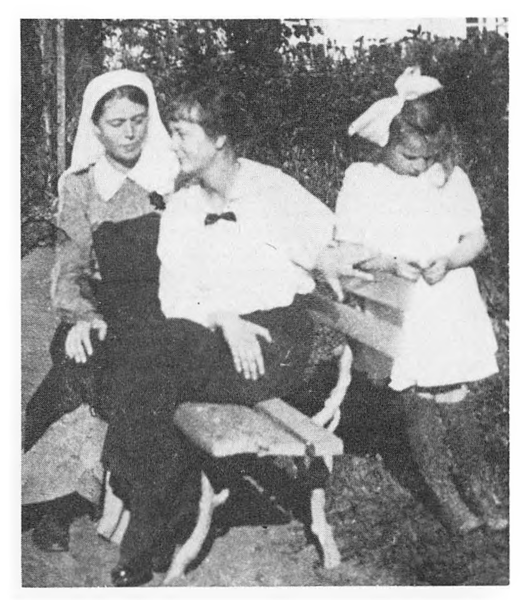
Князь Сайн-Витгенштейн и Наташа.
Davos, 1907



Ольга в 1913г. (12 лет)



Андрей в 1914г. (15 лет)



Татьяна (в форме сестры милосердия) и О. Н. Зубова перед Николаевским Институтом. Москва, 1916

Катя и Рекс в Бронице. 1915

Николай Николаевич и Борис Николаевич Сайн-Витгенштейн
(Июнь 1916)

ИМЕННОЕ УДОСТОВѢРЕНІЕ

для явки на выборы въ Учредительное собраніе

По избирательному списку № 160 Бронницкаго Селвскаго избирательнаго участка

(Фамилія, имя и отчество) Витгенштейн Екатерина Николаевна

проживающему въ с. Бронницы Бронницкая Волостная Управа приглашаетъ

Васъ явиться въ зданіе Камени Утрявы

12-го или 13-го ноября 1917 г., отъ 9 часовъ утра до 9 часовъ вечера, либо 14-го ноября, отъ 9 часовъ до 2 часовъ пополудни, для подачи конвертовъ съ избирательною запискою объ избраніи членовъ Учредительнаго Собранія.

Удостоверение для явки на выборы в Учредительное собрание. Ноябрь 1917



Гетман Павло Скоропадский. 1918



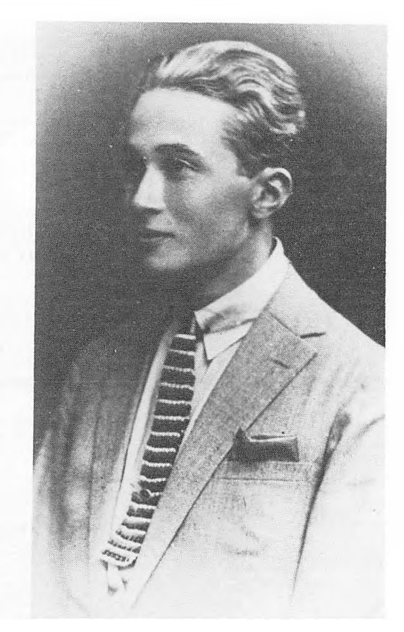
Ольга Николаевна, прибл. 1920



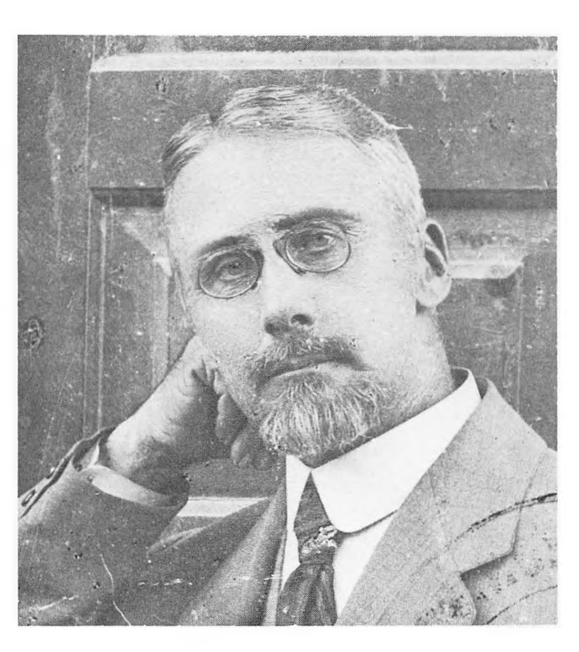
Екатерина Николаевна, прибл. 1920



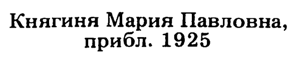
Татьяна Николаевна, 1924



Андрей Николаевич, 1926



Князь Николай Николаевич,
прибл. 1925



Княгиня Мария Павловна,
прибл. 1925



Екатерина Николаевна и
Андрей Разумовский. Шенштайн.
(Фотография при помолвке)



Автор дневника, графиня Е. Н. Разумовская, 1972

1916 год.

6 января 1916.

Ничего не написала на Новый Год, как в прошлом году: было как-то тяжело, не до этого. Я не люблю Новый Год: он всегда слишком напоминает, как скоро идет время, как скоро пройдут эти счастливые дни. Кругом только и слышно об ужасах минувшего года, но я буду вспоминать о нем с хорошим чувством: *нам* 1915 год не принес ничего очень дурного, мы жили так же, как все последние годы, тихо, спокойно, дружно. Я слишком люблю эту тихую жизнь, я боюсь и мысли, что эта жизнь не может продолжаться еще долго-долго, до тех пор, пока я не умру. Я не хочу другого счастья, счастья, где не будет мамулечки и всех тех, кого я люблю, да и никакого счастья для меня не может быть без них. Я боюсь будущего, боюсь настоящей жизни, боюсь неизвестности, а главное, боюсь пережить хоть кого-нибудь из моих близких. Мое самое большое желание – это умереть теперь, пока я еще не знаю тех прелестей жизни, которые, может быть, заставят меня подумать иначе, пока я еще не сделалась другой. А все-таки я люблю жизнь, я не из тех, которые только думают о заоблачных вещах. Есть некоторые вещи, которые я так люблю, что даже сердце подпрыгивает! Из них одно – это музыка вообще и театр в частности. Я люблю все красивое, красота во всех ее проявлениях – это то, на что я не могу смотреть равнодушно. Природа и все ее бесконечно разные картины, красивые люди, будь это мужчины, женщины или дети; красивые животные,

красивые здания и все произведения искусства – это то, что я люблю больше всего на свете.

Но из всего того, что можно причислить к красоте, я больше всего люблю музыку, звуки! Ничто так не говорит моему сердцу, как звуки. Они зацепляют, не знаю чем, за какие-то струны в моей душе, и наверно они заставляют эти струны дрожать и петь во мне, и эта музыка, которую слышу я одна, заставляет меня вздрагивать, гореть и холодеть, а потом много дней после этого я могу думать только об этих звуках. Музыка – это самое мое большое наслаждение: она больше всего красит жизнь, и у меня ничего нет, что я бы могла променять на это чувство волнения, радости и еще чего-то большего, чувство, которое наполняет меня всю, когда я слушаю музыку. Да, я бы хотела умереть теперь, пока это наслаждение для меня выше всего на свете.

Петроград, 19 февраля 1916.

Как последовательно я пишу дневник в этом году! Вот и еще промежуток в месяц с лишним. Сейчас масленица: блины, Андрей и Ольга не учатся, и (что лучше всего) были в театре! Два дня подряд! В моей первой тетрадке так подробно описано, как мы ходили слушать Собинова в Большом театре, что если бы я и сейчас вздумала распространиться, пришлось бы посидеть часа три и писать много страниц. Но, во-первых, мне жаль моего нового карандаша, потом – нельзя сравнить: тогда это был "Лоэнгрин", моя самая любимая опера в Большом театре, дивно поставлено, с прекрасным подбором артистов, а теперь это были маленькие роли, неважный театр и довольно слабая постановка Народного Дома. Но все-таки сказать можно было бы много.

Я слышала Собинова три раза в этом году, два раза в театре и раз на концерте, и, конечно, могла бы много рассказать об этом, но не стоит повторять то, что я уже писала в первой тетради, то, что все знают: что этот дивный голос чарует слушателей, что все, что бы он ни пел, будет казаться замечательно хорошо в его исполнении. Вчера он пел герцога в "Риголетто", и, конечно, пел очень хорошо. Жаль только, что постановка в Народном Доме такая неважная. Третьего дня мы были в Мариинском театре на "Ромео и Джульетте" со Смирновым, и от этого спектакля впечатление осталось самое хорошее. Какой хороший театр, какой оркестр, какая постановка! Смирнова очень приятно слушать: у него прекрасный сильный голос (хотя, конечно, хуже Собинова), да и роль эта очень красивая.

Вообще, какая хорошая опера, сколько в ней красивых моментов, и все это еще так выигрывает в таком прекрасном исполнении. Все другие участники были вполне на высоте Смирнова, так что общее впечатление замечательное.

Мы вернулись поздно, в страшно веселом расположении духа. Все были очень довольны. Портило только то, что бедная мамулечка чувствовала себя настолько нехорошо, что не могла поехать с нами.

Также и вчера, мамулечка осталась дома, пока мы всей гурьбой отправились в Народный Дом. Когда я иду в театр, я люблю приехать к увертюре и, не пропуская ни одного звука, вникнуть и понять смысл музыки. Ничто так, как музыка, не может олицетворить переживания и чувства, и весь смысл оперы в этих звуках. Но что портит общее впечатление на гастролях Собинова – это "собинистки". Эти дамы и девицы, которые с истерическими криками "Собинов, Собинов!!!" несутся к рампе, швыряют на сцену цветы, аплодируют и орут при каждом его появлении, требуют повторения каждой арии, кричат во время действия, вызывают без конца – все это так глупо и неприятно, а главное смешно, что только портит общее впечатление. А во время этих двух гастролей Собинова "собинистки" поработали на славу! Несносные рожи; только портят общее впечатление!

Скоро сюда приедет Шаляпин, и я хочу "поинтриговать", чтобы достать билеты его послушать. Жаль только, что и он будет петь в Народном Доме. Кажется, знаменитости сговорились и поссорились с дирекцией императорских театров. Может быть, только на этот сезон?

8 марта 1916.

Еще о театре, но это последний раз в этом году. Вчера были на "Фаусте" с Шаляпиным, и, Боже мой, я, право, никогда не думала, что на сцене можно так играть! Ни минуты не видно Шаляпина, видно живого Мефистофеля, сатану, наконец, черта, самого настоящего черта! С той минуты, как он появляется, видишь перед глазами этого красного черта, и правда получается впечатление колоссальное. Он ходит, двигается, смотрит, сидит, поет, все по-чертовски, ни минуты нельзя подумать, что это простой человек. Когда он появляется в первом действии, первое, что меня изумило в нем, – это его огромный рост и богатырское сложение. Но когда он прошелся по сцене, запел, я увидела, что это не такой человек, как его партнеры. В каждом его жесте и движении видно, что он не только чувствует себя

хозяином на этой сцене, а и хозяином смотрящей на него многочисленной толпы, видно, что он чувствует себя и настоящим Мефистофелем, которого боятся, но перед которым и преклоняются. Он уверен в успехе каждого своего жеста. Чаша с ядом вспыхивает в его руках таким ярким, красным пламенем, что солдаты на галерке, наверно, подумали, что это правда нечистая сила. Особенно поразительны все его приемы и позы: как он ни станет, как ни повернется – это картина. Черт да и только, ни тени Феди Шаляпина.

Во всем втором действии, когда Вагнер, чтобы спеть свою песенку, влезает на скамейку, Мефистофель сбрасывает его оттуда, как мячик, и сам появляется на его месте. Он стоит некоторое время неподвижно, поставив одну ногу на стол и опершись о колено локтем, и смотрит на окружающую его толпу с презрением, потом вдруг соскакивает и предлагает свою песню. ... Трудно себе представить, что произошло, когда он кончил. Такого крика, визга, такой бури аплодисментов я никогда еще не слышала. Я сама аплодировала неистово, хотя никогда не делаю этого. Он повторил вторую половину, и долго не смолкали аплодисменты...

Я видела раньше Шаляпина только один раз, в "Севильском цирюльнике", и тогда он на меня не произвел и половины того впечатления, что теперь. Мефистофель не чета Дон Базилио. Дон Базилио, в передаче Шаляпина, ломака и шут, хотя и гениальный шут. Мефистофель – дух зла, зловещий, страшный и всесильный.

Странно, что человек такой несимпатичный, такой неважный человек, так гениален.

Петроград, 1 июня 1916.

Да, все еще Петроград! Мы еще не сдвинулись, но, кажется, теперь скоро покинем Петроград, который оказался таким гостеприимным, что мы с ним не можем расстаться. Но в сущности мне все равно! В Броницу мы теперь не едем (там только за последнюю неделю положение упрочнилось, с тех пор, как наши войска перешли в наступление и погнали австрийцев). Мамулечке необходимо полечиться в Старой Руссе, а нам папа нанял там помещение, когда было совершенно неизвестно, куда деваться. Итак, мы, т.е. мама, Татьяна, Ольга и я, поедем в Старую Руссу, папа остается здесь, чтобы продолжать работать на складе вел. княгини Марии Павловны; Андрей вот уже месяц как сидит в Бронице (счастливый!), а Боба через два дня будет произведен в корнеты и уедет в полк, под Двинск. Кто куда. Это, кажется, первый раз, что все так разъезжаются. Мы оставались

здесь так долго, потому что ждали Бобиного производства, и вот оно состоится послезавтра. Он был один год и 9 месяцев солдатом, и теперь будет странно увидеть его в офицерской форме.

Еще более странно, что мы опять проводим его в действующую армию, туда, где он уже столько раз подвергался такой опасности. Вчера проводили на фронт Сашу Зубова; на днях отправляется и Коля, а Володя сегодня поступил на ускоренные курсы Пажеского корпуса. Когда же это кончится? Неужели, неужели и моего маленького Андрея, и его возьмут тоже? Это будет слишком! Но зачем пока думать об этом, лучше не надо!

Я не буду делать планов на лето, мне все равно. У меня что-то в мозгу устало. Мне даже кажется, что лето не наступит, что не будет зеленых деревьев и травы, не будет жаркого солнца, свежего воздуха и тишины, главное, тишины! Будет все тот же шум трамваев, грохот обозов, бесконечно разнообразные свистки, гудки и рев автомобилей и эта вечная суета, давка на улицах!

Петроград, 3 июня 1916.

Производство состоялось: сегодня Боба офицер, корнет Лейб-гвардии Конного полка! Надел китель с блестящими погонами и предвкушает удовольствие погулять во всем своем величии. И молодцом же он выглядит в этой форме! Наверно, будет один из лучших в полку. Еще недельку побудет здесь, а там на фронт. Мы едем 5-го.

3 июля 1916.
Старая Русса. Парк.

Конечно, начать надо опять с того, что сидим здесь уже месяц, а пишу я только сегодня. ...

Старая Русса – это совсем не та захолустная дыра, какой нам старались ее представить Зубовы, а очень нарядный и многолюдный курорт, с настоящей курортной публикой и всеми присущими курортам развлечениями: музыка играет два раза в день, в театре три раза в неделю даются представления; досужие артисты дают концерты; две теннисные и крокетные площадки всегда заняты младшим поколением. Парк большой, и его укромные уголки и маленькие дорожки, кажется, особенно способствуют развитию флирта, который очень здесь процветает. Публика хотя не очень нарядная,

ужасно смешанная, или скорее вся состоит из "демоса", который оделся по последней моде и гордо на всех смотрит. Эти подробности мы узнали не сейчас же, и первое впечатление было не из приятных: грязная комната нашей дачи, с подозрительной мебелью и кроватями без верхних матрацев, со рваными тюлевыми занавесками на окнах, рваные чехлы на мебели и вообще дешевый "vulgar" вид всего, это было не очень приятное welcome. Потом оказалось, что наши комнаты густо населены тараканами и даже клопами! Первый день провели за тем, что покупали груды персидского порошка. Везде сыпали, мыли полы (что тоже почти непозволительная роскошь, потому что воду здесь надо покупать, и то дают только одну кадочку в день), вытаскивали свои скатерти и салфеточки и закрывали ужасные столы. Вообще наша дача похожа на гадкие меблирашки, или я так их себе представляю. Мамулечкина комната в курзале, чистая, светлая, показалась нам чем-то небывало хорошим. Конечно, все устроилось, все вычистили, клопов извели, на кровати положили свои матрацы; мы привыкли, устроились и зажили недурно.

Большую часть дня проводим в парке, домой приходим только есть и спать. Я нашла себе здесь большое удовлетворение и утешение в разных невзгодах: это оркестр, который играет по четыре часа в сутки: с одиннадцати до часа и с пяти до семи. Когда погода хорошая, играют на дворе в павильоне, а публика сидит на скамейках под деревьями; когда идет дождь, играют в зале, куда все и укрываются. Я не пропускаю ни одного дня и всегда стараюсь попасть на музыку, хотя Татьяна и не раз ворчала на меня за это. Что же я могу сделать, если так люблю музыку! Слушать даже этот маленький оркестр мне доставляет большое удовольствие! Хотя, кажется, Signor Armando Zaniboni не очень важный дирижер, все-таки играют неплохо. Играют, конечно, не очень серьезные вещи, а больше разные штуки из опер и т.д., я теперь узнала массу вещей, о которых не имела никакого понятия раньше. ...

Ванны берем мамулечка и я. Мамулечка берет один день грязевую, другой день солено-хвойную, потом отдыхает один день. Я, конечно, не беру грязевых, а хвойные беру только через день, но все-таки это очень скучно: после ванны надо лежать час и в эти дни я не слышу утренней музыки. Татьяна ванны не берет, у нее все бьется сердце и вообще она мне не нравится. Ей доктор не позволяет пока брать ванны. ...

P.S. В том же садике, что и мы, живет старый князь Голицын с внуком. Как странно, что они и мы единственные представители

титулованного "монда" и живем рядом. Мы его не знаем и вообще ни с кем здесь не знакомы и все сидим одни. Наверно, все здесь считают нас очень гордыми.

10 июля 1916.

Я хотела бы написать про одну странную "пулю", которую я устроила собственноручно, первую в этом роде: мы с Ольгой сидели на музыке за день до ее отъезда и говорили о том, что жаль, что нельзя устроить так, чтобы завтра нам сыграли на прощанье разные штуки, которые мы любим. Раньше мы не раз говорили, что напишем письмо maestro с просьбой играть и то и другое. И вот, во время концерта мне вдруг пришла в голову блестящая мысль: почему бы нет? Возвращаясь, говорю Ольге: "Я решила написать цидулю maestro, только как бы ее отправить ему, ведь мы не знаем его адреса?" Ольга пришла в восторг от такого плана, и мы, громко смеясь, стали придумывать, как бы это устроить. Чего только ни придумали, наконец Ольга решила the very thing: просто написать на конверте: г-у капельмейстеру такому-то, здесь. Так и решили сделать. Дома нас уже ждали мамулечка и Таня и обед на столе. Мы с Ольгой были так возбуждены нашим планом, что слишком много смеялись и вертелись за обедом, но, к счастью, этого не заметили. После обеда мы сказали, что пойдем погулять по парку, а сами захватили из бювара Татьяны конверт и бумажку и понесли в мамулечкин номер в курзале. Там я стала сочинять послание; конечно, весь шик был в том, чтобы написать по-итальянски. Наконец написали так: «Egreggio Signor Maestro, scusi che Lei scrivo non conoscendola, ma parto sta serra, e La prego, si è possibile, di suonare qualche cose che io amo. Si non è troppo, cosi: 1. Marcia. 2. Intermezzo di Carmen. 3. Per Gynt. Grieg. 4. Chanson d'automne e La barcarolla di Chaikovsky. 5. Rigoletto. 6. Evg. Onegin. 7. Capricio italiano di Chaikovsky.

Ringraziandola, Suo devotissimo, Un amatore di musica.»

Правда, что написала я "Sua devotissima", а потом переписала на мужской род, что вышло еще глупее. Все-таки запечатали и написали адрес. Собрали все марки, которые у нас были (только 4 коп.), наклеили и бросили письмо в ящик курзала. Пока я писала письмо, руки мои так дрожали, что почерк мой сделался ужасный. Бросив письмо, мы с Ольгой обежали кругом парка и с шумом неслись домой. Ночью мне снились дикие кошмары, что мое письмо выставили вместо программы, что все показывают на меня и т.д.

Проснувшись на другое утро, я ужаснулась тому, что сделала; не могла ни пить, ни есть, руки дрожали, вообще было гадко. Конечно, на утренней музыке ничего нельзя было ожидать, потому я не очень волновалась идя туда, но вечером, пока мы шли в залу (шел дождь), сердце мое сильно билось. А почему, в сущности? Никто не мог знать, что это я сделала, но все-таки я надеялась, что maestro не получил письма и ничего моего не будет в программе. Мы с Ольгой робко подошли и стали читать, и... у меня полегчало на сердце: ничего из "моих" вещей! Пошли и сели в третьем ряду на наших всегдашних местах и ждем уже спокойно. Собирается оркестр, приходит maestro, мы ждем обычный марш, как вдруг раздаются лихие звуки увертюры из "Кармен"! У меня так и оборвалось сердце. Конечно, маэстро, получив мое письмо, не мог перестроить всей программы, но чтобы показать, что он его получил, сыграл эту увертюру. Может быть, он хотел посмотреть, на кого это произведет впечатление? Я сидела, уткнувшись носом в книгу, и ждала только конца.

Вечером Ольга уехала, а я рассказала все Татьяне. Она совсем не рассердилась, как я думала, а страшно смеялась. Ей "пуля" очень понравилась. Ночью мне опять снились кошмары, и на другое утро я рассказала про пулю мамулечке. Она тоже не рассердилась, и это меня успокоило. Мне почему-то показалось, что все кончено и maestro ограничится увертюрой. В это утро у меня была ванна, и, возвращаясь после нее под проливным дождем, я решила забежать в галерею, чтобы посмотреть, какая будет программа. Был уже двенадцатый час, и я была уверена, что музыка уже началась, но вдруг, о ужас, увидела маэстро, который, злой и мрачный, стоял в дальнем конце галереи около столба с программой. Я в ужасе спаслась на этот конец и смотрю программу: 3 *мои* вещи: "Евгений Онегин", "Осенняя песня" и "Баркарола". Мне сделалось так смешно, что я, кажется, тут же расхохоталась и бегом понеслась домой, лежать после ванны. Так и не пришлось услышать мои вещи! Одно меня очень смутило: что маэстро, значит, ни минуты не поверил, что автор письма уехал, и теперь, пожалуй, как-нибудь узнает, кто это сделал.

Это была суббота, так что вечером музыки не было, но в тот же вечер я, кажется, выдала себя головой. Мы все трое сидели в галерее с книгами и газетами и мирно enjoyed life, но мне надо было встать и пройти по галерее, кажется, в кондитерскую. Возвращаюсь и вижу, что навстречу мне идет maestro, я сейчас же говорю себе: как бы мне сделать очень равнодушное и холодное лицо? Но тут же чувствую,

что краснею, не знаю, куда смотреть, и вообще мне очень неприятно. В это время мамулечка, сидя на скамейке, смотрела, как я иду, и увидела, что вдуг я делаюсь малиновая! Тогда она осмотрелась кругом и заметила маэстро. Он посмотрел на меня и, конечно, понял, и с тех пор я уверена, что он знает, кто написал письмо.

На другой день в программе было еще три моих номера: сюита из "Пер Гюнта", Риголетто и мазурка из "Жизни за царя". Мы сидели все втроем и слушали, но все-таки мне очень хотелось, чтобы я всего этого не начинала. С тех пор я не могу смотреть на маэстро, и когда встречаюсь с ним, наверно имею очень несчастный вид. И *наверно* я надолго откажусь делать подобные "пули"!

17 июля 1916.
Курзал.

Сегодня гадкая погода, поэтому я одна пришла в парк, а мамулечка и Татьяна остались в комнате. У нас был доктор Верман, и я только что после его визита пришла сюда слушать музыку. Вот уже целая неделя, как я не беру ванн из-за моего того бока, который так часто болел в Петрограде и на который я никогда не обращала внимания. Теперь доктор сказал, что у меня зимой был маленький плеврит *(sic!)*, хотя у меня не было ни одного насморка. И вот теперь я хожу в фуфайке, вечером меня трут мазью, и сплю я во фланелевом жилете. Все это не очень забавно, но мне, в сущности, было бы все равно, если бы мамулечка не боялась. Я вообще не боюсь никаких болезней, и мне всегда кажется, что я не могу правда сильно заболеть. А вместе с тем я почему-то уверена, что не буду очень долго жить. Я не могу себе представить, как буду жить потом, и вообще ничего, так, как будто этой жизни совсем не будет. Иногда я начинаю думать, как я буду делать это и то, как буду разрешать разные трудности, но потом как будто какой-то голос внутри меня скажет: "Да ведь этого всего не будет". Очень странно. Я вообще не боюсь смерти, а гораздо больше боюсь жизни. Наверно, это последнее малодушие с моей стороны, но это почему-то во мне есть, с тех пор, как я научилась думать и рассуждать.

А все-таки иногда подумаешь, как хорошо жить на свете! Иметь свою семью, мужа, детей, быть тем, что у нас мамулечка, как хорошо! Да, но, кажется, такое счастье – я его недостойна. Я почти уверена, что не выйду замуж, что это мне на роду не написано. Разве я, у которой нет ни на грош силы воли, разве я смогу держать дом, воспитывать детей, помогать мужу и вообще бороться с жизнью?

Наверно нет. Мне надо измениться совсем, чтобы быть хоть куда-нибудь годной. А вести другую жизнь? Но какую? Я не могу сама зарабатывать на жизнь, я ничего не умею делать. Я много раз старалась придумать, что я могу делать, как работать, и ничего не придумала. Но как неприятно подумать, что я могу жить только за спиною кого-нибудь, чтобы меня кто-то тащил! Неужели я никогда не научусь быть правда настоящим человеком, деятельным, полезным? Наверно нет, потому что я боюсь жизни.

Но чего я больше всего боюсь, это пережить кого-нибудь из моих близких. Жить без мамы, без всех, это невозможно! Я не могу жить без того, чтобы меня любили, и сама я слишком люблю мамулечку, чтобы жить без нее. (Давно-давно, когда я еще была ребенком лет восьми-десяти, я очень любила придумывать, какой бы я хотела, чтобы был рай. Правда, об этом я и теперь иногда думаю, но тогда в моем раю были почему-то мамулечка, Наташа и я. Почему? Мой рай был какое-то одинокое, спокойное место, и в нем мы были втроем, причем я должна была сидеть на полу, положив голову мамулечке на колени. Где были все другие, я не знаю. Странно.) Может быть, я раньше других пойду к Наташе? Это одна главная причина, почему я бы хотела умереть теперь, но, к несчастью, этого никогда не случится, потому что это мое желание показывает такой эгоизм, какой, наверно, редко бывает. Конечно, самые счастливые люди те, которые удостоились умереть молодыми, но те, которые желают этой смерти и не думают о том страшном горе, которое причинит эта смерть, эти люди злейшие эгоисты. И я тоже такая. Да, надо будет жить, бороться и по возможности храбро переносить те невзгоды и бури, которые пошлет Господь. Тогда, исполнив честно свой трудный долг на земле, можно будет желать и просить заслуженный отдых. А мне это грешно. А то что мне кажется, что я не буду долго жить, – на все воля Божья и мы должны быть счастливыми, повинуясь ей.

23 июля 1916.
Старая Русса. Палаццо Эллинского.

У меня сильнейший насморк, поэтому все кажется несносным и скучным. ... Как мне нездоровится! Голова точно свинцом налитая, в ушах шумит, дышать тяжело. И это лето, июль! Погода такая, что я бы сказала – мы сейчас в сентябре. Холод, сырость! Вообще мне надоела Старая Русса, со своей "мрачной" публикой, возней и всеми неприятностями, присущими курорту. Опять я себя чувствую

"замызганной", как в Петрограде. Правда, нам осталось сидеть здесь только еще две недели, потом денька четыре в Петрограде, а там в Броницу! Но (всегда есть "но") – все портит то, что мамулечка не может ехать с нами. ... Ведь теперь сидеть в Петрограде – беда! Еды нет, все расстроилось, и единственный человек, который может опять все наладить, это, конечно, мамулечка. В конце августа Андрей и Ольга вернутся к началу занятий, но до тех пор бедная мамулечка будет совсем одна. Мы ужасные свиньи!

11 августа 1916.
Старая Русса.

Завтра уезжаем! Наконец! Что может быть хуже доживания последних дней и часов в надоевшем до смерти курорте? Сейчас мы должны пройти через всю скуку этого ожидания, которое будет еще длиться 28 часов. Мы едем в Петроград, там побудем 5 дней, время, чтобы достать билеты и переложить вещи, а там – все трое прямо в Броницу, через Витебск-Жлобин на Киев и по нашей милой Юго-Западной железной дороге через Жмеринку в Могилев. Мы очутимся в Бронице, да еще с мамулечкой, это слишком хорошо! Никогда еще я так не тосковала по Бронице, как в этом году. Ведь последний раз, когда мы ее видели, это было то 21 августа прошлого года, когда мы прощались с ней как навек утраченной. Мы больше не надеялись ее увидеть, и вот теперь мы возвращаемся туда. Там тихо, мирно, нет больше разговоров об австрийцах и грозящем разгроме, не доносится дальний гул канонады. Правда, в полях работают пленные австрийцы, но они не враги больше, они, как пишет папа, "не разоряют Броницу, а пришли и помогают". Без них в этом году невозможно бы было снять урожай, из-за бессовестной дороговизны рабочих рук, а урожай очень хороший. Хотя лето стояло очень холодное и дождливое, хлеба успели собрать, хотя все очень запоздало.

Петроград, 16 августа 1916.

Странно было попасть в нашу "тонную" квартиру после "мерзости запустения" рихтеровской дачи. С необыкновенным удовольствием я осматривала все комнаты, поражаясь их чистоте (!) и их приличному виду. Мне как-то еще больше понравилась наша мебель, посуда, вся квартира и вообще все. Но что я с особенной радостью

и удовольствием рассматривала, это наш ("мой", как, к несчастью, я всегда его называю) *Steinway*. Боже мой, как он мне показался хорош после старорусской прославленной калоши, на которой я все-таки играла каждый день. "Мой" *Steinway* настоящий аристократ: и на вид он замечательно красив со своей красной гладкой спинкой и резными ножками, и клавиши у него изящные, тоненькие, так что на них легко брать октавы. А звук? Что может быть для меня приятнее его нежного, мягкого звука, который, если тронешь клавишу, так и дрожит как живой под пальцем! Я люблю "моего" *Steinway*, как живого человека, и это будет гадкий день, когда тетушка Е.А. потребует его обратно.

Странно теперь ходить по улицам Петрограда, они совсем пусты. После зимней толчеи теперь поражает необыкновенное безлюдие и сравнительная тишина. Улицы кажутся еще шире. Мне нужно было сделать много дел, но погода стоит настоящая петроградская: все время льет дождь, сыро и холодно. Конечно, я с моим боком сижу дома. Сделаю все в Киеве, где мы будем целый день.

Выезжаем завтра в 4 часа. Неужели мы опять увидим Броницу так скоро? Сейчас здесь осень, холодная сырая осень, а там, наверно, светит солнце и тепло. Ведь в наших краях август еще лето! Но мне как-то не верится, что я еще увижу тепло. По-моему, в Старой Руссе лета не было, была длинная, хорошая, теплая весна, потом сразу настала осень. Если посмотреть на карте, как далеко нам ехать, и как долго! Мы выедем из Петрограда в 5 часов 20 минут вечера; спим и едем целый день; потом спим еще ночь и утром в 6 часов приезжаем в Киев. Там сидим целый день до 4-х часов. В 4 мы выезжаем опять, спим и в 7 часов приезжаем в Могилев. Потом последний этап Могилев-Броница. Эти 10 верст мы проедем в час с небольшим, если дорога хорошая, и тогда мы будем дома! Как еще долго!

18 августа 1916.
В вагоне.

Какая скучная Виндаво-Рыбинская железная дорога. И вагон наш такой старый и гадкий! Все-таки очень люблю передвигаться. Мы так много ездили за наши странствованья за границей, да и раньше, что для нас путешествия не являются тем "épouvantail", как для многих. Эту ночь мы отлично спали, и вообще так весело на сердце. Уже с утра сегодня светит солнце, и в воздухе такая теплота и мягкость, которой мы давно не видели.

Эта дорога, так же, как и наша Юго-Западная, очень важная военная ветвь. С нами едут почти что исключительно офицеры, и мы уже знаем их в лицо. ... Все они на вид очень приличные, благо едут из Петрограда, и, наверно, едут на Галицийский фронт. Наш вагон прямо ужасный, старый, с узким коридором, одним окном на купе и освещается свечами. Вчера вечером мы сидели в абсолютной темноте.

Сегодня в 4 часа мы проехали Могилев Губернский, где сейчас царская Ставка. В лесу, недалеко от станции, мы видели несколько рядов окопов и проволочные заграждения. Во всякое другое время это, наверно, привлекло бы большое внимание, но теперь я смотрела на них равнодушно: ведь на все это мы можем смотреть каждый день в Бронице. На перроне в Могилеве мы видели Игоря Константиновича. Он очень похож на Гавриила.* Этот Могилев называется "Могилев на Днепре". Наш "Могилев на Днестре" еще далеко.

Киев, 19 августа 1916.

Как странно было подъезжать к Киеву! Сегодня в 8 часов утра мы с особенным чувством смотрели на чудную панораму могучего Днепра с его высоким зеленым берегом, где на горе раскинулась Лавра. Показалось солнце, и первые лучи осветили золотые главы церквей, которые зажглись и горели как огненные. И я думала о том вечере, таком тихом и спокойном, как это утро, когда, уезжая из Киева, мы не надеялись его больше увидеть. (Это было в августе прошлого года, когда, заняв Луцк, австрийцы шли на Киев). Тогда почти никто не сомневался, что город будет взят. Сами военные власти Киева распространяли панику, советуя всем уезжать и вывозить все что можно. Теперь, глядя на эту такую знакомую нам и такую дорогую картину, я вспоминала эти кошмарные пять дней, проведенные нами тогда в Киеве, нашу поездку в Лавру, мои молитвы там в Великой церкви и в Пещерах о спасении святынь Киева. Как все это давно и все-таки как недавно!

---

*) Великий князь Игорь Константинович был брат тех двух Константиновичей, которые были с нами целый год в Давосе (Иоанн и Гавриил, с которыми мы всегда встречались в церкви. Они приходили к нам "на самовар", пить чай). (Прим. 1981 г.).

Броница, 2 ноября 1916.

Прошло два с половиной месяца с тех пор, как мы в Бронице. Какие это были хорошие две недели, когда наши нас встретили с такой радостью. Их отъезд отсрочили на неделю, и эти 14 дней мы провели не расставаясь, обходя вместе все наши любимые места, а по вечерам гуляли при луне по парку. У нас было много тем для разговоров, и в них я опять нашла моего дорогого Андрея, со всеми его хорошими взглядами на жизнь, которую мы все вблизи еще не видели. (Раз вечером я с ним гуляла одна и говорила ему о том, что не говорила еще никому, даже Татьяне. Дай Боже, чтобы Андрей сохранил навсегда те же честные, хорошие мысли, как теперь, тогда за него можно не бояться).. Ольга все такой же ребенок, и это меня немножко пугает. Ведь ей в декабре минет 16 лет.

Когда они уехали, мы проводили их с таким сожалением, как будто увидим их еще очень нескоро. Это так и вышло, но тогда мы не знали, что так долго тут останемся. Мамулечка была с нами, и нам было *очень* хорошо. Потом я была нездорова. Потом нечаянно прочла в "Новом времени" то, что от меня долго прятали: что убит А. Б. Зачем от меня это хотели скрыть? Мамулечка думала, что я правда любила его? Нет, это, к счастью, неправда, но это был все-таки удар. Это был первый человек, которого я оплакивала с начала этой войны. Это были гадкие дни, я прямо видеть не могла эти черные квадраты на первой странице "Нового времени". И все "геройски пал на поле чести", "убит при исполнении долга", "умер за родину", и все гвардия, целые столбцы имен, бесконечные столбцы имен цвета нашей молодежи! С того дня, серого, теплого, когда я сидела на каменной скамейке на "краю света", совсем одна, и плакала об этом совсем чужом мне человеке, прошло много времени, но с тех пор каждый день я делаю две вещи: молюсь за упокой его души и читаю список всех покойников в "Новом времени", и наверно буду это делать долго. Странно, моим утешением тогда было, что может быть и я скоро умру? Боже мой, что было бы, если бы я его правда любила?

Боба приехал совсем неожиданно, потому наша радость была еще больше. Остававшаяся открытой болезненная рана закрылась с этой радостью. Боба пробыл с нами 6 дней. Он возвращался из Ставки и встретил в Киеве генерала Скоропадского, командующего 1-ой гвард. кавал. дивизией, явился ему и выпросил отпуск в 8 дней. 6-го он, мамулечка и папа уехали в Киев. 8-го Боба оттуда поехал через Ровно в действующую армию, а папа и мама в Петроград. Мы остались одни с Нудичкой. Живем мы тихо и счастливо, дело есть,

скучать мы не умеем: нам очень хорошо. С 20 октября мне все нездоровится: то же, что и всегда, каждый день с утра небольшой жар, вечером сильная слабость, иногда боли в боку. Это меня не огорчает. ... Я почти что уверена, что не буду долго жить. Первый раз я захотела умереть в тот день, когда скончалась Наташа. С тех пор прошло 6 лет, и я все больше и больше уверена, что скоро придет тот день, когда я пойду к ней. 1 декабря мне минет 21 год, возраст, который она только что достигла. Она скончалась на 16-й день после своего совершеннолетия. Когда Татьяне должен был исполниться 21 год, я чего-то боялась и была искренне рада, когда этот год прошел благополучно. Теперь мой черед.

Броница, 22 ноября 1916.

Должно быть, Господь хотел наказать меня за то, что я думаю, потому что на другой же день после того, как я писала последний раз, мы узнали, что Ольга больна корью, Андрей изолирован и живет в Сестрорецке. Это было так неожиданно, что я совсем потеряла голову. Рисовала себе картину самую мрачную: корь очень страшная болезнь, после нее всегда бывают разные осложнения в легких, ушах, желудке и т.д. Но что страшнее всего, это не то, что Ольга больна, она сильная и здоровая девочка, а то, что ходить за ней, кроме мамулечки, некому. И я себе представляю ее бессонные ночи, смертельную усталость, заботы и беспокойства, ее страхи за Андрея и всю тяжелую обстановку опасной заразительной болезни. В тот же вечер, как мы получили письмо, в вечерней молитве я просила во сне узнать, болен ли Андрей? В ту же ночь мне приснилось, что он болен, и я знала, что это правда. Ответ на нашу телеграмму мы получили сравнительно быстро. Я не ошиблась, мамулечка отвечала, что Андрей заболел. Новые страхи: если Андрей бывает чем-нибудь болен, у него все в страшно сильной форме. Мы со страхом ждали известий, которые не приходили, потому что мамулечка не могла писать, разрываясь между двумя больными; а больше некому. Наконец пришло два письма на имя папулечки, который еще не приехал. Мы ничего не знали. 20-го наконец, после стольких дней ожидания, приехал папа. Это было так хорошо, словно в холодный зимний день потянуло первым весенним теплом. Кроме самого себя, папулечка привез нам все те известия про наших, по которым мы так стосковались. Он прочел нам мамулечкины письма, он внес с собой в наш тихий, пустынный дом ту атмосферу семьи, без которой мы теперь живем около двух месяцев. Он побыл только два дня,

навел порядок в хозяйстве и сегодня уехал, с обещанием вернуться 27-го утром. 30-го мы уедем вместе, побудем несколько дней в Киеве, а потом и в Петроград, к нашим! Я так бы хотела их скорее увидеть, что этот день мне кажется чем-то очень далеким!

P.S. Все это время мы с Татьяной страшно увлекались Alexandre Dumas : "Les trois mousquetaires", "Vingt ans après", "Le vicomte de Bragelonne" – всего 11 книг. Эта длиннейшая история, со всеми ее перипетиями, интригами, такая увлекательно интересная, что никак нельзя оторваться от книги. Athos, Porthos et Aramis, d'Artagnan, Richelieu et Mazarin, M. Fouquet, Louis XIV, le Masque de Fer мне снятся каждую ночь, я о них думаю днем и ночью. ... В наше тревожное время приятно забыться и перенестись от войны 20-го века в глубину истории. Они мне помогают наполнить наш тихий, большой дом, где днем я почти всегда сижу одна; они мне служат друзьями и товарищами. С ними я не скучаю. Это может показаться странно, но, после "Нового времени" и "Киевской мысли", после Думы и Бухареста, после Протопопова, Штюрмера, Трепова и продовольственного кризиса, после союзников и венезелистов, после похорон Франца-Иосифа, Сенкевича, Верхарна, Джека Лондона, мне хочется погрузиться в нейтральную глубину 17-го века, уйти в нее подальше, поглубже, на дольше и отдохнуть от действительности. Это малодушие, но это реакция.

3 декабря 1916.
Между Киевом и Петроградом, в 1-м классе
международного вагона.

Едем четвертые сутки. Это было бы забавно, если не было бы немножко утомительно. Едем с такими удобствами и роскошью, как никто теперь не ездит, поэтому очень бодры и веселы и совсем не устали. С той минуты, как в Киеве мы забрались в этот вагон, кончились наши мытарства, потому что едем как всегда в международном вагоне и классические две ночи и один день. Но от Броницы до Киева было забавнее. То расстояние, которое в мирное время проезжают в 9 или 10 часов, мы ехали 36 часов. Хотя мы и были одни в большом, наглухо запертом вагоне 1-го класса, такой переезд был слишком длинным. Наш вагон был прицеплен к воинскому товарному поезду, и мы должны радоваться, что это не был санитарный, которые тащутся еще медленнее. Воинские и санитарные поезда – это единственные, которые сейчас ходят по нашим местам.

В Киеве я справляла свое совершеннолетие, 1 декабря. Хотя я старалась быть веселой, было ужасно грустно и скучно без всех наших, среди чужих людей. Милый мой папулечка устроил так, что мы были в театре этот вечер, да еще в генерал-губернаторской ложе. Шел "Конек-горбунок", и в общем было очень хорошо, только нас все разглядывали в бинокли и артисты нам особенно кланялись. За ночь хорошенько выспались в гостинице "Россия", хотя там прескверные кровати. 2-го ползали по Киеву, вечером в 9 часов были в кинтошке Шанцера, а в 11 уже на вокзале.

Завтра будем в Петрограде со всеми нашими. Как хорошо!

1917 год.

Петроград, 12 февраля 1917.

Конечно, не писала все эти месяцы, да как подумать, что надо сесть и писать обо всем том, что сейчас делается на свете, – право не хочется. Все так гадко, серо, неприглядно, что чем больше думаешь, тем хуже становится на сердце. Хочется закрыть глаза, не смотреть, не думать, не знать; хочется забыться, развлечься, чтобы пережить скорее это время. Чем дальше, тем хуже. Жить становится все невыносимее, над бедной Россией висит такая черная, душная, тяжелая туча, что еще никто себе не представляет, чем она разразится. Мы живем в гадкое время. Конечно, хорошо проповедовать, что стыдно падать духом, что надо всегда бодро и весело смотреть в будущее, что все пессимисты – трусы, но ведь мы не слепы! Мы видим, что кругом все рушится, что все мы идем к какой-то пропасти, что только одно чудо может спасти нас.

В России сейчас все делается, чтобы погубить Россию. Каждый шаг правительства направлен к этому. Кажется, еще никогда не было такого развала внутри страны, как сейчас. Наверно, это все разрешится в ближайшем будущем, и разрешится, конечно, катастрофой. Говорят, 14 февраля, в день открытия Думы, будут забастовки и беспорядки. Ужаснее всего то, что теперь не время! Для армии необходимо спокойствие и порядок тыла. Ей нужна его помощь и поддержка, как материальная, так и духовная. Сейчас наша армия так же тверда и сильна, как была раньше, но ее основа, тыл, прогнила

и готова рухнуть, а это будет слишком хорошо для наших врагов. Я никогда не была пессимисткой, и сейчас я никогда бы не сказала всего того, что сейчас написала, перед кем-нибудь посторонним, но думать каждый может, что хочет. Каждый даже *должен* не делать себе иллюзий и смотреть здраво на настоящее положение вещей.

23 февраля 1917.

У нас никто почти не говорит о всех неприятностях теперешнего времени. Все как будто избегают злободневных разговоров. Модой этого сезона является музыка вообще и опера в частности. Если бы кто-нибудь прочел мой дневник, то сразу понял бы, что эта атмосфера для меня самая приятная. Толчком к развитию этого настроения послужила покупка нами граммофона. С тех пор нашим коньком стало играть и слушать хорошие пластинки. Мы с Ольгой уже знаем наизусть все граммофонные магазины и все пластинки, которые можно или нельзя достать. По общему дружному соглашению мы решили, что в нашем репертуаре не будет ни одного цыганского романса, а что мы будем покупать наши любимые арии из опер. К моему великому прискорбию, в продаже сейчас нет ни одной пластинки с Собиновым. Это мне немножко портит удовольствие иметь хороший граммофон. Зато у нас есть много пластинок с Шаляпиным (конечно, больше всего из "Фауста", потом из "Демона", "Жизни за царя" и др.), со Смирновым, Карузо и Неждановой. У меня есть даже три мои собственные пластинки из "Лоэнгрина", которые я себе всегда пускаю, чтобы хоть так слышать мои любимые вагнеровские звуки.

Мы живем так мирно и счастливо, что, наверно, случится что-нибудь неприятное, что все нарушит.

27 февраля 1917.
12 часов дня.

Дождались! Вот уже четвертый день, как в Петрограде беспорядки: заводы стоят, трамваи тоже, все бастуют. Сегодня взбунтовались чуть ли не все маршевые части гвардейских полков. Около нас, в казармах Волынского полка, с утра бунт; под нашими окнами стоит направленный против них пулемет, со взводом преображенцев. Мы можем ждать с минуты на минуту, что по бунтующим откроют стрельбу.

Мы заперли все двери и сидим на нашей вышке пока в безопасности. Скверное время! Папа в Киеве, и если он услышит, что здесь делается, будет страшно бояться за нас. Хорошо еще, что с нами Боба, на днях приехавший в отпуск, и дядя Коля. Мамулечка хочет отправить нас с дядей в Вологду, пока тут немного не успокоится, а сама остаться здесь с Бобой. Мне страшно не хочется ехать! В такое время лучше не разлучаться и держаться всем вместе. Довольно того, что папа не с нами.

4 часа.

Пока все спокойно. Изредка с Литейного доносятся одинокие выстрелы. Дядя пошел в банк; очень за него страшно.

5 часов.

Дядя вернулся благополучно; говорит, что на Литейном стреляют. У нас под окнами толпа все гуще и крики все громче. Жаль, что забрали куда-то пулемет. Мы наблюдаем улицу из наших двух фонарей, из которых видно всю Баскову с ее казармами, Бассейную и кусочек Литейного. На улице толпы солдат и "товарищей" окружают офицеров и отнимают у них шашки. Мы видели, как солдат верхом и с револьвером в руках подъехал к одному офицеру и целился ему в самое лицо. По улице разъезжают автомобили, полные солдат, с винтовками и красными флагами. Толпа бросается к ним навстречу с криками "ура".

Все это так отвратительно, что трудно верить глазам. Мы звоним по телефону и к нам звонят, чтобы узнать, что делается в разных кварталах города. Везде то же самое. На Захарьевской горит Окружной суд; разгромили Главное Артиллерийское управление; из тюрьмы выпущены все арестанты, и тюрьма горит. Сегодня утром Дума и Совет были распущены, но сейчас нам передавали, что в Думе экстренное заседание. Слухи самые невероятные циркулируют по городу и передаются по телефону. Одни говорят об ответственном министерстве с Михаилом Владимировичем Родзянко во главе, другие о назначении Протопопова диктатором, третьи о назначении генерала Алексеева премьер-министром, и т.д. Другие, которые не имеют никакого отношения к Думе и Совету, рассказывают самые невероятные глупости, вроде того, что из какого-то дома баба выкатила пулемет и стала стрелять куда-то, не то в толпу, не то в солдат; или что в 4 часа пролетел аэроплан и прямо к Думе (?). Вечером, когда Родзянко вернется из комиссии, дядя Коля позвонит ему; тогда мы узнаем что-нибудь определенное. Бобе сказал Клюгенау, что маршевые эскадры всей I-ой дивизии прошлой ночью

пришли в Петроград. Хорошо еще, что саму I-ю дивизию не привели сюда, как хотели раньше. Теперь Боба ездил бы с разъездами по улицам Петрограда и стрелял в толпу! Отвратительно!

9 часов.

Темно, но на Бассейной все-таки расходятся кучки народу. Время от времени раздаются громкие винтовочные выстрелы. Пока ничего не узнали нового. Сидим в нашей вышке, как в крепости. Хорошо только, если эту крепость не будут штурмовать. Какая-то сегодня предстоит ночь? Пока задернули все шторы, а в комнатах, где занавески, зажгли маленькие лампы.

Трудно поверить, что дожили до таких времен!

11 часов.

Последнее известие: избран "исполнительный комитет" из 12 членов Гос. Думы, с М.В. Родзянко во главе. Это нам сказала по телефону Анна Николаевна Бобринская. Туда входит весь президиум, а остальные "все почетные, известные имена", говорит А.Н. Выбрали туда и Керенского с Чхеидзе, но они будто бы отказались. Это очень жаль, т.к. М. Вл. не сможет контролировать их действия. Сегодняшний день слишком полон всяких событий; я чувствую себя очень усталой. Если закрыть глаза, все ясно видишь улицу с черной, беспорядочной толпой. Все уже легли; может быть, не придется много спать. "On se couche tôt les jours d'émeute", говорит Victor Hugo. Мы сделаем то же.

2 марта 1917.

Эти два дня никак не могла заставить себя писать. А написать можно бы было много! Это 28 февраля, самый скверный день, который мы когда бы то ни было переживали! Эта длинная ночь с 27-го на 28-ое, где в темноте по черным улицам, под звуки выстрелов, казалось, ползало какое-то страшное чудовище, имя которому революция. Но если ночь была страшная, день оказался еще страшнее! С утра непрекращающаяся стрельба, и, наконец, первый визит "революционного народа и армии".*

---

*) Я помню, как мы сидели в нашей гостиной, когда вдруг раздался стук в дверь и страшные крики. Дядя Коля пошел открыть дверь; показалось, что вся лестница полна, просто была черна от скопившегося там кричащего, жестикулирующего народа. Между ними много было в черных кожаных куртках, с пулеметными лентами через плечо, все были вооружены, все кричали, все хотели проникнуть в нашу квартиру. Но дядя сумел сделать так, что

Петроград, 14 марта 1917.

Я так и не смогла писать об этих днях, которые потом перейдут в историю; слишком это было тяжелое время. Конечно, странно говорить "было", когда это время продолжается и сейчас, но теперь все как-то привыкли к нынешнему положению вещей, к хаотическому беспорядку и возмутительному безобразию, привыкли ничему не изумляться. Можно ко всему привыкнуть. После первого shock'а первых дней революции правда казалось, что наступит какое-то просветление, что совершается что-то великое. Но это очарование быстро рассеялось: осталось, кроме разочарования, великое отвращение к совершающимся событиям.

Сейчас вся Россия, ее счастье, ее будущее, ее честь, находится в руках необразованного, грубого сброда хулиганов, не знающего ничего другого, кроме травли сословий на сословия, автономии евреев, раздела земли, восьмичасового рабочего дня и много тому подобного. "Совет рабочих и солдатских депутатов" сейчас полновластный хозяин России. Он контролирует и Исполнительный комитет, и министров. Я сейчас не буду описывать все их faits et gestes, потому что не могу даже думать о них без отвращения. Каждый день приносит все новые и новые возмутительные порядки. За две недели своего правления эти господа успели сделать столько зла России, внести столько беспорядка, что, наверно, уже никогда нельзя будет поправить нанесенный вред. Они сумели все разрушить, но сумеют ли они создать новое и лучшее, это сомнительно.

впустил в квартиру человек 10 (или больше), но не всю толпу. Мы оказались в комнате вместе с этими так называемыми первыми людьми революционной армии.

Они бегали по всем комнатам, искали, по-видимому, чего-то и особенно интересовались тем, что будто бы у нас на крыше стоят пулеметы и стреляют по революционному народу. Я не знаю, было ли это правда, стреляли ли оттуда, но во всяком случае перед нашими окнами вдруг остановился броневик и направил свои орудия прямо на наши окна. Тем временем мы старались наблюдать, что делали наши революционеры. Я помню, что я сидела и смотрела на свои руки, которые вдруг покрылись маленькими каплями пота от страха. Но никто не сдвинулся со своего места. Мы сидели и молчали. Потом я заметила, что с моего ночного столика исчезли мои часы, и потом оказалось, что у каждого чего-то не хватало. Я не знаю, как долго продолжалась эта сцена, но скоро все-таки удалось их выставить, и они с криками и бранью ушли. Это был только первый опыт, знакомство с революционной толпой, потому что это повторялось каждый день и по несколько раз в день. Каждый раз кричали то же самое, что мы прячем офицеров, что из окон стреляют, и грозили, конечно, и нас арестовать, и куда-то увести. (Прим. 1981 г.).

Недовольство растет с каждым днем, но об этом говорят только тихо, между собой, т.к. свободы выражать свое мнение теперь меньше, чем было раньше. Сейчас жизнь в Петрограде стала до того тяжелой, что все, кто может, стараются уехать подальше. Все живут только от одного слуха до другого. При малейшем успокоительном известии все оживают, веселеют; потом приходят вести еще хуже, и тогда опять все сгибается под гнетом тяжелой действительности.

В такие минуты все кажется еще безнадежнее, еще мрачнее. Эта жизнь так "мызгает". Нервы у всех напряжены ужасно. Сейчас Петроград находится под прямой угрозой немецкого наступления. Есть алармисты, которые говорят, что через месяц немцы займут столицу. Если у нас в армии такой же развал и отсутствие порядка и дисциплины, как в здешних гвардейских запасных частях, то в этом не будет ничего изумительного, но, кажется, пока этого еще нет. Правда, что Балтийский флот, перебив большую и лучшую часть своих офицеров, выдал головой весь Северный фронт и Петроград, но, может быть, до тех пор, как придет весна, матросы обоих экипажей Балтийского флота образумятся и подумают о том, что надо защищаться от немцев. Сейчас Балтийской эскадрой командует нижний чин Сизов, которого даже не допустили говорить здесь в Думе, так как он был пьян. Это один из примеров нынешних порядков.

Третьего дня мы окончательно решили уехать из Петрограда. Жизнь здесь правда становится слишком утомительной. Пока поедем в Киев, и будем ждать там у моря погоды. Все наши здешние знакомые уезжают, кроме Львовых, но едут в Москву, к родным и знакомым. В Киеве мы будем близко от Бобы (который уехал вчера на фронт) и от папы. Папа пока будет faire la navette между Броницей, Старостинцами и нашим новоприобретенным "Коржевым Кутом" (приобретенным так не вовремя).* Где-то далеко рисуются розовые перспективы, что если все будет спокойно, мы поедем в Броницу, рано, на весну. Но это слишком хорошо, чтобы осуществиться.

---

*) Это имение в Киевской губернии, которое папа купил на мое и Танино имя.

15 марта 1917.

Оказывается, что уехать еще труднее, чем мы думали. Билеты достать почти невозможно. Красная шапка на вокзале обещал взять билеты, если за каждый дадут на чай по 30 рублей, но, кажется, его накрыла на этом милиция, и он, под предлогом, что папа его хочет подвести, вернул деньги и отказался брать билеты. Потом и папа, и дядя старались достать эти билеты через министерство путей сообщения, но и это не удалось. Сейчас Владимир поехал на вокзал, чтобы разными темными путями достать билеты, хотя бы по одному на разные числа. Как-нибудь будем добираться поодиночке на сборный пункт в Киеве.*

Сегодня мне выдрали зуб, и у меня болит половина головы. Только что у нас была Нюра Львова и с огромным энтузиазмом рассказывала, что вчера у них был Шаляпин и пел им самим сочиненный новый гимн. Если верить Нюре, *замечательно* хороший. Конечно, я думаю, Шаляпин не может сочинить ничего дурного, у него слишком много вкуса и артистического чутья. В его исполнении все покажется великолепным. Потом он представлял Львовым, как солдат подвыпивши поет песню, и как баба на манифестации поет Марсельезу. Они совсем с ума сошли от восторга. Кажется, он на днях опять придет к Львовым, и может быть и мне удастся пойти к ним в это время и тоже послушать новый гимн. Конечно, он никогда не будет так хорош, как прежний, но мне очень хочется посмотреть на Шаляпина. Хотя "товарищ Федор" и не очень важный человек, я очень поклоняюсь его гениальному таланту.

---

*) Уехать нам всем вместе из Петрограда не удалось: билеты на поезд получить было невозможно. Решили ехать поодиночке или группами – куданибудь. Первая группа была Таня и я, вторая – мама и Андрей, и третья – папа и Ольга. Первые две – пробраться до Москвы, третья – в Киев. Конечная цель – собраться всем в Бронице.

Я помню, как папа, мама и Андрей провожали нас с Таней на вокзал Николаевской железной дороги. Это было (приблизительно) перед началом Страстной недели (Пасха 1917 г.). В здании вокзала и на перроне творилось что-то неописуемое: сотни, или еще больше, людей старались, как и мы, уехать из Петрограда. Наверно, у нас были какие-то бумаги или билеты – не знаю, но мы стояли на перроне, каждая со своим чемоданом, когда, после бесконечно долгого ожидания, подошел поезд в Москву. Хотя предполагалось, что поезд формируется тут, в Петрограде, все вагоны, площадки, ступеньки были уже переполнены. Помню, как, вскочив на мой чемодан, я старалась влезть через окно в вагон: из вагона кто-то тащил меня, чтобы помочь, на перроне кто-то ногой сбил мой чемодан (и меня), чтобы этому помешать. Не помню подробностей, но под конец Таня и я, и оба чемодана, оказались в том же коридоре того же вагона, набитого до отказа, стояли и потом сидели на чемоданах. Это была моя первая ночь среди толпы, в переполненном коридоре вагона.

(продолжение сноски на стр. 84)

Утром приехали в Москву. Как нам тогда показалось – там все осталось по-старому: никто не бежал, не стрелял; на площади перед вокзалом стояли извозчики. В "революционном" Петрограде все было совсем иначе. Наверно, из-за пережитых впечатлений и после бессонной ночи в вагоне, мы взяли не извозчика, а подводу для тяжелого багажа, поставили на нее наши два чемодана, сели на площадку и таким живописным образом подъехали к квартире тети и дяди Зубовых в Староконюшенном переулке.

Я мало и плохо помню наше пребывание в квартире Зубовых, о спорах и ссорах с друзьями, знакомыми и родственниками. "Московский дух" заключался в том, что Москва всегда уже старалась быть не "красной", но "розовой" и что Таня, Андрей и я (Ольга тогда еще не интересовалась политикой) были тогда, за малыми исключениями, единственными монархистами и убежденными защитниками царского режима.

Мы жили у Зубовых и ждали со дня на день приезда из Петрограда мамулечки и Андрея. Тем временем наступила Страстная неделя. Дома, кажется, не было ни Страстной недели, ни даже пасхального стола.

Мама и Андрей приехали как раз перед Пасхой. На заутрене я была одна. Таня и Андрей сейчас же уехали в Киев (через Курск – новая для меня железная дорога); мама и я уехали сейчас же за ними, тоже через Курск, в Киев. Поезд был переполнен, но у нас были билеты и нормальные сидячие места. Помню как сейчас, что места эти были первыми от входной двери. Не знаю, как долго мы спокойно ехали (я сидела около окна, спиной к движению), когда вагон начал сильно трястись и мимо окна полетела густая туча пыли. Что-то случилось необыкновенное. Мы с мамой обе вскочили, схватили свои чемоданы и бросились к находящемуся рядом с нами выходу. Мне потом всегда казалось, что мы были первые, или одни из первых. То, что мы сейчас же поняли, оказалось верным: вагон, в котором мы сидели, сошел с рельс и стоял покосившись, но еще стоял. Передняя часть поезда – несколько вагонов с локомотивом – остановились на рельсах, в небольшом расстоянии от нашего, косого, беспомощного вагона. Как мама и я спешили, бежали по насыпи, с чемоданами! За нами уже бежала толпа из оставленных на рельсах вагонов. Нам с трудом удалось достигнуть первой площадки целого вагона, забросить на нее наши тяжелые чемоданы, вскарабкаться на нее самим и даже занять два места: мама внизу, а я на верхней, уже поднятой полке. Помню, как я там легла. А тем временем вагон все больше и больше набивался бегущими, кричащими пассажирами из оставленных на рельсах и, наверно, поврежденных вагонов. В скорейшем времени все было полно. Даже на крышах сидели и лежали новые пассажиры. Я точно помню, как страшно было слышать их стук сапогами в потолок вагона, крики и угрозы – выбросить из вагона всех "буржуев", которые (как всегда) довольно долго "пили их кровь"!

Во время этого путешествия из Москвы в Киев (последнее в моей жизни) я кое-чему научилась из разговоров скученных кругом нас людей: например, как очень непривлекательный молодой человек, в течение этих нескольких часов, убедил миленькую, видимо смущенную девушку: "Теперь решено: мы друг друга любим и остаемся вместе!" И меня тогда удивило, что они, правда, вместе вышли на перрон киевского вокзала.

В доме тети Мани (Черницкой, старшей сестры папы), где мы, как всегда, остановились, мы встретили папу и Ольгу, приехавших последними из Петрограда. Но Ольга была тяжело больна. Она где-то заразилась скарлатиной и лежала в полубреду, в страшном жару. Как потом оказалось – сильнейшее воспаление почек, от которого она чуть не умерла. Нас троих – Татьяну, Андрея и меня – поспешили услать в Броницу. Мамулечка и папа остались с тяжелобольной Ольгой в Киеве. *(Прим. 1981г.)*.

Броница, 27 июня 1917.*

Россия гибнет! Может ли здравомыслящий человек не быть согласен с этим фактом? Сейчас никто из имеющих голос не говорит о родине, об отчизне, о России. Она больше не существует. Есть пролетарии всех стран, есть "вильна Украина", есть Финляндия, Сибирь, Крым, Кавказ, есть "вольный остров Котлин" и еще десятка два самостоятельных республик, но России нет больше. В теории, собрание всех этих разных организаций называется "Свободной Россией", но где свобода и где Россия, никто хорошо не понимает. У того, что называется Российской Республикой, нет президента и нет парламента, а есть "Совет Рабочих и Солдатских Депутатов"; нет ответственного министерства, а есть учреждение, именуемое Временным правительством, т.е. коалиция лиц, не имеющих власти, не имеющих силы и умения быть тем правительством, которого они носят название и полномочия. Ярким примером этого кабинета министров является г. министр "народного просвещения" проф. Мануилов. Он внес важные, мудрые реформы, исковеркав всякую грамотность в русском языке. (Отрадным исключением является военный и морской министр Керенский, который сам шел впереди солдат, перешедших в наступление 18 июня. Но теперь ходят слухи, что он не то ранен, не то убит предательским выстрелом в спину).

У нас нет общественного мнения, а есть выкрики большевиков и "ленинцев"; есть "великий трудовой народ", а все, что не он, т.е. люди, живущие не исключительно ручным трудом, это "буржуи", которых надо преследовать, грабить и искоренять; почти нет армии, но зато есть два миллиона и еще больше дезертиров; нет судов, но есть самосуды толпы; нет хоть малой доли того порядка, который был при "старом режиме", но есть весь разгул и развал анархии. Это слабая оценка нынешних событий, не передающая и десятой доли того, что мы сейчас переживаем. События развиваются с головокружительной быстротой, и не пройдет и несколько месяцев, как мы все ухнем в такую пропасть, что уж и не выберемся из нее.

Что самое ужасное, непоправимое, это то, что Россия навеки опозорена перед всем миром этой проклятой и нелепой политикой наших нынешних правителей — большевиков и социалистов. Ведь вот уже почти четыре месяца, как на нашем фронте "сепаратное

---

*) Стараюсь восстановить в памяти картины нашего последнего возвращения *домой*, в нашу родную Броницу. Первое, что нас поразило, было то, что там — как казалось — ничего не изменилось. Ничего не было видно от событий в Петрограде и Москве. На вокзале в Могилеве нас, как всегда, ждал любимый и знакомый экипаж и лошади. Кучер приветствовал нас по-прежнему. (Прим. 1981 г.).

перемирие". Все это время мы пальцем о палец не ударили, чтобы помешать немцам перебрасывать почти все свои силы на фронт союзников. С союзниками мы поступили подло, мерзко, нет даже слов выразить, как подло мы с ними поступили! Мы их не поддержали, мы продавали их, мы выдавали их головой немцам! Проклятые "товарищи" требуют заключения сепаратного мира, требуют пересмотра тайных соглашений с Англией и Францией. Лозунг "мир без аннексий и контрибуций", принятый Временным правительством и всеми русскими хулиганами, тоже очень способствует славе России. И это в такую войну, когда в начале люди правда шли сражаться и умирать из любви к родине, сражаться и умирать за ее славу, за ее будущее! Этот порыв не будет занесен в историю, будущую историю России, а в ней будет с гордостью говориться, что русскому солдату дела нет до России, что он ради торжества Интернационала (т.е. просто из глупости и трусости) братался с немцами, и ради того же принципа Интернационала удирал из окопов. История беспристрастна: она перед всем светом заклеймит это позорное поведение России, и этот позор будет вечный. Что стоит нам переживать это время, быть свидетелями этого позора, который падает и на нашу голову? Мы выросли, любя Россию, мы с детства привыкли почитать этот высокий идеал – патриотизм, любовь к родине. Теперь все рухнуло. Эту родину, которую мы считали великой, на наших глазах опозорили, втоптали в грязь! А что бы я ни дала, чтобы помочь спасти нашу родину, наш светлый идеал, поднять его на небывалую высоту и доказать всему миру, что еще жива Россия, не погибла ее честь и мощь под грязными сапогами хулиганов и товарищей!

А сейчас мы ничего не можем делать и должны видеть все то, что для нас свято, поверженным в грязь и заплеванным подсолнухами и окурками.

Броница, 19 июля 1917.

Никогда не пишу дневника, потому что писать можно, только если чувствую себя немного поспокойнее, а теперь это бывает так редко. Последний раз я писала о той пропасти, в которую катится наша несчастная родина. С тех пор прошло немного времени, а мы значительно приблизились к этой пропасти. Кажется, в истории всего мира нет такого второго примера подлости и предательства, который показала сейчас наша Юго-Западная армия, или хоть несколько полков ее (7-ая и 11-ая армии). Эти полки, только обстрелянные немцами, ушли, удрали в тыл, бросая свои позиции, укрепленные

по последнему слову техники; выдавая головой соседние полки, оставляя врагу небывалое количество трофеев, десятки батарей, склады снарядов и продовольствия, санитарные поезда и отряды. Они бросили Тарнополь, который был в наших руках с начала войны, который был одним из самых важных стратегических пунктов всей Галиции, опорой и базой всей Юго-Западной армии. Невозможно перечислить или даже дать себе полный отчет этого колоссального, стихийного удара, нанесенного России. Дезертиры бегут, как стадо, бросая все, грабя население. Они останавливают поезда, выбрасывают всех, набиваются сами, убивают тех, кто старается их остановить или отрезвить. Развал полный. А немцы, конечно, не ждут, они наступают, тесня перед собой это стадо предателей. Может ли родина быть спасена от этого бедствия? Поможет ли опять введенная Корниловым смертная казнь за измену? Поможет ли то, что Ленин скрылся в Германию,* аресты Нахамкеса (Стеклова), Зиновьева (?), Каменева(?) и других тому подобных личностей? Помогут ли перемены во Временном правительстве и победа кадетов? Поможет ли закрытие "Правды" и "Окопной Правды"?

Нет, товарищи, поздно! Вы не вернете того, что прошло, не воскресите то, что умерло! Из сброда предателей и дезертиров вы не сделаете опять былую, великую духом русскую армию, которая славилась в течение столетий; вы не вытравите из нее пропаганду большевиков; вы не заставите ее уважать вами опозоренных и втоптанных в грязь офицеров! Уже поздно! Вы не сделаете из крестьянина, ставшего бессовестным работником, прежнего честного работника. И тут большевики успели сделать свое дело: сказать крестьянам: "Бери, что не твое, грабь награбленное, ты единственный человек, который имеет право жить, бери добро других, оно будет твое, а их самих вешай и жги!" Можно ли после таких заманчивых картин опять стать честным человеком? Нет, уже поздно! Может ли рабочий, привыкший теперь быть правителем России, привыкший проводить время только на митингах и в вооруженных манифестациях и получать за это интересное времяпровождение большие суммы русских и немецких денег, – может ли этот развращенный рабочий стать правда идейным и хорошим человеком? Нет, уже поздно! Может ли ученик добросовестно заниматься, когда ему внушают, что не надо быть даже грамотным? Может ли офицер по-прежнему братски делить с солдатом все трудности похода, когда

*) На самом деле он скрылся в Разливе, близ Сестрорецка.

этот солдат старается убить его или посмеяться над ним, опозорить его? Может ли помещик по-прежнему уважать и ценить крестьян, когда те только и думают о том, как искуснее обобрать помещиков, или своей грубостью и насилием показать власть? Нет, нет и нет! Товарищи, хвала вам! Вы сумели погубить Россию, погубить ее совсем, по всем правилам вашего социалистического искусства. А кто создаст новую Россию, до этого вам, конечно, нет дела!

А создадите ее, конечно, не вы, не та "революционная власть", "революционный порыв", "революционная демократия, армия, народ". Все, что было "революционным", уже и сейчас нашло себе применение. "Революция в опасности! Спасайте революцию, спасайте свободу!" Нет, поверьте мне, сейчас спасать свободу и спасать революцию можете только вы сами. Не вы ли сами погубили и то и другое? Сейчас всякий честный человек и пальца не протянет для спасения *этой* свободы и *этой* революции. Верили ли вы в те светлые, ложные, как свет магния, лозунги социализма, которые вы проповедовали? Нет, вы дали свободу только себе, свободу делаться еще большими негодяями, чем вы были до сих пор, а "революцию" вы заставили служить вашим порокам и прихотям. Теперь если что-нибудь спасет Россию, это будет та контрреволюция, та реакция, против которой вы предостерегаете граждан, не замечая, что вы предостерегаете их против вас самих. А когда она наступит, эта новая свобода, лучезарная, настоящая, то для кого она будет? Борцы за нее сейчас гибнут на проволочных заграждениях, гибнут, желая задержать толпы изменников-солдат, гибнут от руки предателей и наемных убийц. ...

Я пишу все это не для того, чтобы послать в газету (свобода слова и печати ведь только в теории), не для того, чтобы сказать это "товарищам", которые не захотят слушать, а только для того, чтобы излить мою наболевшую душу. Эта нравственная боль бывает так велика, что я иногда чувствую, что не могу ее выдержать. Когда же это кончится?

Броница, 22 июля 1917.

Немцы наступают: кажется, заняли Хотынь и Каменец. Мы уходим с санитарной летучкой. Укладываюсь. Потом напишу подробнее.

Броница, 2 августа 1917.

Опять стало спокойнее: наступление немцев пока остановлено, мы не трогаемся с места. Можно привыкнуть ко всему, и мы привыкли к самому необыкновенному положению. Эти последние две недели было очень плохо: нам пришлось увидеть вблизи то, чего мы боялись больше немецкого нашествия – нашу отступающую армию. Сама армия до нас не дошла, докатились только ее подонки: запасные полки, которые славятся отсутствием дисциплины, санитарные части, обозы. Могилев сейчас же приобрел характерное лицо городов недалекого тыла: сюда был эвакуирован из Каменца штаб 8-й армии, какой-то авиационный парк, огромное количество санитарных отрядов, лазаретов, автомобильных колонн и т.д. Никогда Могилев не видал такого оживления и такого многолюдства. По грунтовым дорогам потянулись обозы; по деревням разместились запасные части. Тут-то мы и познакомились со всеми удовольствиями житья в тылу армии. Бродячие шайки солдат, разутых, оборванных, нахальных, стали появляться у нас в парке и особенно в огороде. Эти шайки постепенно увеличивались, как саранча истребляли все, что им попадалось: фрукты, овощи, все было уничтожено; что нельзя было есть (дыни величиной с кулак, зимние сорта груш и яблок), срывали, топтали ногами, говоря, что все равно немцам достанется. Каждую ночь были попытки разнести пасеку, но эти попытки доблестно отбивались нашей добровольной милицией, состоящей из двух дедов, Лаврона и Максима, Кирилла и солдата Ивана Сундюка. Но и они однажды ничего не смогли сделать: толпа "товарищей" разгромила два улья. Эти дни мы сидели, не выходя из дома. Папа и Андрей выходили, имея в карманах револьверы, говорили с солдатами, требующими то хлеба, то спирта. Под окнами бродили толпы грязных разнузданных солдат, с красными геранями в петлицах.

Что мы делали, сидя взаперти и в таких условиях? Все были очень спокойны. Кажется, я могу поручиться, что страха не чувствовал никто. Все были очень заняты. Сколько было разговоров и планов, уходить ли, оставаться и ждать немцев, как единственных способных навести порядок? С самого начала наступления папа решил, что не уедет, а мама – что останется с ним. Нам оставаться было бы невозможно, и было решено, что так или иначе мы выберемся. Единственный способ был приписаться к какому-нибудь санитарному отряду или поезду, или лазарету, с которым и оставаться, пока положение не выяснится. Раньше папа и мама хотели, чтобы мы пробирались в Киев или Москву, но мы уговорили этого не делать. В городах голод и анархия. Мы не хотели уезжать далеко

из здешних мест и, если это возможно, курсировать с отрядом поблизости и вернуться сейчас же, когда все немного успокоится. К нам приезжали начальники отрядов и главноуполномоченный Красного Креста при 1-ой и 8-ой армии. Они соглашались взять нас и на поезда и в отряды. Папа бывал у них в Могилеве и у нас на заводе, где они жили. Наконец, все было устроено с главным по санитарной части при 8-ой армии, полковником Лерхе. Если мы почему-нибудь не сможем оставаться здесь, нас сейчас же запишут на эвакуационный пункт в Могилеве, Татьяну и меня как перевязочных сестер, Андрея как помощника уполномоченного, а Ольгу как палатную сестру. Лерхе может устроить и на поезд.

Эти дни мама и я с Ольгой спешно шили форму. У меня и у Татьяны были наши прежние платья, еще тех далеких времен Екатерининской больницы, но надо было нашить фартуков и косынок; Ольге надо было сшить все заново. Антон Чайковский (один из наших австрийских пленных) тоже усиленно шил гимнастерку и панталоны для Андрея. За этой спешной работой я забывала неприятности дня. Был один день, когда мы единогласно решили на следующее утро уехать в Могилев. Правда, квартира, нанятая там папой, наполовину занята офицерами-летчиками, но, мне кажется, приличные люди и согласятся потесниться, чтобы дать нам место. Этот день был хуже всех остальных. Солдаты стоящего в Бронице 86-го запасного полка целыми толпами шлялись у нас под окнами. Под вечер я сидела в моей комнате, в моем любимом углу за столом, и кончала фартук, как вдруг услышала громкий крик и как будто плач: это дід Танас, наш старый сторож, с отчаянием в голосе рассказывал, что "ті прокляты москали прііхали с кінями за сіном". Он так кричал и плакал, как будто сено было его и ему было его очень жалко. Я из окна видела, как приехала толпа, солдаты спокойно нагрузили стоявшую под укосниками копицу сена и поехали дальше в парк, за следующими. Весь этот вечер какие-то темные личности в солдатской форме скакали верхом по парку и по площадке перед террасой. Я из моего угла наблюдала, как наши собаки с яростным лаем бросались на них.

В этот же день толпа солдат, с евреем Подгайцем в главе, кричала что-то про "Татьяну Николаевну" и показывала на сидящую в окне Варю (Варя была наша горничная). Вечером мы решили, что завтра уложим вещи, все необходимое для житья в Могилеве, и завтра же переедем в город. На другой день, когда все было готово и мы высунули языки от усталости, нам неожиданно прислали охрану из шести казаков. По тому, что случилось вчера, я вижу,

что эта охрана принесла нам больше вреда, чем пользы, но тогда (это было 26 июля) они сумели прогнать шляющиеся банды солдат и доставить нам хоть некоторое подобие спокойствия.

Неприятность наши охранники нам причинили немалую, хотя и совсем нечаянно: они арестовали Подгайца, на которого местное население показало как на провокатора. Мы со своей стороны подтвердили то, что он приводил в парк толпы солдат, подговаривал солдат арестовать нашего Ивана, который будто бы дезертир, и делал много других разных пакостей в этом роде. Подгайца арестовали, но несмотря на то, что все улики были против него, на другое утро выпустили. Да и как было не выпустить "товарища Подгайца", члена разных комитетов и комиссий, гражданина города Могилева. Разве это что-нибудь значит, что этот гражданин провокатор, вор и негодяй?

1-го числа к нам явился какой-то прапорщик, который допрашивал свидетелей (которых нашлось очень много), видевших его за работой. Но этого не оказалось довольно. На другой день явился какой-то солдат, член "армейского комитета", с тем же прапорщиком, и опять допрашивал свидетелей. Он записывал их показания в течение 4-х часов, потом сказал папе, что обвиняет его в "лишении свободы гражданина Подгайца", который, конечно, ни в чем не виноват. Ясно, что для "армейского комитета" "товарищ Подгайц" не может быть виноват, даже если он бы совсем искоренил гнездо "буржуев" и сам бы сел на их место в Бронице: но "буржуи" виноваты в том, что им прислали охрану из шести казаков, для того, чтобы они могли хоть приблизительно обеспечить свою безопасность. "Товарищ Подгайц" – нужный партийный деятель для "армейского комитета", а "господин князь" – это существо, которое они ненавидят всеми силами.

Мы все были очень взволнованы и испуганы этой историей. Ведь теперь на чьей стороне сила, тот и прав, а уж конечно тут сила не на нашей стороне. Так пока неизвестно, чем все это кончится.

Броница, 24 сентября 1917.

Еще почти что два месяца, и все то же. Мы все так же живем в Бронице, почти спокойно, почти счастливо, относясь хладнокровно к возможной опасности и событиям вроде последних чисел июля. Если бы не мамулечкина неожиданная болезнь, ничем дурным нельзя бы помянуть это время. Одни стали спокойнее, другие еще более чем прежде озлобленно смотрят на все совершающееся; третьи

почти ничем не интересуются из внешних событий (как, например, Татьяна); четвертые интересуются всем и стараются найти хоть что-нибудь хорошее в тяжелых фактах этого времени. К этим последним принадлежим я и Ольга. Конечно, все стали раздражительнее, да может быть похудели и выглядят хуже. Но это даже не так важно для характеристики той эпохи, которую я описываю. "В России" (ведь мы в районе действующей армии, и это принятое название для глубокого тыла) произошло так много перемен, что сейчас трудно заставить усталый мозг вернуться к ним и сосредоточиться. Московское совещание, падение Риги, выступление Корнилова, объявление республики, демократическое совещание — все это мелькает, как бесконечный калейдоскоп. С каждым из этих событий казалось, что это и есть наконец решающий момент, что что-нибудь да должно решиться и выясниться. Но нет: опять все возвращалось на прежнюю колею, опять все оставалось то же, разве с незначительным отклонением в сторону худшего.

Я с огромным интересом слежу за ходом демократического совещания. Кажется, на нем что-то решится, и уже, конечно, ничего хорошего. Победа крайних партий, победа большевиков, уход Керенского (замена его Черновым или Лениным)? Очень на это похоже. Когда одолеет наш доморощенный "клуб якобинцев" в виде Совета Раб. и Солд. депутатов, то недалеко и до террора.

У нас теперь часто идут споры насчет Керенского. Мамулечка и Татьяна нападают, при слабой поддержке Андрея; я защищаю, при довольно сильной поддержке Ольги. Я давно пришла к убеждению, что когда спорят, уговорить друг друга нельзя. Конечно, самый главный аргумент, что Керенский не гений, и что он до сих пор не спас Россию, хотя думает, что может это сделать. Что он не довольно воспитан, чтобы править государством, что он хотя и честный человек (мнение мамулечки) и делает все это искренне, но только "талантливый говорун". Татьяна находит, что он ни минуты не думает о том, что проповедует, а только о себе, о своем честолюбии, что из-за этого честолюбия он готов продать все. Что он способен на всякие подлости, вроде как тащить из Зимнего Дворца все, что "пригодится в старости". Она смотрит так узко, что не может видеть в человеке, взглядам которого не сочувствует, ничего хорошего. Она способна назвать его последним проходимцем и мошенником. Меня раздражает такая узкость. Нельзя клеймить человека негодяем, если не сочувствуешь его политическим взглядам. Я верю в честность Керенского и в его искренность. Виноват ли человек, всю свою жизнь мечтавший о перевороте, о проведении ложных, но блестящих

и заманчивых лозунгов социализма, о свободе, равенстве, братстве, виноват ли он, если, поставленный во главе этого переворота, он старается провести немедленно в жизнь те идеалы, о которых раньше только мог мечтать? Разве Керенский развалил Россию?

Нет, тех, которые ее валили, были тысячи, а когда спохватились ее спасать, не нашлось должного противовеса. А теперь, справедливо ли винить одного человека в ужасной катастрофе, настигшей нашу родину, справедливо ли говорить, что Керенский не довольно честен и талантлив, чтобы спасти Россию? То, что сейчас происходит, – ужасно. ... Но зачем искать кого-то одного виноватого? Надо храбро признаться, что виноваты все вместе или никто. Конечно, большевики бесспорно виноваты в том, что, будучи подкупленными, развращали своей пропагандой армию и крестьян; виноваты и солдаты, что, спасая собственную шкуру, бежали со своих позиций и убивали офицеров, которые старались остановить это бегство; виноваты и рабочие, которые ничего не делали для обороны страны, поглощали ее денежные средства; виноваты и крестьяне, не желающие давать хлеб городам и армии; виноваты и железнодорожники, и торговцы, и промышленники. Виноваты и разные политические организации и политические партии. Но можем ли мы сказать, что виноваты все, кроме нас, что мы страдаем безвинно? Конечно нет. Мы, т.е. наше сословие, уже в продолжение веков виноваты перед другими сословиями. Об этом мы не вспоминаем, но ведь это естественно, что ненависть к нам, к нашему сословию, ненависть, основанная на зависти, – должна же была вспыхнуть рано или поздно. Теперь они нас ненавидят упорно и зло, не различая отдельных личностей, а видя только все сословие "бар", "буржуев", "господ" и "панов", которое столько услужливых людей им советует еще больше ненавидеть. Что они ненавидят нас, это понятно и это *простительно*, но ведь и мы ненавидим их, ненавидим так же зло и упорно, да еще вдобавок презираем их. Понятно ли это? По-моему, нет. Мы их обвиняем в глупости, в алчности, в скотской грубости и грязи, в том, что они лишены патриотизма и всякого человеческого понимания, кроме шкурных интересов. Что они темны и неразвиты, это конечно правда, но они ли в этом виноваты? Они не патриоты, им дела нет до России, но кто их учил любить родину? Алчность, грубость, нахальство и глупость, – это их отличительные признаки, но разве можно требовать лучшего от народа, недавно бывшего рабом, от народа, не тронутого цивилизацией и культурой? А такое суждение о народе есть тоже только суждение о массе, а что отдельные личности есть и не такие – в этом мы могли сами неоднократно

убедиться. "У нас" и "у них" в понимании друг друга вскрылась огромная и роковая ошибка. Обе стороны желают не понять друг друга, не сойтись, не простить, а желают победить.

Это приведет к самому большому несчастью, которое может постигнуть страну – к междоусобной войне. Я не могу искренне желать победы той стороны, к которой принадлежу, т.к. не могу считать ее совсем правой. Если мне когда-нибудь предстоит быть казненной на гильотине, или что-нибудь в этом роде, я не буду считать себя обиженной. Теперь, когда все кого-то обвиняют, все на кого-то злы, у меня голова идет кругом. И я тоже возмущаюсь и обвиняю и злюсь, но когда подумаю хорошенько, больше ничего не понимаю: обвинять некого. Виноваты все, и все должны это признать. Если нужна примирительная и искупительная жертва, я бы хотела быть ею. И конечно так думаю не одна я, еще и многие другие.

Броница, 30 сентября 1917.

Почему меня так все раздражает? Почему я не могу иногда посмотреть на какой-нибудь самый безобидный предмет, чтобы не чувствовать нудного раздражения, так что надо скорее перевести глаза на что-нибудь другое. В разговоре я совсем нечаянно начинаю сердиться и говорить неприятности. Все кажется скучно и неинтересно. Единственное, что ждешь с нетерпением весь день, это газеты. Хочется в них углубиться, знать все, мелочи, подробности, а потом думать обо всем прочитанном, говорить, спорить... Как бы хотелось очутиться поближе ко всему, поехать в Москву, или еще лучше в Петроград, читать там сегодняшние газеты, утренние, дневные, вечерние, звонить по телефону в "сферы", к дяде Мише Родзянко. Здесь все кажется скучно, и прямо страшно становится, что еще целая зима впереди. Пока стоит хорошая погода, еще сносно, но когда настанет настоящая поздняя осень, что это будет за непроглядный мрак! Все будут злые, будут сердитые, мрачные! До сих пор было одно утешение – это мои кролики. Уйдешь к ним, запрешься, сядешь на пол, на солому, смотришь, как они бегают, и думаешь. Потом на сердце бывает веселее.

Броница, 1 октября 1917.

Сегодня настроение резко переменилось. Опять столь знакомая атмосфера важных решений; совещание при закрытых дверях; серьезные лица; различные мнения. Поднят вопрос, возможно ли оставаться здесь дальше? Выяснилось окончательно, что переехать в тот дом в Могилеве, который папа теперь купил (на мое и Татьянино имя), сейчас невозможно, так как никак нельзя выселить оттуда плотно засевших там жильцов.

Это может быть и к лучшему, так как в Могилеве давно уже ожидаются еврейские погромы. Сначала побьют их, потом помещиков, как было в Козлове, Саратове и многих других местах. В Могилеве опасный винный склад. Легко может повториться то, что было в Бендерах. Мы – помещики самые близкие к городу, носим самую громкую, т.е. самую недемократическую фамилию в уезде. И в Могилеве сейчас же отыщется Муня Подгайц, который с удовольствием приведет сюда солдат. Все разыграется как по нотам. Уезжать? Но куда? В Петрограде есть квартира, но нет еды, большевики под боком, немцы недалеко, и каждый день угроза налета цеппелинов. В Москве как будто немного безопаснее, но нет квартиры, деваться некуда, большевики тоже есть, еды нет, и есть угроза погромов. О провинции и думать нечего. Везде те же порядки: голод, квартир нет и угроза бесчинств солдат и аборигенов.

Вечером, чтобы дополнить картину, прочли в "Киевской мысли" телеграмму из Ставки об усиливающихся беспорядках в Подольской губернии, разгромах имений в нескольких уездах, и между прочим в нашем. Вечером, когда стемнело, было жутко. Я выходила около десяти часов на площадку перед домом. Каждый звук казался подозрительным. Сейчас я пишу, а на душе не совсем спокойно.

Конечно, поговорили, но решить ничего не смогли. Да и что решать в такое время, когда все, даже жизнь, на волоске? Разве можно ручаться за завтра?

Броница, 2 октября 1917.

Сегодня у меня с утра что-то скребло по сердцу. Не зная, чем заняться, стала перечитывать старые номера "Нового времени" и наткнулась на "Был ли мятеж?" Как-то вышло, что я не читала его раньше. В нем описывается очень подробно все то, что теперь называется "Корниловским мятежом" и "Корниловщиной". Как могло случиться такое ужасное, такое чудовищное недоразумение? Нет, видно, России суждено погибнуть. Какой-то злой гений толкает ее

к пропасти, не дает ей опомниться, поражает ее все новыми и новыми ударами. ... Наверно, России придется испить до дна эту горькую чашу и пройти через много тяжелых испытаний. Если бы только знать, что все эти несчастья приведут к обновлению, величию и счастью!

Кто виноват в происшедшей роковой ошибке? Если верить "Новому времени", вся вина падает на Вл. Николаевича Львова. Что он думал в ту минуту, когда от имени ген. Корнилова передавал Керенскому то, что Корнилов не говорил и даже не думал! Была ли это чудовищная провокация, или он был не в своем уме? Зачем Керенский, не узнав подробностей от самого ген. Корнилова, послал ту телеграмму об его отставке, которая внесла столько смуты в армию и страну? Зачем, сделав эту ужасную ошибку, он не опроверг ее за этот месяц? Зачем поддерживали версию о мятеже, вместо того, чтобы кричать на всех перекрестках об ошибке? ... Неужели Керенский настолько связан своей партией, что не может действовать без ее указки? Но когда же люди, управляющие Россией, будут думать только об ее благе, не отклоняясь ни в какие стороны?

Я не считаю Корнилова мятежником и авантюристом, как его изображают все газеты. Это человек, достойный самого высокого уважения. Все, что он до сих пор делал, он делал из любви к России: а теперь на него восстали все, даже те, на поддержку которых он мог рассчитывать. Лидия Дмитриевна пишет, что в Москве говорят: "У Корнилова львиное сердце и бараньи мозги, и это-то и толкнуло его на преступление". У меня сердце обливается кровью, когда я читаю такие вещи! И как это похоже на москвичей, которые всегда гонятся за политической модой, крича "и я, и я с вами!" Я бы написала в этом духе Лидии Дмитриевне, но боюсь сказать слишком много. Ее мне не хотелось бы оскорбить, она хорошая, только слепо верит и повторяет то, что говорят другие.

Есть еще одно течение, которое во всем совершившемся обвиняет Керенского. И с этим я не могу быть согласна. Как это может быть, чтобы Керенский нарочно подстроил всю эту историю, чтобы погубить Корнилова? Разве он не знал, что заодно с Корниловым он губит и самого себя? Уж одно то, что он навеки потеряет свой престиж в глазах тех, которые сейчас его уважают и продолжают ему верить, а это, кажется, последний элемент, на который он может опереться.

Думаю, что теперь каждый настоящий русский болеет душой за это дело. Может ли быть, что несколько боевых и доблестных русских генералов пали жертвой какого-то недоразумения, теперь, когда

присутствие их в армии так необходимо? Зачем все складывается так плохо для России, как будто правда кто-то поклялся ее погубить!

У меня что-то в голове перевернулось, у меня сердце болит, болит до физической боли! Я не могу ни о чем другом думать. Хочется хоть поговорить с кем-нибудь, высказаться, а некому. Ведь даже здесь, пока пишу, я не могу сказать и половину того, что у меня в голове. Так тоскливо на сердце. Неужели правда ничего не спасет Россию?

4 октября 1917.

Еще беда, огромная беда! Немцы высадили десант на островах Эзель и Даго, огнем своих 8-ми дредноутов снесли наши береговые батареи! Это угроза Петрограду, угроза исходу всей войны!

Хотя уже давно здравое рассуждение подсказывает, что этот исход неизбежен, что другого быть не может, хотя еще в марте некоторые офицеры говорили, что после приказа №1 война будет проиграна, но все хочется верить, что случится что-то такое, что протрезвит нашу демократию. Правда, на это мало надежды.

Все это время, вместо того, чтобы думать о поднятии боеспособности флота, представители "всех морских сил России", так называемый "Центрофлот", ведет войну с Временным правительством из-за какой-то квартиры, где "делегатам было бы где покурить". Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Пишут, что сейчас опять очень-очень обострились отношения между матросами и офицерами. Примером этому служит то, что произошло на "Петропавловске". Конечно, пока безответственные организации и органы печати, вроде "Новой жизни" М. Горького, не перестанут натравливать матросов и солдат на своих начальников, прольется еще много невинной и нужной для России крови. И все это тогда, когда немцы стоят перед Ревелем и готовятся идти на Петроград.

Вр. правительство решило оставить все очередные вопросы и заботиться только об обороне. Разве что-нибудь теперь поможет? Еще они хотят выпустить воззвание ко всем, чтобы сейчас забыть все партийные распри и думать только о спасении родины. И это не поможет. Уже столько выпускали воззваний и говорили столько речей, что это больше не действует. Разве можно хоть чем-нибудь подействовать на большевиков, или на те три новые кронштадтские партии: анархистов-коммунистов, максималистов и [*пропуск в рукописи*].

Керенский болен, у него температура 40°, как сообщает "Новое время". Во главе правительства сейчас находится Коновалов, заместитель министра-председателя. Коновалов новый министр в новом коалиционном министерстве; он больше всего интересуется борьбой с анархией по всей стране, и каждый день собирает всех министров для переговоров по этому вопросу.

Конечно, наш отъезд в Петроград сейчас опять отложен. Решено остаться здесь и ждать, что из этого выйдет. У Андрея есть пропуск, чтобы ехать в училище, но пока не решено, поедет ли он. Я бы поехала хоть сейчас, если это от меня бы зависело.

6 октября 1917.

"Новое время" печатает документы по делу Корнилова. Все яснее и яснее становится, что тут была какая-то стихийная провокация или ошибка. Все более странно обозначается роль Львова. Ясно одно: Корнилов, движимый исключительно любовью к России и желанием спасти ее из той бездны позора и несчастья, куда ее толкнула большевистская политика Советов и бессилие власти, хотел создать твердую и сильную власть. Для этого, после происшедшего недоразумения, не остановил 3-ий конный корпус, с целью открыто выступить против Ч.Р.Д. и удалить некоторых министров, которые, он знал наверно, были изменники. Первый между ними был Виктор Чернов, тогдашний министр земледелия. Корнилов узнал это следующим образом: еще за некоторое время до всей этой истории, Корнилов, тогда верховный главнокомандующий, на заседании Врем. правительства говорил о готовящемся со стороны немцев натиске и об невозможности (учитывая состояние армии) удержать Ригу. Тогда Керенский конфиденциально попросил его не говорить о таких вещах громко. Ген. Корнилов был не только удивлен, но и возмущен, что при всех министрах нельзя говорить о необходимых мерах обороны страны. По окончании заседания Савинков повторил то же, намекая на то, что нельзя говорить все при Чернове. Правда, что Чернов был скоро выставлен из министерства, но непонятно, как такая темная личность и сотрудник Ленина мог остаться хоть один день в составе правительства. Значит Корнилов имел серьезные основания желать удаления нескольких министров. Из трех комбинаций, предложенных Керенским — 1. диктатура Корнилова, 2. диктатура нескольких лиц, без участия Керенского, 3. диктатура из нескольких лиц, с участием Корнилова и

Керенского, – Корнилов принял последнюю. Должен был состояться "Совет обороны" из четырех лиц: Корнилова, Керенского, Савинкова и Филоненко. Значит ни одного члена Вр. правительства, кроме Керенского и Савинкова, Корнилов не счел достойным войти в этот совет, долженствующий выразить силу России. Почему весь этот план не удался, – это правда злой рок тяготеет над нашей родиной! Что повлекла за собой эта ужасная история: повсеместное чудовищное усиление большевиков (одни выборы в Московскую районную Думу и в Петербургский и Киевский Сов. Сол. и Раб. Деп. чего стоят), развитие еще небывалой анархии внутри страны, еще худшее разложение армии, а за этим, как самое логичное следствие: десант в Рижском заливе и готовящаяся операция против Минска и Москвы. Нет, если, как говорят, Керенский нарочно подстроил всю эту историю, чтобы погубить Корнилова, то где же тут логика? Он должен был знать, к чему все это приведет, а мог ли он этого сам желать?

Завтра будет первое заседание Предпарламента, или, как он теперь называется: Временного Совета Российской Республики. К чему устроили этот Совет? Ведь если Учредительное Собрание правда соберется к намеченному сроку (12.10), то он будет существовать лишь несколько дней. (Да и его права и полномочия что-то очень туманны). Если Учредительное Собрание будет теперь собрано, это уже будет окончательная и верная гибель России. Ведь везде, на всех выборах, на первых местах прошли большевики. Это страшный показатель. То же будет и в Учр. Собр. Что же из этого получается: Врем. прав., объявив Учр. Собрание открытым, слагает свои полномочия: при Учр. Собрании образуется исполнительный комитет, т.е. вся власть над страной переходит в руки большевиков. Значит та хоть жалкая, но все-таки организация власти, которая сейчас силится что-то сделать, чем-то бороться и как-то помочь, смещается прочь и на ее место становится другая. Значит, весь тяжелый опыт этих 7-ми месяцев, эти разочарования мнимыми идеалами революции и эти тяжелые уроки, все это идет насмарку. Будут новые люди: и новые действия. Восторжествует большевистская программа: "Мир на фронте – война в тылу". Русская демократия, уничтожив все мешающие элементы внутри страны, объявит "мир всему миру" и попадет в кулак Германии. Тогда-то можно будет сказать, что настал конец России!

8 октября 1917.

Документы по делу Корнилова продолжают печататься в "Новом времени". Теперь я еще с большим нетерпением жду почты. Чем больше разоблачений, тем больше путаницы. Правительство, кажется, не очень довольно, что все эти подробности огласились в печати. Кажется, Керенский боится, что с тех пор, как стало известно, что он сам с Корниловым проектировал разогнать Совет и обезоружить Кронштадт, большевики и другие крайние элементы будут еще больше под него подкапываться. По официально зарегистрированным данным, одна за другой все яснее обрисовываются личности всех действующих лиц этой драмы. Ужасно некрасивую роль в этом деле сыграл комиссар при Главковерхе, Филоненко. Он сумел подъехать к Корнилову, стал его доверенным лицом, будучи на самом деле самым последним негодяем. Так описывает Филоненко генерал Лукомский. ... Не знаю, можно ли этому верить, Лукомский и Филоненко жили не очень дружно. Я что-то не очень верю Лукомскому, с тех пор как узнала, что он вовсе не тот идеалист и горячий патриот, которым его считала. Вообще, чем больше читаешь все эти статьи "Нового времени", тем больше путаешься. Столько показаний противоречат одно другому, столько неточностей! Ясно и несомненно только одно: Корнилов не только не мятежник и не авантюрист, как кричат красные газеты разного цвета, но самая светлая личность со времен февральского переворота.

12 октября 1917.

Вчера не было почты, а сегодня пришло только два номера "Нового времени". Нельзя узнать ничего нового о десанте в Рижском заливе. Правда, что известия оттуда всегда таковы, что надо заставлять себя прочитывать официальные сообщения от морского штаба и Ставки. Да еще, говорят, там больше половины – выдумка. Версия о потерях немцев (12 миноносцев, 2 дредноута) и наших ("Слава" и "Гром") что-то очень неправдоподобны.

Пока все разговаривали, я, забравши оба номера "Нов. вр.", ушла на мой диванчик (с которым у меня связаны воспоминания о первых впечатлениях от Достоевского "Братья Карамазовы" и др.), чтобы никто не мешал, и конечно первым делом погрузилась в "Был ли мятеж?" Какое тяжелое впечатление произвели на меня эти две статьи (от 6-го и 7-го с.м.). Эти слухи о готовящемся самосуде натравленной толпы над заключенными в Быхове генералами, эти слишком прозрачные намеки на провокацию со стороны Керенского.

Уже и раньше проглядывала мысль, что министр-председатель виноват во многом, но мне как-то не хотелось верить. Тяжело было бы так разочароваться в человеке, которого я до сих пор так горячо защищала и которому верила. Я верила (и даже до сих пор верю) в его искренность и честность. Если дело Корнилова и всех других генералов не доведут до гласного суда, если им будет сделано хоть какое-нибудь насилие в Быхове, тогда вся ответственность, вся тень падает на Временное правительство и на Керенского.

Еще 10-го, когда мы с Ольгой ездили в Могилев, я читала об открытии Временного Совета Российской Республики. Пишу об этом только сейчас, потому что, читая разные газеты, т.е. видя его в разном освещении, только теперь составила об этом некоторое мнение. Первое впечатление: все по трафарету; речь Керенского очень неважная; большевики готовили скандал, но он, в сущности, не удался; Авксентьев, безграмотная кукла, читал речь по бумажке. ”Бабушка” (Брешко-Брешковская) – комедия; итого: все это совсем лишнее и никуда не годится. ... Только сегодня, прочтя довольно карикатурную статью Пиленко в ”Нов. времени”, я подумала, что все это не так ненужно, как кажется:

1. С правительства снимается большая доля ответственности перед страной. Оно перестает быть той безграничной властью, которая издает законы и распоряжения без предварительной критики и помощи. Все эти законы и распоряжения неизбежно вызывали только неудовольствие всех слоев населения, даже если меры и были разумны. Мне кажется, члены правительства будут рады сложить с себя хоть часть этой ответственности, этого ”безмерно тяжелого креста”, как сказал Керенский на Демократическом Совещании 12-го сентября.

2. Советуясь с Собранием и слушая его критику, члены Прав. будут иметь хоть какую-нибудь помощь.

3. Через Совет, Правительство будет иметь хоть некоторую связь с населением (хотя бы только с одной его частью).

4. Через Совет будут подняты вопросы, говорить о которых до сих пор откладывали, как например дело Корнилова.

5. Многие члены Врем. Совета, возомнив себя крупными факторами в судьбе России, будут прилагать свою энергию в заседаниях Совета, а не в погромной агитации на улице.

Все это было бы довольно важно, если бы до Учредительного собрания не оставалось пять недель времени. От первого заседания можно было ожидать большого интереса и подъема. Речь Керенского

неинтересная, хотя "Новое время" и находит, что она была более государственная, чем все прежние. В ней все время проглядывает огромная усталость повторять все те же слова: "Родина на краю гибели", "не заключим позорного мира", "забудем партийные распри" и т.д., слова, которые, это можно знать заранее, не произведут никакого впечатления. А сколько горечи в требовании, чтобы враг обращался с нами, как равный с равным; сколько разочарованности в прерогативах власти, сколько тяжести ответственности в сообщении телеграмм, говорящих об анархии и разрухе в стране. Каково верховному главнокомандующему говорить открыто, что победа врага не в его мощи, а в нашем бессилии. ...

Та "бомба", которую готовили большевики, не удалась совсем. Если они ушли из Совета, этот последний ничего не потеряет, а сможет дружнее работать. Этот выход большевиков показывает на их бессилие. Правда, это теперь они всю свою энергию направят на работу в "Искосоле" и на улице. Михаил Владимирович Родзянко говорит о выступлении большевиков 20-го числа, как о вещи весьма вероятной. В тесном единении, Петроградский гарнизон и рабочие проектируют свергнуть правительство и выбрать новое из членов "Искосола".* Может быть Керенский пожалеет, что нет ген. Корнилова, чтобы помочь ему.

Броница, 15 октября 1917.

Слух о 20-м числе проник и сюда: недавно какие-то товарищи-солдаты рассказали нашей Параске, что 20-го числа тут будет "Варфоломеевская ночь". Она так и передала нам, но долго не хотела сказать точно, что подразумевается под этим громким названием. Только после долгих расспросов Татьяне удалось из нее вытянуть, что это будет грабеж и поголовное истребление "буржуев". "Что же, если люди такие звери стали!" – восклицает в ужасе консервативная Параска. Оказывается, какой-то солдат автомобильной роты рассказал ей эту новость. На ее замечание, что нельзя чужое добро брать, он отвечал, что тогда добро все будет их, так что это все равно. Параска трясется заранее и говорит, что на эту ночь пойдет спать к Ксении, не потому, что боится за себя (она знает, что не принадлежит к ненавистным буржуям), а потому, что не хочет "на это смотреть".

---

*) "ИСКОСОЛ" – Исполнительный Комитет Совета Солдатских депутатов 12-ой армии Северного фронта. (Прим. изд.).

Я отношусь к этим слухам довольно равнодушно, потому что не верю, чтобы из этого могло что-нибудь выйти. Все наши тоже. Кажется, папа даже не знает об этих слухах. Мы все спокойны и даже смеясь говорим о предстоящей ночи на 20-е, потому что уверены, что ничего не будет. Но ведь это неверно: *что-нибудь может быть!* А если подумаешь, так становится неприятно. Плохо то, что приготовленное в Петрограде движение большевиков откликнулось здесь, в каком-то Могилеве-Подольском, т.е. везде. Мне кажется, это значит – большевики не дремлют.

Ольга проектирует в эту ночь не ложиться, а зажечь лампу в моей комнате и сидеть не раздеваясь. Мы с ней спим в двух смежных комнатах, на отлете от других. Я ничего не имею против этого плана: 1. если что-нибудь случится, я меньше всего хотела бы в это время спать в кровати, 2. хорошо сидеть готовой и одетой, чтобы можно было в каждую минуту выйти приличной и не заспанной к "товарищам"; но есть аргументы и против: 1. если придут с целью громить дом и резать всех, освещенные окна сейчас же обратят на себя внимание, 2. так как по всей вероятности ничего не будет, сидеть всю ночь будет глупо: на другой день очень будет хотеться спать.

А все-таки, как ни смотри, все выходит неприятно. Когда я писала 24 сентября, то думала это искренне, и сейчас не отрекаюсь от своих слов; я верю, что кровь людей невиноватых не может пролиться даром. Когда-нибудь эта кровь ляжет в основу будущего счастья России. Я не могу претендовать на то, что своей незначительной личностью когда-нибудь послужу России, так пусть меня сочтут достойной отдать за нее мою жизнь. Ведь она дорога только моим близким.

Подтверждение этой мысли о крови я нашла в одной статье "Нового времени": на панихиде в Казанском соборе по офицерам, замученным в Кронштадте, в Гельсингфорсе, Выборге и на "Петропавловске", один из священников, о. Кондратьев, сказал слово. Он отец одного из 4-х жертв "Петропавловска". Он сказал: "Нет, Россия еще не погибла! Но кровью утверждается закон. Придет время, и земным поклоном воздаст русский народ тем, кто теперь погиб мученической смертью. Народ поймет, какую жертву принесли его лучшие сыны". И о. Кондратьев ни единым словом не обвиняет тех, которые зверски убили его сына. Он говорил о прощении, призвал забыть вражду, забыть обиды и всем вместе грудью стать, чтобы защитить любимую родину. Отец Кондратьев настоящий христианин. Он простил убийц своего сына, но можем ли и мы сделать то же? Можем ли мы простить "им" эту ненависть к нам? Можем ли мы

заранее простить их желание убить нас? Да, это необходимо. Я не буду повторять всего того, что уже говорила выше (от 24.9). Об этом не нам судить. Пусть сам Господь Бог рассудит нас, а я с моей стороны желаю возможно больше счастья будущим гражданам будущей свободной и великой России!

P.S. А все-таки я боюсь насилия, боюсь той минуты, когда толпа ворвется сюда с явным намерением убить нас. Боюсь того, что кого-нибудь из моих убьют у меня на глазах, убьют раньше меня; боюсь, что меня схватят, может быть будут мучить, убьют не сразу. Мы будем стараться спастись, бежать, или спрятаться в отдаленных комнатах, будем стараться отбиться, будем стрелять, защищаться. Но их будет много, нас мало; они войдут... Если бы они нас только расстреляли! Издали бы, не подходя близко, не трогая нас. Ведь расстрелять – это скорее всего. Всех вместе и скоро. Это было бы самое лучшее, но все-таки сколько надо пройти, чтобы дойти до этого! А я всегда думала, что не боюсь смерти. Я ничего не знаю, лучше не думать. Ведь жить тоже страшно!

И все-таки не верится, что все это может случиться!

18 октября 1917.

Сегодня нет почты и не будет: не пришел поезд. Поэтому мысли сосредоточены на более близких интересах: я посвятила весь день возне с кроликами, "моими зайцами", как я люблю их называть. Странно, что эти "зайцы" мне служат самым большим развлечением и утешением во всех невзгодах. Я их люблю, они мне не могут надоесть. Если бы не они, было бы еще скучнее. Сегодня окончательно перевела кроликов на зимнее положение в бывшую кухню. Устроила там себе свое царство, куда буду прятаться, когда будет мрачно. А мрачно бывает довольно часто.

Броница, 29 октября 1917.
Большая столовая.

Первый час ночи. Мы с Татьяной дежурим. Все спят. Значит, настали хорошие времена.

Расскажу все по порядку.

Второй переворот в Петрограде, тот, что был приурочен к 20-му, уже совершившийся факт. Он начался 22-го, но понемножку, а

разразился 25-го. "Революционный комитет" начал действовать 20-го, но негласно. Мы с нашим вечным опаздыванием газет узнали первые новости только 27-го. Прочли об образовании "комитета", об его ссоре с "Искосолом" и с генеральным штабом; о призыве Керенского к Совету Российской Республики помочь ему в борьбе с большевиками и о преступном отказе последнего. В воздухе пахло бурей. Мы ждали в лихорадке следующего дня. Вчера, когда пришла почта, мы не успели еще открыть сумку, как пришла Нудичка и поздравила с новым премьером – Лениным. Мы с Ольгой мирно играли в четыре руки "Демона" и, услыхав это известие, так и обмерли. Бросились доставать газеты из сумки. Читали их как сумасшедшие, ища главные ужасные факты, стараясь угадать подробности.

Переворот совершился легко и быстро. В последнюю минуту на стороне Временного правительства оказались только юнкера, ударники, женский батальон, да, кажется, несколько казаков. Весь Петроградский гарнизон и весь Балтийский флот стал на сторону большевиков. Где находятся члены правительства, пока точно неизвестно. Ходят слухи, что Керенский не то арестован, не то убит, не то успел скрыться в Ставку, откуда ведет войска на Петроград. Последнее мнение менее всего вероятно. В Совет явились солдаты с броневиками и разогнали его. Поделом. Большевики, конечно, времени не теряли: объявив правительство низложенным, они устроили новый кабинет в таком составе: министр-председатель – Ленин, министр внутренних дел – Троцкий, военный министр-диктатор – Верховский (недаром же он был удален из кабинета и выслан из Петрограда), министр труда – Коллонтай. Других пока не придумали.

В Петрограде все перевернулось: на улицах дерутся, везде вырыты окопы и построены баррикады. Большевики заняли мосты, вокзалы, почтамт, госуд. банк, телеграф. Город в их руках. Зимний Дворец, где члены правительства защищались с группой преданных юнкеров, был обстрелян из пушек Петропавловской крепости и с крейсера "Аврора", который вошел в Неву. Конечно, после этого Зимний Дворец был тоже занят, так же, как и Мраморный Дворец.*

Мы знали, что вести будут плохие, но таких, кажется, не ожидали. Одно короткое сообщение очень неприятно привлекло наше

---

*) Мраморный Дворец принадлежал вел. князю Константину Константиновичу, поэту К. Р. (Прим. 1982 г.).

внимание: анархия поднимается в армии и во всех прилегающих к фронту губерниях. Уже в Виннице пехотный полк разбил арсенал и раздал оружие толпе; к нему присоединился пулеметный полк.

Несмотря на все эти известия, все остались совсем спокойны. Только маме ничего не сказали, боясь, что опять повторится с ней припадок. Сказали, что газеты не пришли. Все реагировали на дурные известия по-своему: Андрей со страшной энергией принялся за оборудование нашего "форта", о котором я буду говорить ниже. Мы с Татьяной и Ольгой стали вносить последние поправки в те мужские "товарищеские" костюмы, которые приготовили днем раньше. Переодевшись, может быть удастся бежать, если ночью. Несмотря на платье, мы не можем походить на "товарищей". Папа вызвал казаков из конторы; Нудичка стала сооружать свой заветный ящик.

К вечеру стало известно, что разграбили одно из соседних имений; говорили – не то Ротмистровку, не то Карповку.* Настроение еще натянулось. Хорошо утешать себя, что это "начало конца", что это кризис, после которого или все погибнет, или все исправится, но как подумаешь, что можешь не дождаться этого конца, – становится страшно. Все легли с уверенностью, что ночью что-нибудь случится.

Я проснулась сегодня оттого, что Рекс лаял и выл под окном. Было еще темно как ночью. Спать почему-то не хотелось. Лежала и слушала, как вдруг показалось, что под окном по площадке перед террасой кто-то идет, разговаривая. Я так и замерла (ведь недаром "революционное настроение"). Когда звуки стихли, я решила, что это показалось, и только что устроилась поудобнее, чтобы опять заснуть... опять неясный говор, неясные шаги. С меня соскочило всякое желание спать. Лежала и слушала, все еще не решаясь встать.

Вдруг скрипнула дверь и вошла Ольга. "Вы слышите, что ходят и разговаривают?" Мы с Нудичкой сели в своих кроватях; конечно, и мы слышали. "Может быть, это казаки ходят делать обход?" – сказала Нудичка, поспешно одеваясь. Я тоже уже успела надеть мужскую рубаху и носки, но при этом предположении мы с Ольгой обрадовались и успокоились. "Уж не лечь ли спать опять?" Я скорее сняла носки, надела поверх той рубахи мою ночную и легла под одеяло. Ольга тоже юркнула в свою постель, оставив дверь в нашу комнату открытой. "Который час? – сказала Нудичка. – Скоро рассветет. Наверно, уже 7 часов?" Я зажгла спичку: было только

---

*) Это был налет солдат на Ротмистровку Красовского. (Прим. 1918).

четверть пятого. Опять мы лежали и слушали. В моей комнате вставлены уже обе рамы в окнах (для безопасности?), у Ольги же их вставить еще не успели. Поэтому в ее комнате гораздо лучше слышны все звуки со двора.

Прошло не больше четверти часа, как опять я услышала ту же ходьбу и разговоры. Этого было, наконец, довольно: я вылезла из кровати и потихоньку, в темноте, стала пробираться в Ольгину комнату. Нудичка и Ольга остались в кроватях. Я прошла к окну, подняла краешек шторы и стала смотреть. Было тихо и настолько светло от луны и звезд, что можно было увидеть человека. Я ждала не больше десяти минут, когда услышала приближающийся говор и из темноты прямой дорожки от ворот показались темные силуэты. Два солдата в длинных кавалерийских шинелях шли к дому; за ними бегом поспевали еще двое, один побежал к террасе, другой близко подошел к тому окну, где я стояла. У меня сильно билось сердце и очень хотелось спустить штору, но надо было смотреть. Все четыре прошли под окнами и скрылись за углом. Сказав то, что я видела, Нудичке и Ольге, я пошла к папе. Он все эти последние дни спал в большой столовой, чтобы быть в центре всего дома. Папа зажег свечку, как только я открыла дверь. Повторив то же про солдат, я ушла и стала одеваться. Папа разбудил Андрея и пошел к казакам. Они сказали, что в Броницу пришла кавалерия. Мы обрадовались: вчера полковник Лерхе позвонил нам, что в Броницу хотят поставить эскадрон драгун (для охраны имения).

Половина третьего.

Мы с Татьяной только что закусили холодными яйцами и хлебом с маслом. Все спокойно. Все спят, только мама приходила посмотреть, что мы делаем. Время от времени мы делаем обходы: по коридору, к входной двери, в столовую. Таким образом можем слушать все, что делается кругом. "Клементий" (маленький револьвер *Clément*) лежит в кармане моих товарищеских штанов, которые надеты под юбкой. Пока все благополучно.

. . . .

Этих драгун мы ждали, как своих защитников, так что, конечно, были очень рады узнать, что они пришли. Мамулечка зажгла свет. Папа и ей сказал эту приятную новость, потом пошел говорить по телефону с конторой, где должны были быть офицеры эскадрона. Тут-то и выяснилось, что радоваться было рано: я слушала из коридора папин разговор по телефону. С каждой фразой становилось яснее, что ждать защиты от прибывшего эскадрона нельзя, что от

него скорее придется защищаться или бежать. Была скверная минута, когда папа сказал нам: ”Детки, плохо: солдаты настроены очень немирно. Надо всем одеваться”. В это время в коридор пришла мама и Татьяна. Все спокойно, как будто ничего не случилось, выслушали эти новости. Все разошлись по своим комнатам одеваться. Мы с Ольгой надели мужское платье, и поверх юбки, я положила в карман маленький *Clément*, предмет моих давнейших мечтаний, который находится у меня последнюю неделю.

Офицер сказал папе, что это эскадрон 2-го Заамурского полка, (пограничники), который был вызван в Броницу по тревоге, будто бы помещиком, чтобы охранять казенные склады от беспорядков. Солдаты страшно возбуждены и недовольны, что не нашли ни казенных складов, ни беспорядков; требуют фуража, мяса, чая, сахара, крупы и по 20 рублей с человека за беспокойство. Поднялась суматоха: Нудичка и папа пошли во флигель готовить еду. Чех-повар Neumann зарезал нашу бедную черную Динку на мясо для товарищей; мы готовили чай и сахар. Скоро пришел поручик, несчастный, затравленный, который признался Нудичке, что они живут, как на каторге. Их приблизительно 140 человек, по тревоге. Папа объяснил, что это недоразумение, что он никого не вызывал. Потом пришел комитет и забрал провизию. Поручик обещал устроить так, чтобы к двум часам уйти обратно. Пока мы обедали, пришло еще два товарища и нахально требовали хлеба. Папа сказал, что только что накормил 100 человек и давать ему больше нечего. Они убрались.

Этим закончились эмоции сегодняшнего дня. В третьем часу эскадрон ушел, а мы все легли спать и преспокойно выспались. Вечером решили дежурить ночь, чтобы, пока одни сидят, другие могли спокойно спать. Мы с Татьяной будем сидеть до половины четвертого, потом, до семи, когда совсем светло, – Ольга и Нудичка.

Четверть четвертого.

Все так же тихо. Скоро разбудим вторую смену.

4 часа.

Нудичка и Ольга пришли выспавшиеся и веселые. Мы с Татьяной идем спать.

3 ноября 1917.

Только вчерашнюю ночь спали все по своим кроватям. С часа до двух сидели мы с Нудичкой. Наш дом укрепили, как средневековую крепость: в 6 часов вечера входная дверь (даже, в сущности, две двери) запирается двумя замками и забивается еще огромным щитом из толстых (вершковых) досок, подпертых двумя толстыми дубовыми колами. Такими же "лядами" (мы хоть и ярые украинофобы, но все-таки любим употреблять украинские слова) закрываются все окна.

Вечером ярко освещенные комнаты, с забитыми окнами, имеют очень уютный и даже безопасный вид. Решено, если будут бить стекла и рубить ляды, мы стреляем. Пока никто не пробует нападать, только изредка ходят и ездят вокруг дома какие-то личности. Это пока не очень важно. Мы готовы ко всему, но с тех пор, как есть ляды, все успокоились, спят и даже, кажется, перестали думать, что что-нибудь может случиться. Лидия Дмитриевна написала вчера, что их Хилково сожгли крестьяне; не оставили камня на камне. В их уезде (Тульской губернии) уничтожили 35 имений, в соседнем тоже столько же. Все это очень тяжело.

. . . .

Сегодня газеты не пришли. Вчера был один номер "Киевлянина". Новости очень утешительные: Керенский со своими войсками (Уссурийская дивизия) пришел в Гатчину, гарнизон сдался без боя. Красное Село взяли с бою, причем было убито 500 матросов-большевиков. В Петрограде ожидают прихода Уссурийской дивизии с часа на час. В городе творится что-то неописуемое: война на улицах, между большевиками с одной стороны и юнкерами, ударниками и ударницами с другой, продолжается. Большевиков много: весь Кронштадт, весь Петроградский гарнизон и "красная гвардия". (Почему это гвардия, один Бог знает!). Если не подойдут войска с фронта, будет плохо. Я что-то не верю, что все это будет так скоро ликвидировано и что это кончится благополучно. Что-то очень тяжело на сердце, будто предчувствие чего-то плохого.

В Петрограде громят квартиры, убивают на улицах прилично одетых людей и обещают устроить Варфоломеевскую ночь для всех буржуев. В городе все время стреляют картечью. Зимний Дворец и Государственный Банк разграблены. В Москве в Кремле засели большевики, которых будто бы выгнали оттуда юнкера. Кремль был обстрелян артиллерией с Ходынки. В Киеве казачий съезд решил наводить порядок, но, кажется, Центральная Рада хочет объявить

себя на стороне большевиков. В городе тоже артиллерийский и пулеметный огонь. Везде все перевернулось и рушится.

P.S. Ленин издал декрет о переходе всей земли "трудовому народу". Может быть, скоро это отзовется и здесь. Кажется, он хочет национализировать и частные банки. Все по трафарету.

4 ноября 1917.

Ездила с Андреем в Могилев, покупать у Нарижного большой браунинг и смотреть новых лошадей. Было страшно холодно. Мы чуть не замерзли, пока доехали до города. Правда, браунинг стоит этого путешествия: это самый большой из револьверов (кал. 9 мм.) с обоймой в 11 зарядов. Его надевают на кобуру и стреляют, как из карабина. Андрей купил его на свои деньги (он стоит 500 рублей, с 50 патронами) и очень гордится своей покупкой.*

Мне еще больше понравились лошади. Я долго сидела с ними в конюшне нашего дома на Садовой и кормила их хлебом. Я очень люблю лошадей. Папа купил коня "Прима" для Андрея.

Были на почте, но газет нет. Опять ничего не будем знать.

. . . .

Пока сидели за ужином, прибежала Килина с криком, что горит стенка. Мы бросились в коридор. Оказалось, что от горячей трубы гладильной плитки начала тлеть внутри перегородка. Андрей пробил молотком дыру в перегородке и залил огонь водой. Мы носили воду. Очень быстро все прекратилось. Все отнеслись к этому событию крайне спокойно. Эта маленькая проба тревоги еще раз доказала: в случае чего гарнизон нашей крепости не растеряется.

5 ноября 1917.

Пришла одна "Киевская мысль" и, конечно, принесла плохие известия. Точного ничего, только масса слухов, противоречащих один другому. Если верить одной телеграмме, какой-то полковник Муравьев разбил под Красным войска Керенского. Это сообщает сам полковник Муравьев и Троцкий. С другой стороны, "Единство"

---

*) Нам предложили купить и пулемет, но мы отказались. (Прим. 1982 г.).

Плеханова говорит, что Керенский с войсками в количестве одного корпуса занял Царскосельский вокзал и штурмует Петропавловскую крепость. Чему верить? Наверно, ни то ни другое неверно. К Петрограду подходит из Финляндии подкрепление большевикам. Сам Петроград отрезан от всей России, так что достоверных сведений оттуда нет. Москва тоже отрезана от Киева, и оттуда тоже ничего неизвестно. Ходят слухи, что какая-то артиллерия обстреливает город, так что есть много убитых. В Киеве всем завладела Центральная Рада, что есть тоже очень плохой знак. На Дону ген. Каледин очень энергично борется с беспорядками. Войсковое правительство признало себя единственной властью и выбрало атамана Каледина чуть ли не диктатором. Казаки хотят пригласить к себе на Дон Керенского, выбрать там новое правительство и оттуда водворять порядок. Хорошо, если это было бы возможно.

К несчастью, мы уже не увидим этого. На нашем фронте немцы принялись энергично наступать. Все это время канонада слышна еще громче, чем раньше, а сегодня так стреляют, что я, сидя в моей комнате, с обеими вставленными рамами, сильно слышу глухие удары. Если это будет продолжаться, наша бегущая армия не станет ждать, чтобы кончили строить мост через Днестр, а скоро будет здесь. Тогда горе и нашей крепости, и нам всем: никто не переживет этого нашествия. Это единственное, чего мы все боимся. Ко всему остальному все относятся как-то совершенно равнодушно. Мне теперь все равно. Устал мозг и все. Теперь уже недолго ждать. Что-нибудь должно разрешиться.

6 ноября 1917.

Кошмарные известия из Москвы: уже который день идет бой между юнкерами и большевиками. Город все время обстреливается артиллерией; разрушают дома, убивают мирных жителей. По всем улицам, на всех площадях идет перестрелка. Кремль поврежден, но еще неизвестно насколько. Жертв с обеих сторон – масса. Большевики, кажется, одерживают верх. Москва горит. Никогда еще Россия не видала такого позора.

Из Петрограда все еще неизвестно ничего точного. Ходят разные темные слухи.

В Киеве всем правит полковник Павленко (украинец) и товарищ Пятаков (большевик). Одного поля ягода. Рада захватила всю власть. Петлюра объявил себя командующим всеми вооруженными силами Украины (полубатьковцев?).

О Каледине ничего не слышно. Зато ходят слухи, что Корнилов бежал из Быхова. Это что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой. Мы привыкли не верить ничему хорошему.

. . . .

В Бронице – все спокойно. Получаемые известия производят тягостное впечатление на гарнизон нашей крепости. Особенно тяжелы эти события под аккомпанемент австрийской канонады, которая усиливается с каждым днем. Правда, теперь эта канонада не пугает. Как далек тот теплый августовский вечер, когда мы, сидя на скамейке перед домом, слушали те же отдаленные раскаты артиллерии. Смеркалось. Перед нами ярко горела полоса кроваво-красного заката. Тогда казалось, что за этой яркой полосой происходит что-то ужасное. Тогда каждый удар отдавался в сердце. Теперь тут все ждут австрийцев, как избавителей. Помещики-поляки не скрывают своей радости, что враг приближается; крестьяне даже говорят, что "хоть бы уж немец шел поскорее, может быть при нем будет больше порядка". Даже наши тоже говорят, что желают прихода немцев. Говорят это, конечно, через силу, но очень уж все это опротивело.

Я еще не могу заставить себя думать так. Подумать, что здесь будут немцы, что они тут будут хозяевами! Нет, – уж лучше пускай здесь будут большевики! Они хоть только звери, а не культурные люди; они снесут все, но перед ними не будет так стыдно нашего позора! А пройти через ужас отступления нашей армии, чтобы потом видеть (в лучшем случае) учтиво-насмешливое соболезнование немцев – нет, лучше большевики!

7 ноября 1917.

Вчера казалось, что трудно получить известия хуже вчерашних, но сегодняшние оказались таковыми! Наконец стало известно, что происходит под Петроградом и почему те войска, которые шли с фронта, до сих пор не вошли в Петроград и не побили большевиков. Остановившись под Красным, Уссурийская дивизия, 1-ая Донская дивизия, добровольный отряд юнкеров и еще какие-то части после переговоров с большевиками решили: оставить поход на Петроград и выдать Керенского. Где большевики не смогли взять силой оружия, там взяли, наверно, немецкими марками или даже просто нашими фальшивыми бумажонками; Керенского арестовали и повезли в Петроград, но ему как-то удалось бежать, переодевшись матросом. Конечно, его найдут и сумеют уничтожить.

Тем временем, ген. Духонин, не теряя времени и лишних слов, объявил себя главковерхом. Он не пойдет с большевиками. Теперь нет другого способа, кроме "явочного порядка". Если Керенский был виноват в деле Корнилова, он теперь жестоко за это поплатился.

Теперь власть в Петрограде: Военно-Революционный Комитет, (т.е. Ленин, Троцкий и Ко), Городская Дума, которая состоит наполовину из левых эсеров и большевиков; потом "Викжель" – железнодорожный союз, который отказался провезти войска Керенского к Петрограду. Вся эта теплая компания теперь готовится избрать новое правительство для России. Ленин в своей речи клянется, что переворот совершился без кровопролития. "Если кровь и была пролита, то только с нашей стороны", – говорит он. А ходят слухи, что в Петрограде (который большевики почему-то упорно называют Петербургом) и его окрестностях убито за эти дни больше 15.000 человек. Это уж что-то слишком много для одних большевиков.

В Москве кончилась война на улицах, но власть осталась вся в руках большевиков. Сейчас командующий Московским округом – солдат Муралов. Остальное все в том же роде. В Кремле разрушены Успенский собор, Чудов монастырь, Никольские ворота. Дальше идти некуда. То, чем Россия гордилась веками, в один день было разрушено варварскими руками озверевших солдат. Зачем теперь культура, памятники старины? Зачем собор, где короновались все русские цари? Россия гибнет. Ее топят в грязи и крови ее же сыновья. Какое чудо воскресит дух народа? Какое чудо заставит его опомниться и спасти то, что он же и погубил? Нет, это сделает не чудо, потому что русский народ больше не достоин его, а это сделает великая нужда и горе и, может быт, тяжелый гнет иноземного рабства. Только слезами горючими да морем крови смоется весь тот огромный позор, которым покрыла себя Россия! Я, которая верила, что русский народ получит награду за свое долголетнее страдание, теперь начинаю думать: достоин ли этой награды тот народ, который рушит древние храмы, для которого нет ни Бога ни чего-либо святого? Может быть он когда-нибудь и получит эту награду, но раньше он тяжело искупит свои преступления.

. . . .

Еще в Москве разрушено несколько домов на Арбате, повреждены Городская Дума, "Метрополь" и другие здания. Мы беспокоимся о Зубовых, которые живут в Б. Николопесковском переулке. Наверно, в этих переулках около Арбата было очень плохо.

Ходят слухи, что Каледин с каким-то войском занял Харьков. К нему поехал ген. Алексеев. Может быть, они оба сделают что-нибудь для порядка? Теперь это интереснее всего: куда идет Каледин (если это не утка) и где Корнилов?

. . . .

К нам приезжал сегодня хорунжий того 38-го Донского казачьего полка, из которого у нас стоят 4 казака. (Те, что спали в нашем буфете в мрачные ночи 28-го и 29-го октября). Полк стоит в Атаках (село против Могилева в Бессарабии), но теперь почему-то подумали вернуть его на эту сторону Днестра. Уж не думают ли очищать Бессарабию и предоставить "братскому народу Украины", молдаванам, самоопределиться под австрийцев? В этом не было бы ничего изумительного.

Весь казачий полк хочет разместиться здесь. В нашем флигеле будет жить штаб полка, перед флигелем будет стоять денежный ящик и часовой. В Григоровке расквартируется одна сотня, и другая, кажется, в Бронице и Катериновке. Хорунжий ничего не сказал, грабят ли его подчиненные, "митингуют" ли, сочувствуют ли большевикам (ведь под Петроградом тоже были донские казаки), или ведут себя прилично. Это мы увидим сами. Пока мы обрадовались этому известию. Почему-то кажется, что казаки не могут быть большевиками.

Вчера приехал от Бобы Войцеховский (его деньщик). Официально будто бы за провизией, а правда – Боба просто прислал его, чтобы убедиться, что мы живы и целы. Наверно, до Секурян дошли слухи о нашем мнимом погроме. Ведь это только 30 верст от Могилева, а так как Могилев главная база контрразведки при 8-ой армии, они постоянно с ним сообщаются. А были дни, когда весь Могилев говорил, что Броница уже не существует. Секуряны, где Боба временно исполняющий должность начальника контрразведывательного пункта, это мрачное, грязное местечко, где нет ни помещения, ни провианта. Пункт так беден, что теперь только наскреб денег, чтобы заплатить жалованье за август месяц. Боба не получает своего офицерского жалованья с февраля этого года, но сейчас он имеет все из Броницы, а другие должны жить в долг и голодать. Теперь тяжело быть офицером русской армии.

8 ноября 1917.

Сегодня пришла даже "Киевская мысль", единственная из наших газет, которую еще не закрыли. Может быть и ее нашли "контрреволюционной"? Мы слушаем канонаду и живем по-прежнему.

9 ноября 1917.

Разве поможет, что большевики поссорились, что товарищи Шляпников, Рыков, Ногин и Коллонтай выразили протест против действий товарищей Ленина и Троцкого; что "Викжель", показавший себя большевистским 29 октября, сожалеет об этом 7 ноября; что "комиссар народного просвещения" тов. Луначарский протестует против вандализма в Москве и слагает с себя звание "народного комиссара", а на другой день принимает его обратно? Поможет ли, что "революционный комитет" объявляет Керенского изменником и хочет судить его? Поможет ли, что Муравьев издает "Приказ №1 по обороне Петрограда", где солдаты, матросы и красногвардейцы официально призываются к самосуду, где им предписывается "беспощадно и своими силами расправляться со всеми подозрительными элементами"?

Россия соскочила с рельс 27 февраля и остановится только тогда, когда упадет до самого низа откоса. Беда в том, что те рельсы, по которым она бежала раньше, были так ветхи, так ненадежны, что она не могла не сойти с них. Ну да что говорить о прошлом? Его не вернешь и не исправишь.

Кажется, что в Москве еще пострадали собор Василия Блаженного, колокольня Ивана Великого и все остальные здания в Кремле. Когда немцы расстреляли Реймсский собор, мы кричали, что это варварство, мы посылали свои протесты в какое-то международное бюро. Теперь мы собственными руками уничтожили Успенский собор и Кремль. Что это? Как это назвать? Разрушая Успенский собор, где короновались все русские цари, мы разрушили все то, что до сих пор короновало величие нашей родины. Вся красота старых преданий, все то, что нам завещали предки, — уважение перед культурой и искусством, любовь к родине, вера в Бога, — все это было уничтожено в один день. Нового нельзя будет создать. Надо, чтобы на культурном народе лежала печать древности, а мы ее стерли. Что мы создадим себе на ее месте?

Еще одно разочарование: казаки, на которых надеялась вся Россия, говорят, что им "не улыбается роль спасителей России". Они

не будут вмешиваться в смуту и будут сохранять нейтралитет, заботясь о порядке только в своей области. Какое им дело, что Россия гибнет? Даже с правительством Ленина они будут вступать в "деловые сношения". Каледин в Новочеркасске, по-видимому, и не думает предпринимать того крестового похода, который ему предписывали. О Корнилове ничего не слышно. На кого теперь надеяться?

В Москве новый командующий округом назначает на места полковых и ротных командиров – солдат. Тоже хорошая мера для спасения родины. Интересно знать, куда же он девает командиров? В солдаты?

12 ноября 1917.

За эти три дня случилось то, чего ждали с таким тяжелым чувством все помещики: земля объявлена собственностью "трудового народа". Последние два дня этот "трудовой народ" делит нашу землю и дерется из-за нее так, что уже сейчас "все морды друг другу на бок своротили", как выражается картинно Василий (наш машинист). Странно, что пока этим занимается только Григоровка, а Броница еще не воспользовалась позволением брать чужое добро.

Нас ограбили, нас пускают по миру, но разве сейчас это кого-нибудь интересует? 9 ноября революционная "демократия" исполнила то, о чем мечтала: нанесла ненавистным буржуям самый чувствительный удар – уничтожила их родные гнезда.

Того же 9 ноября Украина объявила себя свободной демократической республикой. Ее пошлый, напыщенный "Третий Универсал", конечно, произвел должное впечатление на украинскую демократию, потому что дал ей сразу то, чего она желала: землю, восьмичасовой рабочий день, отмену смертной казни, амнистию за все политические преступления (а "контрреволюционерам" будет амнистия?), совершенные, совершаемые и даже те, за которые еще не привлекали к ответственности. "Универсал", конечно, отменяет дворянское достоинство, титулы, ордена и пр. Тут же он прибавляет, что Украина спасет Россию. Уж не при деятельной ли помощи Австрии наш Грушевский будет спасать Россию?

У меня сердце обливается кровью, когда я думаю, каким позором покрыла себя Россия перед лицом всей Европы, всего мира, из-за политики товарища Троцкого-Бронштейна! Чтобы какой-то Бронштейн, да еще купленный Германией, говорил и действовал от

имени России! Чтобы своей гнусной, хамской политикой он втаптывал Россию в грязь, такую мерзкую, такую грязную, какой не видала еще ни одна страна! Неужели только наши бывшие союзники, наши будущие враги, не поймут, что это говорит не Россия, что это те же немцы, против которых они борятся, что Россия свалена в грязь, что рот ее забит грязным кулаком гнусных захватчиков; что она страдает от своего позора и рвется к свету и справедливости, но не может вырваться из той могилы, куда ее сбросили! Пускай Россия погибнет! Она опозорена, она жить дальше не может! Но пускай и мы умрем с нею, чтобы не видеть ее позора, не видеть презрения всего мира, не слышать презрительного смеха над ее истерзанной душой. Сейчас все настоящие русские пусть спрячутся подальше, чтобы те союзники, которые раньше уважали их родину, а теперь презирают ее, не слышали их стона. Сейчас торжествуют предатели, немецкие ставленники, сейчас весь мир отшатнулся от России с омерзением, так пусть же придет поскорее тот убийца, который закроет мои глаза, которые больше не в силах смотреть на позор моей родины!

Броница, 16 ноября 1917.
Моя комната.

Союзники, и даже немцы, никто не признает правительство Ленина. Но все-таки это не помешало китайцам занять Харбин, даже не предупредивши, что они открывают военные действия. Это не мешает Японии грозить нам войной, а Румынии входить в переговоры с Германией о сепаратном мире и требовать себе Бессарабию и побережье Черного моря. Конечно, они правы, потому что первая попытка заключить сепаратный мир была сделана с нашей стороны, т.е. первые изменники договору 1914 года – мы, а не румыны. Теперь приходится убедиться в том, что если кто-нибудь делает что-нибудь гадкое, в этом виновата Россия. Тяжело все это. Лучше не думать. Официально никто не признал правительства большевиков, но никто ничего открыто не предпринимает и не протестует. Союзники ведут переговоры только с ген. Духониным, который не признал прапорщика Крыленко за главковерха и остался в Ставке. Против него идет карательный отряд. Казаки тоже не признают Ленина и Троцкого. Против них, т.е. против Каледина, тоже идет карательный отряд во главе с матросом Дыбенко. Москвичи, в виде протеста против безобразий большевиков, хотят объявить всеобщую забастовку. Разве это поможет? В Ставке заседают какие-то личности вроде Авксентьева, Гоца, Чернова и др., которые и в более

спокойные времена не смогли создать власти. Куда уж им теперь думать спасать "страну и революцию". Чтобы спасать страну, надо головы поумнее их, а революцию? По-моему игра не стоит свечи. Но все-таки они, кажется, пришли к какому-то соглашению. Кажется, хотят посадить во главе министерства Чернова. Многим ли это лучше Ленина?

. . . .

Нашего полку прибыло: из мрачных Секурян вернулся Боба, а скоро приедет и Войцеховский. Все-таки два лишних человека для гарнизона нашей крепости. Боба подал рапорт о болезни и побудет здесь несколько дней. Сегодня он с Андреем еще лучше укрепил "ляды" особенными досками (которые посоветовала, по нынешней привычке для всего выдумывать глупые названия, назвать "бободосками", в честь их изобретателя), так что со стороны окон почти нет никакой опасности. Днем гарнизон занимается очередными делами: Боба с Андреем пилят и колят дрова, говоря, что это тренировка для их будущей профессии; мы с Ольгой учим арифметику (об этом напишу ниже). У меня довольно много мелких дел, можно быть занятой весь день.

Большей частью мне хорошо, день кажется коротким, настроение хорошее. Иногда скучно. Не скучно, а что-то давит душу. Да, это самое верное определение. Немцы почему-то не стреляют. Погода хорошая. Так можно прожить долго, и пока не видно ничего, угрожающего испортить эту жизнь. Конечно, она может быть испорчена каждый день, потому что в нашей губернии анархия все растет, но об этом никто не думает.

Лозунг "еще поживем" сейчас в полной силе.

19 ноября 1917.
Моя комната.

Сейчас вечер, и мы с Ольгой, как всегда, сидим в моей комнате; я за столом, она на диване в углу. В комнате тепло, горит яркая лампа. Ольга читает Мачтета, хотя говорит, что хочет писать "дневничок". Ей хочется, а лень. Мне это очень знакомо. Я только что прочла "На дне", а вчера начала читать "Мать", но не могла кончить, потому что не нашла вторую книгу, где конец. Впечатление странное. Будь бы это год тому назад, не знаю, как бы я это усвоила. Наверно, иначе. Теперь же мне более понятны некоторые места из книги "Мать". Я до них уже дошла, уже доросла; они мне не чужды, несмотря на "все рабочие наши братья, все богатые – наши враги". Я бы хотела видеть

только хорошие стороны учения Павла Власова и Андрея Находки. Пока я дошла до красоты этого учения, а М. Горький и другие социалисты дошли до большевизма. Это все портит. Они сами уничтожили то, что сами же создавали, или что сами воспевали.

Мы с Ольгой говорим о том, что бы мы делали, если бы могли решать сами. Два дня тому назад я прочла рассказ Л. Андреева "Иуда Искариот и другие" и до сих пор нахожусь под впечатлением его. Я люблю рассказы такого содержания; даже этот подействовал на меня сильно, на мое лучшее я, которое сидит где-то глубоко. Мне все равно, что рассказ написан не так, как я бы хотела, что мне многое в нем не нравится. Есть некоторые слова, мысли, которые затронули что-то внутри меня, и это что-то как-то особенно хорошо откликнулось и звучит. Мне хочется перестать быть такой, какой я была до сих пор. В сердце хорошее чувство, но неспокойное.

Я говорила Ольге, что хотела бы сделать что-нибудь, чтобы служить человечеству, людям. Если бы были другие времена, я может быть пошла бы в монастырь. Или не в монастырь, а в общину. Мне больше всего хотелось бы быть сестрой милосердия в какой-нибудь больнице вроде Екатерининской в Москве, где персонал исполняет только свои официальные обязанности, где так мало сердечного отношения к больным, так мало участия и теплого чувства. По временам мне кажется, что я бы могла порвать со всем тем, к чему привыкла, и отдать себя, свое сердце тем несчастным, которые нуждаются в участии.

Ольга говорила, что она бы хотела лучше жить, как живут все, и ходить, например, в такую "ночлежку", про какую я ей говорила, будучи под впечатлением "На дне". Она думает, что всюду можно найти таких людей и делать им добро, не порывая с той жизнью, которой мы живем. "Жить на своей квартире в Петрограде, иметь знакомых, пить чай с вареньем и ходить в ночлежку" – это формула, но это только фантазия. Это тоже неплохо, но я не думаю, что у меня бы хватило духу "жить на квартире и пить чай", а потом вернуться. Боюсь, я бы осталась "пить чай". Я бы хотела не мочь вернуться; я бы хотела быть бедной, чтобы не быть верблюдом, проходящим в ухо иглы.

Вечером, лежа на кровати, я читала Евангелие. "Заповедь новую даю вам: да любите друг друга". Сколько раз я читала эти великие слова. Но теперь это правда была "заповедь новая". Что-то прозрело у меня на сердце, мне показалось, что я поняла и узнала что-то новое, что-то огромное. На сердце стало сразу светло и спокойно. Я вспомнила что-то, что знала уже раньше.

23 ноября 1917.
Моя комната.

Первая отрадная весть за столько времени: Корнилов и все генералы на свободе. Случилось все это так: в Быхов приехал офицер генерального штаба и предъявил коменданту ордер от начальника следовательной комиссии об освобождении всех заключенных генералов. Бумага имела все, что требуется от всякой официальной бумаги: печать, подписи, все было налицо. Но комендант все-таки решил запросить Ставку. Случилось, что текинцы, охранявшие Корнилова с самого начала революции и последовавшие за ним в Быхов, узнали об этом ордере. Они немедля объявили, что он действителен, освободили всех генералов, "оседлали коней и ускакали в неизвестном направлении". Так рассказывает "Киевлянин", который наконец опять вышел. Вчера и сегодня мы его опять получили. Куда денется теперь Корнилов? Будь это раньше, он поехал бы к Каледину на Дон. Теперь на Каледина со всех сторон идут большевики. Ставкой овладели тоже большевики с прапорщиком Крыленко во главе. Духонин убит. Теперь нет ни Ставки, ни армии; нет ген. Духонина, который был нашим единственным официальным представителем перед лицом всего мира. Нет ничего, кроме целого моря беспроглядной, беспросветной тьмы. Духонин умер как герой: его уже раньше убеждали бежать от наступающего отряда большевиков, но он отказался оставить свой пост. Матросы зверски его избили и наконец закололи штыками, чуть ли не на глазах у его жены. Они заявили, что убийство ген. Духонина – ответ на бегство Корнилова. Ответ, достойный Троцкого и Крыленко. В общем, все эти события так тягостны, что не хочется писать больше.

26 ноября 1917.

По слухам, Корнилов и Мартов прибыли в Новочеркасск. По пути следованья Корнилова с текинцами, к отряду примкнули ударники (будто бы 7000 с 42-мя орудиями), которые подрались с большевистским бронированным поездом и разбили его, а потом взорвали железнодорожные пути. Пока текинцы и ударники шли походным порядком, привлекая на себя внимание большевиков, Корнилов (будто бы) переодетый солдатом, без документов, преспокойно доехал до Новочеркасска в вагоне 2-го класса. Мартов доехал так же, но с ним было 5 солдат. Где Деникин, Орлов, Эрдели и другие, пока неизвестно. Дай Бог, чтобы все уцелели и принесли бы пользу нашей несчастной России.

Как оказалось, их всех освободил Шабловский, не найдя, что заключенные генералы поднимали какой бы то ни было мятеж. Посылая ордер об освобождении Корнилова, сам Шабловский уехал из Петрограда. Конечно, военно-революционный комитет делает все, чтобы разыскать его. Подлый "Викжель" (почему-то это прилагательное к нему очень подходит) поклялся задержать Корнилова, но это не помешало этому последнему соединиться с Калединым (по слухам). Теперь массы строевых офицеров просятся к Каледину. Не думаю, что он откажет.

На Дону назревают крупные события. Может быть, они решат — быть или не быть России — лучше Учредительного Собрания (куда проходят только большевики и кадеты. То-то будет свалка, когда откроется первое заседание!).

Правда, что то зло, которое сделали Троцкий и Ленин, не поправят и не искупят даже Корнилов и Каледин. Если в этом последнем бою победят большевики, если казачество будет разбито, уничтожено, то тогда начнется что-то такое, по сравнению с чем теперешние переживания покажутся детской игрой. Тогда начнется тот ужасный повсеместный террор — "красный террор против всякого врага демократии", — которым пока только стращают.

Могилёв-Подольский, 22 декабря 1917.

Не писала почти месяц, а многое изменилось за этот месяц! Сейчас мы уже не представляем собой то счастливое исключение из тысячи наших собратьев-дворян, то исключение, которое заставляло меня чувствовать даже некоторое угрызение совести. Сейчас и мы, подобно многим другим, захлестнуты той волной, в которой уже тонут столько наших собратьев.

Броница уже не существует: ее разгромили, разграбили те казаки, прихода которых мы ждали, как прихода помощи против грядущих бед. То, что сами мы сидим сейчас на Садовой улице №16 — это, по-моему, милость Божья, а для желающих — очень уж счастливая случайность. Надо бы рассказать по порядку то, что произошло за эти последние недели, но не знаю, хватит ли энергии, чтобы пережить, хотя бы и мысленно, то, что было. Попробую.

Не помню которого числа в село Броницу и в Григоровку стали приходить эшелоны казачьих войск. Солдаты говорили, что части пробудут долго, что они будут здесь формироваться, что одна

сотня застряла в Атаках (Бессарабия), где ее задержали большевики. Все это нас радовало. Мы думали, что если под боком 4 или 5 сотен казаков, можно спать спокойно. Но скоро заметили, что это соседство не так уж приятно: стали ходить слухи о насильном отбирании овса в магазине* и просянки на току.

Об этом громко не говорили: все-таки это казаки и наши защитники! Скоро всем было известно, что магазин каждую ночь взламывают, увозят овес и пшеницу и наводят панику на наших служащих. Впечатление было тяжелое: в пресловутую доблесть наших защитников-казаков перестали верить. Об этом не говорили во всеуслышание, а только между собой, или на вечерних заседаниях нашей "коммуны". Казаки ночью отбивали замки, увозили набранные нами мешки с пшеницей, а остальные разрезали. Свидетели говорили, что все они пьяны, что крестьяне сами поят их самогонкой. Конечно, все ждали плохого конца.

Раз вечером, это было числа 8-го или 9-го декабря, произошел случай, после которого уже все заговорили о событиях: часов в девять казаки напали на наш магазин с целью увезти большой транспорт. Крестьяне, желая помешать им и защитить ту пшеницу, которую они себе у нас реквизировали, собрались и толпой пошли к магазину. Казаки при виде их открыли беспорядочную стрельбу: крестьяне, во главе с нашим продовольственным комитетом, были тоже навеселе, но от выстрелов разбежались, отстреливаясь тоже.

Эта неожиданная перестрелка, так близко от дома, произвела на нас впечатление очень неприятное. За последние дни слишком много говорили и думали о неприятном соседстве. Мне нездоровилось в этот день, я лежала в кровати. При первом выстреле я выскочила из постели и стала одеваться; руки дрожали, не слушались, сердце билось так, что из-за его шума я плохо слышала выстрелы. Рядом Ольга спешила переодеваться. Мы надели мужское платье под наше. В доме все были на ногах. Яркие лампы были потушены (по уставу нашей крепости), горели кое-где свечи. Около наблюдательных дыр в "лядах" дежурили члены гарнизона. С минуты на минуту ждали нападения. Скоро выяснилось, что это был только очередной набег на магазин, только более энергичный, чем раньше. Около 12 часов ночи все спокойно разошлись по своим комнатам и легли спать.

---

*) Магазином назывался у нас склад всего, что собиралось с полей. (Прим. автора).

Прошло еще несколько дней. Мы все так же ходили гулять, кормили кроликов, даже ходили на лыжах. А тем временем каждую ночь что-нибудь да крали: были в большом погребе под домом, украли много бутылок с фруктовыми соками (искали вино!); на черном дворе крали каракулевых овец; на току вырезали всю кожу со всех наших экипажей. Наконец, в ночь на 11-ое случилось то, чего мы ждали все лето.

Вечером, часов около восьми, было очередное заседание членов нашей организации в моей комнате. Наша организация (о которой я как-нибудь напишу подробнее) заседала каждый вечер вокруг моего большого стола, под яркой лампой. Бывали заседания "молчаливые", по общему соглашению. Тогда Татьяна писала свой "роман", Ольга решала алгебраические примеры, а я или решала мою арифметику, или читала Достоевского. Бывали заседания и "не молчаливые": какие только не обсуждались темы! Хорошо было!

В этот вечер, 10-го, заседание было молчаливое: Татьяна писала, я читала "Униженные и оскорбленные"; Ольга – что-то Мачтета. "А у меня сегодня такое чувство, что не будет "метушоха", – сказала Ольга. "У меня тоже. Кажется, что ничего не может быть", – сказала я. Татьяна смеялась. Прошло около часа, когда к нам вбежала Клавдия. "Татьяна Николаевна, скажите князю, у нас под окнами все кто-то ходит. И когда мы возвращались от Виссариона, в парке ходили несколько солдат". Она была очень испугана. Татьяна пошла к папе, который в это время говорил по телефону с Ляшко в конторе. Татьяна не захотела мешать и стала смотреть в наблюдательную дырку. В эту минуту оборвали телефонную проволоку. Папа стал пробовать звонить на завод, в Григоровку, в Могилев, но все четыре проволоки были оборваны. Никто не отвечал.

Сейчас за этим раздался стук в дверь. И Ольга, и я были так уверены, что сегодня ничего не будет, что даже не встали из-за стола. Я продолжала так же спокойно читать, как будто ничего не случилось. Только когда стук повторился и папа прошел по коридору, говоря Андрею и Бобе: "берите оружие", я тоже вышла в коридор. Тут уже были: мама, Боба, Андрей, Татьяна и Ольга. Папа пошел в спальню за оружием. Мы стояли и слушали. Стук был такой глухой, что казался далеким, и мы не могли разобрать – где стучат? Одни говорили, что на чердаке. Андрей принес лестницу и полез на чердак через открывающуюся стеклянную раму, служившую вентиляцией. Он заглянул на чердак, потом полез в темную дыру. Мамулечка очень волновалась. Если бы на чердаке кто-нибудь был, тогда разведка была бы безумством. Андрей слез, говоря, что там тихо. Стук

повторился сильнее. Стучали в дверь, в конце коридора. Стук был такой глухой, потому что дверь была устроена так: входная дверь, потом огромная ляда, припертая двумя колами, потом маленькое пространство величиной с квадратный аршин и еще запертая дверь. Через эту тройную баррикаду стук доносился довольно слабо. Я вернулась в комнату, достала свой *Clément* и вернулась ко всем. Странно, как я была спокойна. Только сердце билось сильно да руки дрожали. Около двери стояли уже папа, Боба и Андрей. Мама, Таня, Ольга и Нудичка прошли в задние комнаты.

"Кто тут? Зачем стучите? Что вам надо?" – слышались папины окрики. Но за тройной дверью его не слышали.

"Кто здесь? Не откроем!" – Раздался шум бьющегося стекла. Это разбили окно над первой дверью. Стало слышнее. Мы могли слышать только то, что говорилось внутри дома.

"Что вам надо? Не ломайте!!" – Папин голос все более показывал нам на серьезность положения. Мы слышали тревожные переговоры, что дверь поддается. Тут была минута смятения: мама была в спальне и одевалась потеплее, на случай необходимости выйти. Мы тоже надели сапоги и кое-что теплое. Андрей прибежал и принес массу теплых вещей: на случай если придется идти в погреб, где было очень холодно. Ольга выдумала переодеться в мужское платье и была почти раздета. Это страшно ее волновало. Татьяна помогала ей одеться. Я стояла у дверей большого дома, слушая, все ли там тихо. Туда было очень легко проникнуть из-за наружных ляд. Прислуга столпилась тут же. Параска и Килина попробовали заплакать, но Клавдия уговорила их быть похрабрее и они замолчали.

Мы все собрались в спальне; горела одна свеча на маленьком столике. Папин голос выдавал все большую тревогу: "Не ломайте!! Что вам надо? Не отворим".

Была минута, когда раздался треск и кто-то в коридоре сказал, что дверь взломана. "Отходите, отходите!" – говорил папа мальчикам и крикнул еще раз: "Не ломайте! Мы будем стрелять!"

Щелкнул курок. Потом раздался Бобин голос, предлагавший найти почву, на которой можно сойтись.

Когда у нас в спальне услышали страшную весть, что дверь взломана, никто не сказал ни слова. Татьяна и Ольга заперли на ключ две двери; осталась одна, в которую могли бы войти наши. Я стояла около маленького столика и смотрела на пламя свечки. Сейчас вижу перед собой ее свет. Когда сказали, что громилы уже вошли, я перевела мой *Clément* с "sûr" на "feu". Больше ничего. Ольга стояла рядом, держа свой дробовик. Все молчали, и, могу сказать почти наверно, страха не чувствовал никто.

Когда версия про дверь оказалась неверной, мы с Ольгой вышли в большую столовую. Теперь переговоры вел уже Боба, через окно (с лядой) в кухне: "Товарищ предводитель, у нас нет таких денег! Да подождите же, товарищи, мы дадим, что можем!"

Товарищ грабитель требовал 6000 р. и давал 5 минут на размышления, но тут же согласился взять 3000 р. и дал 10 минут, чтобы их собрать. Начали скрести. С той минуты, как заговорили о деньгах и выкупе, мне показалось, что опасность миновала. Возник вопрос, как отдать деньги? В ляде на парадной двери был еще раньше сделан прорез. Товарищей пригласили к парадной двери.

"Посторонитесь, товарищи, сейчас упадут осколки стекла". Боба ударил револьвером по стеклу.

"Товарищ предводитель, получите 1000. Нашли? Получите другую... Но вы исполните ваше честное слово? Ну, конечно, я вам верю, как честному человеку".

Я стояла в соседней комнате и, слушая последние слова, засмеялась и переглянулась с Ольгой. "Честный человек" при таких условиях – это было комично.

"Товарищ предводитель, получили 2000? Теперь подождите минуту". Наскребли еще. "Товарищ предводитель, получите 500. – Есть? – Получите еще 500, есть?"

Произошла заминка. Товарищи требовали еще, говоря, что им недодали. Боба старался их сплавить. Он напоминал про честное слово и т.д. Те все-таки ладили свое. Наскребли еще 300.

"Товарищ предводитель, получите еще 300 и помните ваше честное слово!" Наконец Бобины доводы помогли: грабители ушли, говоря: "Клянемся Богом, что мы вас больше не тронем. Раздевайтесь и ложитесь спать. Вы нас удовлетворили. Но не говорите никому о нашем приходе, а то придем и не оставим камня на камне". Попросили вина, коньяку. "Если был бы коньяк, я бы давно выпивал с вами", – сказал Боба.

Наконец они ушли. Вся эта история длилась 50 минут с чем-то. Мы все собрались в большой столовой около кресла, на которое села мамулечка. Все признали, что героем дня был Боба. Если бы он не предложил столковаться, папа бы выстрелил, а тогда Бог знает, чем бы все это кончилось.

Боба рассказывал. Это была хорошо организованная шайка, у которой был товарищ предводитель и товарищ комиссар. Начали они по известному трафарету: "Вы проклятые буржуи, довольно нашу кровь пили", и т.д. Под окнами их было человек 9, а в отдалении ходили еще несколько фигур. Все пьяные. Пока

Боба высматривал в дырку, на него были наведены винтовки. Когда говорили о деньгах, один говорил другому: "Стреляй в этого – другой будет разговорчивее". Когда Боба сказал, что 6000 в доме нет, товарищ предводитель сказал: "Товарищ комиссар, готовьтесь исполнять мои приказания и жечь флигель". Один был так пьян, что сидел на ступеньках около парадной двери и только повторял: "Жечь флигель, жечь флигель". Винтовка выпала у него из рук и скатилась со ступенек. Потом его увели под руки. Они сказали: "Вы не можете никого позвать, мы перерезали провода".

После пережитых потрясений всегда хочется, чтобы было поуютнее. С каким-то особенным чувством все собрались в этот вечер вокруг чайного стола. Старались свести разговор на нейтральную почву, но это не удавалось. Опять начинали вспоминать подробности, рассказывать впечатления. Всем не хотелось расходиться по своим комнатам: клятве товарищей-грабителей не очень-то верили. Долго обсуждали вопрос, оставаться ли всем в Бронице или кому-нибудь ехать в Могилев? Ехать не хотелось никому, но довольно было посмотреть на измученное лицо мамулечки, чтобы понять, что остаться и рисковать подвергнуть ее еще такому испытанию – немыслимо. Было решено, что останутся только папа, Боба и Надя.

Я ушла к себе около двенадцати. На ночь остались дежурить Надя и Боба. Я надела на себя мужское платье: рубашку, кальсоны, носки и верхние панталоны; слегка притушила спиртовую лампу и так легла. Ольга была так же одета. Эту ночь я буду долго помнить: полумрак в комнате, лампа на столе, неудобство лежать одетой и сильнейшая головная боль – эту картину я представляю себе, как будто это было вчера. Я никак не могла заснуть: все прислушивалась к тому, что делается на дворе и в доме; потом заснула и проснулась ночью из-за страшной головной боли. Лампа все так же уныло горела на столе; было тихо. Мне стало вдруг страшно. Воспоминание о вечернем происшествии не давало мне покоя. И насколько я была спокойна тогда, настолько теперь я чуть не дрожала от одного воспоминания.

Ночь тянулась необыкновенно долго. Это была последняя ночь, которую мы провели в Бронице.

На другой день с утра началась укладка самых необходимых вещей. К вечеру, когда все устали донельзя, подали лошадей. Тяжело было прощаться с Броницей: все знали, что мы ее бросаем на разграбление; все предчувствовали, что больше ее не увидим. Страшно было и за остающихся. Около трех часов мы выехали и добрались

до Могилева засветло.* На Садовой улице нас встретил Войцеховский, горячий самовар и ужин. Мы все страшно устали и хотели спать. В квартире, которую мы должны были занимать, было готово всего две комнаты, да и те грязные до последней возможности. В нашем флигельке тоже две комнаты на верхнем этаже. Мы поставили кровати и легли, ничего не устраивая, мама, Ольга и я в доме, Татьяна и Андрей во флигеле. Раньше чем разойтись, звонили в Броницу. Там было все спокойно и благополучно. Весь следующий день мы все приводили в порядок. Звонили в Броницу: все было благополучно.

13-го утром папа позвонил, что приедет с Бобой нас навестить. Приехали около одиннадцати часов. Оказалось, что они не вернутся в Броницу: ночью опять было нападение, хуже чем в первый раз. Опять ломились, разбили окно, выстрелили в воздух (чтобы испугать?), опять разорвали проволоки телефона, требовали вина и золота, говорили, что знают, тут живет офицер; отобрали последние 1300 р., папино обручальное кольцо и часы. Наконец, ушли, крича, чтобы им к следующей ночи приготовили 15.000 р., а то они все разнесут и сожгут. Помещиков обещали не выпустить. Это была та же пьяная шайка. Второе нападение было около часа ночи. Решено было уехать папе и Бобе утром, возможно незаметнее, без вещей, а Нудичке остаться до вечера и попробовать вывезти кое-какие вещи, при помощи стоящего на заводе строительного отряда.

Отряд дал 10 фур, своих лошадей и людей, пошли и наши 3 фуры. Весь этот поезд прибыл к нам на Садовую, когда уже было почти темно. Нудичка приехала последняя, переодетая, закутанная в платок. Она шла пешком через деревню, чтобы быть незамеченной. Она последняя покинула бедную Броницу. Она вывезла очень много, почти все лучшее. Мебель, вещи, посуду; даже две коровы пришли за фурами. Остались большие вещи, рояль *Erard*, огромные зеркала, вся библиотека, шкапы, много мебели; но все-таки за один день вывезли очень много.

На другой день, 15-го (день Ольгиного рождения, ей минуло 17 лет) еще ездили в Броницу австрийцы и Параска, а в ночь на 16-е в экономию пришла чуть ли не вся сотня и разнесла все. От Броницкого дома остались только стены.

---

*) Ехали мы – мама и я в старом фаэтоне, закутанные в платки. Все остальные – в телеге. По дороге из Могилева шла нам навстречу сотня казаков – наших защитников. Было страшно, что они нас узнают и остановят. Но они прошли мимо. (Прим. 1982г.).

Когда-нибудь я напишу подробности. Напишу, как русские солдаты, из ненависти к людям, которых даже никогда не видели, разорили родное гнездо тех, которые еще так недавно готовы были отдать все для таких же, как они, представителей русской армии. Напишу, как броницкие крестьяне, освобождаемые из-под ненавистного ига помещиков, вместо того, чтобы радоваться, уговаривали не губить экономию и даже спасали наши вещи и мелкий скот, и потом переправляли его нам.

Теперь все – все равно. Пока существовала Броница, казалось, есть хоть один уголок в России, где есть еще мир и тишина. Теперь нет и этого уголка. Все – все равно.

Могилев-Подольский, 31 декабря 1917.

Последний день 1917 года. Есть чем помянуть этот год! Вряд ли в истории хоть одной страны найдется такой же. Он страшен не революцией, не кровью – он страшен всем тем морем подлости, бесчестья, грязи, которое протекло в течение этого года по лицу несчастной России! Бывало ли когда-нибудь, чтобы народ сам, собственными руками, погубил, разрушил свою родину? Чтобы народ слепо, глупо и добровольно проклял все свое и бросился в рабство своего проклятого врага? Чтобы все хорошее называлось порочным и все подлое, грязное, преступное – святым? "Интернационал! Братство народов! Мир всему миру! Свобода, Равенство и Братство! Великие завоевания революции!" – вот лозунги 1917 года. А что мы видим на самом деле? "Интернационал" – предательство родины; "братство народов" – уничтожение всего русского и подхалимство перед немцами; "мир всему миру" – карикатурные переговоры в Бресте; "свобода, равенство и братство" – грабеж, убийство, произвол пьяного большинства, массы, над отдельными личностями; "великие завоевания великой революции" – те же насилия, произвол, события вроде тех, которые сейчас происходят в Черноморском флоте, убийства, самосуды. Да, будет чем помянуть 1917 год. Его запомнит история!

А чем его помянем мы, бедные современники, которых когда-нибудь пожалеет история? Виноваты ли эти современники во всем случившемся? Этот вопрос не дает мне покоя. Осудит ли нас история, как осудила дворян французской революции? Может быть, мы виноваты в темноте русского народа, породившей много бед, но виноваты ли мы, что он продал свою родину на поругание врагу?

Да, да, виноваты, во многом виноваты. Даже мы, наше поколение. Но неужели мы заслужили такую кару?

1917 год отнял все то, что у нас было святого; отнял все, что мы любили. Где наша родина и где наша живая, счастливая вера в ее мощь? Где наша вера в людей, наши иллюзии? У нас отняли родину, веру во все хорошее, отняли даже наше родное гнездо. Трудно после этого начать жить сначала! Еще в течение этого проклятого года были минуты искреннего увлечения, веры во что-то светлое. Даже этот год дал большую часть этих новых мыслей и увлечений. Но этот же год разбил и уничтожил эти увлечения, эти иллюзии навеки. Что может теперь их воскресить? Разве только чудо.

Когда говорят: "17-ый год довел нас до конечной точки. Дальше идти некуда", – я всегда возражаю: "Мы ли дошли до точки? Нам ли идти некуда? Подождем, что даст нам 18 год. Когда мы познаем настоящее несчастье, когда мы будем совсем придавлены им, так, что будем уметь только ползать, а не ходить (мы раньше думали летать!) – тогда мы помянем добром теперешнее время". Кто отпил хоть глоток этой чаши, тот пусть допьет ее до дна. Кто остановится посередине, тот уйдет только изломанным и озлобленным. Не дай мне Бог остановиться посередине.

. . . .

Много говорят о будто бы близком нашествии немцев, оккупации края и т.д. Одни равнодушны, другие рады, третьи боятся. Господа, не все ли равно?

Вопрос о немецкой оккупации обсуждался у нас не один раз. Первый раз говорили об этом в Петрограде, когда после "Приказа №1" все думали – немцы займут столицу (как были наивны!). Мы обсуждали, остаться ли в Петрограде (если очень трудно будет уехать) или необходимо от них бежать, как от чумы? Все говорили – бежать, кроме папы, который говорил, что жили же люди в Варшаве, что и под нашей республикой жить не сладко, и т.д. Тогда вопрос решил Боба, который больше нас всех знал подробности войны. Он сказал, что будучи в армии (он тогда еще ехал в ныне покойный Лейб-гвардии Конный полк), он пустит себе пулю в лоб, зная, что мы остались в оккупированном городе. Мы уехали. Потом май этого года. Ходили слухи, как всегда, и была слышна очень дальняя канонада. Мы сидели на пасеке. Папа говорил, что не бросит всего и останется; Татьяна готова была остаться с ним. Я боялась немцев; конечно, боялась не обстрела, не близости военных действий, а боялась увидеть близко немецкие рожи. Я говорила, что

лучше уйду пешком, чем остаться ждать немцев. Мы спорили. Немцы не пришли, и мы остались.

Потом была тарнопольская катастрофа. Многие хотели бежать, и я между ними. После долгих колебаний решено было, что останется папа, чтобы охранять Броницу, мама, чтобы быть с ним, и Татьяна, которая не хотела уехать. Боба был в армии. Уехать, бежать от немцев должны были Андрей, Ольга и я. Но немцы и тогда не пришли, и мы остались. Потом много раз говорили, что взят Каменец, что при нынешнем состоянии армии оккупация неизбежна и т.д. Была слышна канонада, уже ближе. Тогда все отнеслись холодно к этим слухам. Им не верили. Потом было такое чувство, что раньше немцев придут наши войска с фронта, что бежать почти невозможно, что до немцев с нами случится какая-нибудь беда и ... все остались спокойны.

Потом потянулись мирные переговоры, перемирие; стрелять перестали. О немцах перестали говорить, до поры до времени, благо никто, конечно, не верил в результат бутафорских переговоров. Потом мы переехали сюда. Перед самым Рождеством, в сочельник, Могилев наводнили полки 8-ой армии, идущие с фронта. Куда они шли? Конечно, этого не знал никто. Это была та отступающая армия, которой мы боялись. Ее авангарды уже успели разгромить Броницу. Трое суток шла пальба в воздух, украинская власть была прогнана, ее забрали в свои руки большевики. Правда, они ограничились тем, что сняли "жевто-блакитни прапори" (т.е. желто-голубые флаги) и посдирали погоны со всех офицеров и солдат. Говорили о каких-то патрулях, но мы их не видели. В нашем флигеле жили сутки 10 товарищей, мы их кормили, и они вели себя тихо и прилично. Кажется, сейчас вся 8-ая армия ушла из Могилева. Если это и было то пресловутое страшное нашествие, то это еще безобидно. Однако (будто бы) Каменец весь разгромлен такими же отступающими частями.

С фронта ушли и другие армии: 7-ая и 11-ая, и, наверно, другие. Я не знаю. Но сейчас фронт свободен перед немцами. Вопрос только в том, захотят ли они занять сейчас Юго-Западный Край, или позже. Здесь все говорят, что оккупация неизбежна. Вчера доктор Михалевский пустил слух, что уже занят Проскуров. Конечно, это глупости.

Как к этому относятся все наши? Все рады и не скрывают этого. Все устали; все хотят порядка и готовы получить его даже от немцев. Громко протестую только я, да иногда Ольга, но разве этим поможешь? Уйти некуда и невозможно. С одной стороны и я жду

прихода немцев с некоторым нетерпением: очень уж тоскливо жить так, как мы сейчас живем; делать нечего; только тоска и скука на сердце. Если немцы придут, может быть, они заставят нас работать или что-нибудь делать. Я бы хотела что-нибудь делать, что-нибудь работать, чтобы не думать много. У меня устали мозг и сердце; может быть, усталость рук и ног была бы более приемлемой. Конечно, ничего этого не будет. Никто не будет заставлять меня работать, и буду я всегда жить такой бесполезной личностью, как теперь. Вообще, мне почему-то кажется, что немцы совсем не придут в Могилев и все будет по-старому. Увидим. Мне – все равно.

. . . .

Я слышала, что те, которые пишут дневники, очень много о себе думают и очень интересуются своей личностью. Я думаю – это глупости.

. . . .

P.S. Сейчас 9 часов вечера. Наконец часы опять переставили на час назад. Для этого Ленин издал особый "декрет". То, что раньше делалось по простому циркуляру правительства, теперь, в демократической республике, делается по декретам. Это не относится к делу, а просто замечание.

Мы сидим в той комнате, которая служит нам с Ольгой спальней, а всем – гостиной. Мы перетащили в нее рояль и фисгармонию. За окнами, довольно далеко, раздается почти безостановочная стрельба из винтовок. Можно подумать, что немцы уже в Могилеве. Это ужасно напоминает первые дни революции в Петрограде. Только видно, что с тех пор прошло 10 месяцев. То, что тогда казалось страшно, теперь не производит никакого впечатления. Никто даже не замечает этой стрельбы, благо ее можно слушать каждый день. Два дня тому назад мы с Ольгой кормили кроликов, когда раздался выстрел ближе других и вслед затем свист пули. Будь бы это раньше, мы ушли бы домой, теперь же мы только пожалели, что это единственная. Это уже не в первый раз, что я слышу свист пули. Но очень мелодичный.



Во время экскурсии из Броницы в Григоровку.
Князь С.-В., Татьяна, Андрей, Ольга и Рекс.
Август 1915. Снимок автора

1918 год.

Могилев-Подольский, 1 января 1918.
Садовая 16.

Не забавно мы встречали Новый год. Все решили его не встречать, а разойтись по своим комнатам и кроватям, что и сделали, кр́оме Татьяны и Нудички. Мы с Ольгой были веселее, чем все эти последние дни, и, лежа в кроватях, желали им веселиться, встречая Новый год. Они устроились в столовой с двойной целью: быть около входной двери, т.к. Войцеховский и Адамек ушли в австрийскую кухню встречать Новый год и ждать двенадцати часов. Стрельба была слышна все ближе и чаще. Мы с Ольгой говорили и смеялись. Около двенадцати залпы из винтовок, чуть ли не под нашими окнами, нарушили это мирное настроение. Громкие, хлещущие выстрелы заставили нас слегка "заметушиться" (т.е. волноваться). Из разных комнат выскочили, кто мог, в странных костюмах. Папе показалось, что ломают дверь, и он очень взволновался. Мы с Ольгой, в мужском платье, тоже немного погуляли по комнатам. Минут через десять все уже смеялись над новым переполохом. Австрийцам тоже не удался их праздник: они разбежались от стрельбы. Оба французика спаслись к нам в дом, в свою комнату. Так нам все-таки пришлось встретить Новый год, даже против нашей воли.

Сегодня, конечно, тоже целый день стреляют. Утром опять слушали пение пуль. Просидели почти весь день дома.

Говорят, как встречаешь новый год, так проведешь его. Это хорошо было говорить при царе Горохе, когда вообще года мало отличались друг от друга. То, как мы встречали 1917 год, не было похоже на то, как мы его провели: 31 декабря в Петроград приехали папа и Нудичка. Нудичка привезла из Киева массу конфет, торт, а из Броницы окорока и многое другое. Вечером Владимир накрыл стол по-праздничному: серебро, красные чашки, гора угощения. Наша красивая столовая имела очень "тонный" вид. Около девяти часов мы сдвинули по углам всю мебель в "музыкальной" (она же и "сарай") и устроили дикий бал под граммофон. К двенадцати был подан холодный ужин. Все были на редкость веселы. Выпили по рюмочке наливки и, конечно, желали друг другу весь год провести счастливо. Мы с Ольгой, с бутылкой наливки, пошли в кухню, поздравлять служащих. Там были гости и шел пир горой. Их было так много, что мы смутились и поспешили скрыться, пожелав всех благ.

Тогда все было так весело и забавно. Долго еще не могли угомониться, и когда легли, то не думали, что через год мы будем почти рисковать быть расстрелянными в собственных кроватях.

. . . .

Сегодня в "Киевской мысли" написано, что Могилев-Подольский занят большевистскими войсками. Звучит странно, а на самом деле — чепуха. Пока, может быть. Когда уймется новогодняя стрельба, будет совсем тихо.

5 января 1918.

Это все хорошо рассуждать, что революция принесет пользу нынешней молодежи, что она заставит ее встряхнуться, и т.д. Это и моя теория. А все-таки хотелось бы пожить получше, поспокойнее, посчастливее. Конечно, жизнь редко кто проживет хорошо, спокойно и счастливо, так что нужно помириться с теперешним положением вещей. Во многом революция принесла пользу: она заставила некоторых углубиться в самих себя, заставила серьезно думать о тех вопросах, которые так навязчиво выдвинула. Она заставила многих одуматься и раскаяться. Она заставила многих вспомнить и даже понять, что жизнь — это тяжелый долг и испытание. Это — польза для молодежи, для будущих граждан. Это — заслуга революции.

Но, с другой стороны, революция (кроме того, что уничтожила Россию, что есть великое неискупаемое преступление по отношению к патриотизму и истории) сделала огромное количество людей озлобленными , что есть преступление неменьшее по отношению к человечеству. Какой фундамент для жизни многих таких будущих граждан? Что они с ним сделают в жизни? Наверно только вред, много вреда.

Как уравновесить эти две противоположности? – Допустим, что то хорошее, что зародилось в сердце некоторых, не умрет, хотя это почти невозможно при ныне сложившемся положении; оно не умрет и пройдя через все трудности и разочарования, только больше окрепнет. Сможет ли только чувство, хотя бы и светлое и хорошее, бороться против всего того зла, которое живет теперь (силою вещей) в сердцах других? И зачем эта борьба? Сейчас слишком трудно представить себе нормальную жизнь людей, жизнь обществом, а не всех людей врозь, что сейчас есть жизнь большинства. А если нет этого общества, нет той арены действий людей, мыслимо ли влияние добра на зло? Оно немыслимо в политике, потому что нет России; оно почти немыслимо в общечеловеческих отношениях, потому что нет общения, нет общества.

Чувство любви христианской, любви ко всем и, главное, чувство всепрощения может зародиться в сердце человека сейчас больше, чем раньше. Это чувство может зародиться под влиянием того толчка, который дала революция. Эта любовь, это всепрощение может преобразить человека, может поднять его дух на большую высоту. Что должно быть на душе того, который в ответ на всю эту ненависть, несправедливость, неблагодарность и зло, которые так обыкновенны в наше время, может сказать источнику этого зла, чувствуя, что говорит правду: "Я вам прощаю, а если я был когда-нибудь виноват перед вами, простите меня". Какая отрада и поддержка в теперешнее тяжелое время не чувствовать в своем сердце той злобы и ненависти, которой кипит все кругом. ("Вы делали зло лично мне, я вам прощаю"). Это чувство может жить в сердце только того человека, у которого все отняли, который получил столько несправедливых ударов судьбы, что не ожидает уже ничего другого. Все перенесенное и сознание своей вины и греховности заставляет его простить другим. Но таких людей немного. Сколько таких, которые в ответ на каждое новое несчастье еще больше озлобляются и только мечтают о мести. "Подождите, когда придет время, мы вам выплатим все с избытком! Будет и на нашей улице праздник!" Вот что говорят и думают многие.

Может ли то высокое чувство христианской любви и всепрощения остаться в сердцах тех, которые уже раз нашли его пребывание? Можно ли его уберечь в своем сердце, несмотря на все? Ведь в ухабах жизни так легко потерять всякое хорошее чувство. Люди такие слабые и такие несчастные своей слабостью!

А все-таки это счастье возможно! Надо только любить. Надо постараться стать на ту точку зрения, что то, что мы называем земными благами, это не так устойчиво и важно. Раньше было трудно стать на эту точку зрения, теперь стало легче. Куда делось все то, что считается высшим благом? Богатство, знатность, значение в обществе, карьера, собственность? Ничего этого больше нет. Лишенный всего этого, человек невольно останется один на один со своей совестью.

Если все это случилось, кто виноват? Если все, что я считал прочным, — рухнуло, за что же ухватиться? Ответ может быть только один: "Ты построил свой дом на песке". Если была сила сознать это, будет ли сила построить другой, на камне?

. . . .

"Равнодушие и апатия есть могила всякого чувства" — это я прочла у Достоевского. Вот эта-то "апатия" и "равнодушие" и овладели мною вполне, и уже, конечно, грозят убить всякое чувство. А еще недавно было время, когда это чувство было во мне живо и горело ярко. Я бы хотела проследить его историю, но для этого надо пойти далеко и говорить о многом. Когда-нибудь я постараюсь это сделать, но не сейчас, когда на душе мрачно. Думаю, это будет трудно.

6 января 1918.

Сегодня, по случаю праздника, творится что-то совсем несуразное: в городе такая перестрелка, будто украинские казаки наконец исполнили свою угрозу: прогнать большевиков и занять город. Были слышны и пулеметы, и ручные гранаты, и даже дальние артиллерийские разрывы, не говоря уж про ружейные и револьверные выстрелы, которые раздавались ежеминутно, одиночные и пачками. Стреляли со всех сторон. Пока я кормила зайцев, а Татьяна и Ольга ходили за мной (это обыкновенно называется, что они мне помогают), стреляли все время и в соседних усадьбах, и на рынке. Мы очень забавлялись; наконец, когда пули стали петь где-то над нами, мы предпочли скрыться за дом, благо я кончила кормить зайцев.

Целый день мы выходили и гуляли по двору, который со всех сторон закрыт каменными стенами. Целый день через Могилев шли какие-то обозы и артиллерия. Ляшко, Чайковский и Бенко (наши австрийцы) встречали их и спрашивали, куда они идут и зачем? Одни отвечали, что их прогнали румыны, другие, что они идут бить большевиков. Но с большевиками они не дрались, а пошли себе по Шаргородскому шоссе.

Наверно, вся эта идиотская пальба – это только способ проявить свое революционное праздничное настроение. Ужасно это опротивело.

И подумать, что где-то живут люди, не видя вокруг себя всей этой гадости, подлости, предательства. То, что раньше называлось военными частями, преспокойно уходит с фронта, увозя только то, что понадобится в деревне, и бросая остальное. Сейчас нет такого человека за границей, который бы не презирал даже это слово "русский"! Французы и англичане жгут ордена, полученные от русских. Шведы не платят по текущим счетам русским подданным. Есть где-то люди, которые могут гордиться своей национальностью и любить ее, а не испытывать тот стыд, стыд за свою родину, который тяготеет над нами, как проклятие. Неужели мы заслужили этот позор?

Когда пули свистят в воздухе, хочется наклониться, уйти, а иной раз все-таки скажешь себе: "Да не счастливее ли в сотню раз те, которые уже не видят всего этого, те, для которых уж ничего не значит ни позор родины, ни собственные земные несчастья. В жизни уж не может быть ничего хорошего, так не лучше ли уйти от этой жизни?"

Счастливы те люди, которые умерли за что-нибудь. Одни умерли за родину, другие за свободу, третьи за царя, за близких... А мы живем и стараемся защищаться и продлить эту жизнь, которая нам самим уже в тягость. Когда же что-нибудь выяснится? Боже, как, как все надоело!!!

Могилев, 13 января 1918.

Только что перечитывала старый дневник. Как все это давно было. Как много изменилось с тех пор. А прошло только около трех с половиной лет. Сколько из того, что тогда только предвиделось, и предвиделось с таким ужасом, – сейчас уже совершившиеся факты? Да и могла ли я тогда предвидеть хоть малую часть той правды, которую мы видим сейчас и к которой мы привыкли?

Меня больше всего огорчает эта привычка: привыкли ко всему, к наихудшему, больше ничего не огорчает, не изумляет, даже не печалит. Разве только сердит иногда. Да и то не часто. Большей частью – все все равно. Только иногда, редко, рассердишься ужасно, бешено, почти до невозможности владеть собой; но такие припадки проходят быстро и после них еще мерзее. В таких случаях "в мозгу тошнит" – мой термин, который уже все понимают. В мозгу тошнит от чтения газет, от политических разговоров, от всего того, что напоминает "нынешние события". А особенно сильно тошнит при воспоминании о первом годе войны, о когда-то такой любимой общеславянской идее, о прошедших месяцах революции, одним словом, обо всем том, что раньше было дорого или даже только очень интересовало; и принесло такие горькие разочарования. ...

Мне кажется, что пока я писала дневник, т.е. думала, невольно в голову приходили мысли невеселые, хотя полчаса тому назад я может быть была совсем счастлива. Это было предчувствие тех несчастий, которые должны были придти в будущем.

Сейчас, несмотря на все, ведь бываю же я счастлива? Если не очень думать, не очень вспоминать, ведь и теперь бывает хорошо? А может быть придет время, когда все теперешнее покажется чуть ли не раем? Я почти уверена, что это время придет, что все то, что я теперь переживаю, я буду вспоминать с такой же тоской, как теперь я вспоминаю те хорошие бывшие времена. Теперь я совсем так же страдаю от предчувствия будущего несчастья, как я страдала тогда.

А как с тех пор все ухудшилось! Например то, что я писала 23 августа 1915 г. То, что тогда казалось почти невозможным несчастьем, ведь случилось же, даже хуже, чем тогда мы могли предполагать; и теперь кажется чуть ли не естественным. Тогда было все-таки утешение (пусть мне не верят, но я говорю), что это много помогло бы нам перенести это горе, то сознание, что Броница погибла за что-то, за Россию, что ее разорили враги, может быть потому и побежденные, что наше личное несчастье не так уж много значит перед пользой всей России. А теперь? Броницу разрушили не враги – свои, русские, и не для пользы России или человечества (как это объясняется), а исключительно из ненависти к нам. Если бы мы подвернулись под руку, нас бы убили, тоже ради служения человечеству.

То, что я писала летом 1916 года, те сетования по случаю неудач на войне, отступления, сдачи крепостей и т.д., разве все это может сравниться с тем, что делается сейчас? Разве тогда самое

живое воображение могло представить себе все, что теперь происходит? Правда, что сейчас мы тоже не представляем себе всю ту бездну несчастий, которые постигнут Россию и нас?

Могилев, 15 января 1918.

Опять настроение еще мрачнее, чем всегда.

После нескольких дней перерыва сегодня опять пришли газеты. Наверно, редакторы, выпуская номер, чувствуют то же, что и я, когда пишу дневник: приходится писать все такое мрачное, такое беспроглядное!

Почему сегодняшнее известие о гнусном убийстве Шингарева и Кокошкина произвело на меня такое тяжелое впечатление? Ведь теперь убивают столько невинных людей и такими зверскими способами! Пора бы привыкнуть.

За что страдают эти люди? "Мне холодно, мне страшно". Эти предсмертные слова несчастного Шингарева, стоны, которые сейчас раздаются по всей России, больно отзываются в моем сердце. Сколько людей умирает, Боже мой, сколько людей умирает, мучительно, долго и зря! Как, должно быть, страшно умирать! "Холодно и страшно"... Мне иногда кажется, что я представляю себе этот холодный предсмертный ужас. А стоит ли жить теперь, когда кажется, что в жизни не осталось ничего хорошего? Теперь, когда кругом все так гадко?

А умирать, как Шингарев, – страшно. Умирать от руки убийц, слишком страшно!

Я иногда думаю, хорошо бы заболеть какой-нибудь неизлечимой болезнью, не слишком мучительной, например, туберкулезом легких, и так, чтобы непременно знать, что умрешь. Мне кажется, если знать, что жить не будешь, жить больше не захочется. Трудно только дойти до этой черты, которая отделяет жизнь от смерти. Эта черта, эта уверенность человека, что он жить не будет и что это не жалко. В ту минуту, когда человек увидит, что он умирает, и не испугается, а обрадуется – он дошел до этой черты. Все это так замечательно описано у Толстого. Я бы хотела быть у этой черты. А пока, или жить долгую жизнь – страшно, или умирать насильственной смертью – тоже страшно. Да и я еще не готова, чтобы умирать.

. . . .

В Таганроге большевики приговорили к смертной казни всю интеллигенцию, за то, что при выборах в Учредительное собрание в большинстве прошли кадеты и казаки. Идет резня.

. . . .

Большевики разогнали те жалкие остатки, которые все-таки назывались Учредительным собранием, и расстреляли манифестацию рабочих, устроенную в пользу его. Много жертв.

. . . .

В Подольской губернии такие погромы и такая анархия, что несмотря на все, что творится, она стала притчей во языцех. Не осталось, кажется, ни одной экономии. В нашем уезде на днях разгромили последнего помещика – Валевского.

. . . .

Разве все это нельзя назвать террором?

19 января 1918.

Хочу хоть писать, потому что скучно, делать нечего, все надоело! По прочтении нескольких номеров петроградских газет мозг перевернулся и все опротивело еще больше. Читать что-нибудь постороннее не хочется. Все надоело. А о чем писать? Все то же, все, все то же !..

Что делатъ, о чем думать, чем интересоваться? Ведь еще недавно, осенью, меня все так интересовало. Главным образом политика, все вопросы, выдвигаемые современными событиями; потом вопросы отвлеченные, религиозные, нравственные. Почему все это так чуждо теперь? Еще несколько дней тому назад казалось, что ничего не может быть лучше жизни в своем тихом углу, за своим забором, далеко от всего мира, среди животных и подальше от людей. Почему же сейчас уже все это не удовлетворяет, а хочется чего-то другого?

Как далеко то время, когда я с нетерпением ждала прихода газет, когда Демократическое совещание, съезд общественных деятелей и тому подобные вещи казались такими важными и интересными. Теперь случаются вещи куда поважнее и поинтереснее, но мне до них нет дела.

20 января 1918.

Я раньше была монархисткой. Вся наша семья была такой, и, выросши в этой традиции, я любила ее всей душой. Наша любовь и поклонение принципу монархизма вызвала довольно острые отношения между Татьяной, мной и московскими знакомыми. Те были постоянно настроены весьма либерально. Всегда интересуясь политикой, я закрывала глаза только на слишком видные недостатки последнего царствования. Осенью 1916 года, когда мы жили с Татьяной в Бронице до декабря, я с трудом заставляла себя читать газеты, уже полные тогда обличений против правительства. Все речи в Гос. Думе и Совете возбуждали, кроме горького чувства страха за Россию, непонятное раздражение и озлобление. Тут впервые встал вопрос: "Царь или Россия?" Я раньше почти не разделяла эти два существа, сливая их в один столь любимый светлый призрак патриотизма. Я любила даже не самого Николая II, не царя как человека, а монархизм как принцип. А Государя и всю его семью я любила и преклонялась пред ней, как перед олицетворением этого принципа. Я никогда не видела ни его, ни кого-либо из царской семьи, но моим живейшим и горячим желанием было увидеть его, сделать что-нибудь, чтобы услужить ему. Раза три мне случилось увидеть его на экране кинематографа. Может быть, это покажется смешно, но в тех случаях я чувствовала такой восторг, такое умиление, что с трудом удерживала слезы. Маленького Алексея я любила самой горячей, самой преданной любовью. Моей мечтой было хоть когда-нибудь, хоть мельком взглянуть на него. Я покупала себе все его портреты, исходила для этого все магазины в Москве и Петрограде. У меня и сейчас лежит в Петрограде в шкапу толстый альбом с карточками всех членов царственного дома. Не могу сказать, что императрица Александра Федоровна пользовалась у меня тем же теплым чувством, что и остальные члены семьи. Ее мы все не раз критиковали и относились к ней холодно, хотя и с должным почтением. Великих князей мы видели не раз, а с Иоанном и Гавриилом Константиновичами были даже лично знакомы и в хороших отношениях в Давосе.

Кто не помнит восторгов "deliranti" осенью 1914 года? Небывалый подъем патриотического духа, горячей любви к России и Государю. Неужели найдутся сознательные люди, которые надсмеются над этим святым чувством? Тогда была крепка вера в великое будущее родины. То была вера молодая, счастливая, немного сумасшедшая, гордо бросающая вызов возможным несчастьям. Неужели мы были тогда не правы, что любили свою родину и своего Государя?

Потом стало вкрадываться сомнение; мы стали колебаться, сомневаться в правоте своих взглядов. Но это только заставляло с еще большей силой, с силой отчаяния, хвататься за прежнюю любимую идею: назло здравому мышлению, назло общественному мнению, назло собственному рассудку! Хорошо было, в теории, развивать идею выборного начала в правительстве, мечтать сидеть на баррикадах, изумлять тогда еще маленького, но убежденного монархиста Андрея своими якобинскими речами. (Это было в Москве, в 1912 году, во время сильного увлечения "Les Misérables" Victor Hugo). Но на практике это не мешало спорить с Лопухиными, горой становясь за монархизм; не мешало презирать все газеты чуть-чуть левее "Нового времени", считать их годными только на подтопку; не мешало тогда же купить себе портрет цесаревича Алексея, оформить его в золотую рамку и повесить у себя над кроватью.

Прошло несколько лет, и пришлось стать сознательнее. Тогда уж поклонение принципу монархизма стало источником скорее огорчений, чем радостей, как раньше. Читая газеты, пришлось бояться, чтобы не найти какое-нибудь действие правительства, вредящее ему самому. Потом пошло все хуже и хуже. Эти действия становились все очевиднее, зло становилось слишком явным, чтобы было легко найти ему извинение.

Когда настала осень 1916 года, она застала меня врасплох. Когда я теперь просматриваю мой дневник того времени, то с сожалением вижу, что в нем нет почти ничего, что говорило бы о тогдашних моих думах на этот счет. Но эта черта, незаметная для постороннего, мне ясна и понятна: я, которая в течение этих последних почти 5 лет, как пишу дневник, гораздо больше описываю интересующие меня политические события, чем свою собственную жизнь, именно тогда, когда политика прямо мучила меня, не писала ни слова о политике. Было слишком тяжело признаться, даже себе самой, в той тяжелой борьбе, которая шла во мне и которая начинала клониться не в сторону Государя. Единственные строки, в которых проглядывает мое тогдашнее настроение: "После "Нов. времени" и "Киевской мысли", после Думы, Бухареста, мне хочется погрузиться в нейтральную глубину 17-го века, уйти в нее подальше... и отдохнуть от действительности..." И одурманивая свою голову "Trois Mousquetaires", я старалась забыть эту действительность.

Но ведь от действительности уйти надолго нельзя. Скоро после этого мы приехали в Петроград и сразу попали в эту действительность. Тогда весь образованный и мыслящий Петроград волновался и негодовал. По рукам ходили стенографические отчеты заседаний

Думы и Совета, а среди "высшего монда" и письмо Михаила Владимировича Родзянко к Государю. Кто мог, доставал себе билеты в Думу и Совет, увлекаясь красноречием ораторов, объявлявших "родину в опасности". Тогда эти слова были новые. Когда старик Таганцев сказал их в первый раз, в своей речи в Гос. Совете, они произвели ошеломляющее впечатление.

В нашей семье шло то же брожение, как и везде. К тому же, мы были в исключительно хороших условиях, чтобы знать все подробности. Гостивший у нас дядя Коля Зубов, член Гос. Совета, целые дни вращался в "сферах"; как близкий родственник Мих. Влад. Родзянко, он бывал у него почти каждый день, знал все и приносил самые свежие новости. Дядя и раньше слыл у нас за либерала, за "кадета" (это казалось тогда чуть ли не нигилистом).

Немудрено, что когда он приходил каждый вечер домой, это были нескончаемые рассказы, один возмутительнее другого. Дядино "это черт знает что такое!" было формулой. Сочувствовали все, кроме Андрея. Да и можно ли было не сочувствовать, когда факты, один возмутительнее другого, были налицо?

По вечерам все слушали рассказы дяди. Он, такой горячий, такой искренний патриот, желающий только блага России, — сильно страдал. Да и мы все страдали. Что же тогда чувствовали мы, монархисты? Разочарование, горе, отвращение! Скоро после нашего приезда мы с Андреем говорили в фонаре, в гостиной. Было темно, внизу, по Бассейной, почти бесшумно скользили освещенные вагоны трамвая. Мы, конечно, говорили о политике. Андрей монархист не только убежденный, но и слепой. Его таким сделало Правоведение. Я не виню его в этом: для него это тоже часто бывало источником многих огорчений. Когда при нем критиковали Александру Федоровну и говорили Андрею: "А это извинить можно?" – он говорил: "Я никого из них не осуждаю". Это было слепо — но Victor Hugo сказал бы, что это "sublime".

В этот вечер Андрей много критиковал дядю и наконец спросил меня: "Но ты ведь монархистка?" И я ответила: "Да", – искренне, но с горячим сожалением, что моя любовь к Государю сейчас уже только упрямство, а не то светлое чувство, которым я прежде гордилась. А я тогда не переставала любить Государя "quand même", но зато с облегчением сваливала все беды на Александру Федоровну.

Потом была история с княгиней Васильчиковой. Общее недовольство росло. Смены министров, назначение и поведение в Гос. Совете Щегловитова, "мерзкие" газеты, слухи про Сухомлинова, про

Распутина и, главное, видимое нежелание вести войну и победить немцев, все это вызывало необычайное брожение умов. Куда ни пойдешь, везде говорили о том же, везде слышались самые "красные", "левые" речи. И все сочувствовали.

Наконец, раздался первый гром: поздно вечером пронесся слух об убийстве Распутина. Те, которые не видели, не могут себе представить, что переживал в эти дни Петроград. Такой радости, такого веселья давно не видала столица, такая придавленная, такая сумрачная эти последние месяцы. Ликование было общее. Радовались все: одни видели в этом удар, нанесенный ненавистному правительству, другие, как мы, надеялись на возрождение монархизма, избавленного от этого злокачественного нароста. Несколько дней интересовались только этим. Так как подробности были прикрыты осторожной цензурной таинственностью, разговоры по телефону, газетные статьи велись только намеками; но это имело особенную прелесть. Разговоры про "калошу бот", "Малую Невку", "барский особняк на Гороховой и на Мойке", "блестящих представителей светской молодежи", "правых членов Гос. Думы" и т.п. велись свободно по телефону. Мы через Родзянко опять-таки узнали правду, одни из первых. Всевозможные благословения и благодарности посыпались на головы вел. князя Дмитрия Павловича, "маленького Феликса" и Пуришкевича. Тогда никто не подозревал, что выстрел в Распутина был преддверием к 27-му февраля.

Наконец, начались и беспорядки. Все чувствовали в них отголосок собственных дум, не пугались. Я помню мое настроение, когда 25 февраля мы с дядей Колей шагали пешком к Думе. Трамваи уже не ходили; извозчиков не было, праздная толпа каких-то личностей шаталась по тротуару, хотя был будничный день; прилично одетых людей было мало видно. Мне было как-то особенно весело идти, скользя по нечищенному тротуару, против сильного ветра со снегом.* Было что-то волнующее во всей обстановке, будто ожидание. Было как-то странно, интересно и весело. По улицам разъезжали патрули.

---

*) Мне хотелось тут прибавить, что это был первый раз в жизни, когда я видела настоящее северное сияние: все небо было покрыто блестящими синими и красными языками пламени, которые освещали темные улицы и создавали какое-то апокалиптическое настроение. Это был один и единственный раз в жизни, когда я видела северное сияние над всем Петроградом. Потом, конечно, казалось, что это было предчувствие той страшной катастрофы, которая произошла на следующую ночь. (Прим. 1981 г.).

В самой Думе царило оживление. Заседание, только что начавшееся, шло далеко не так апатично, как я уже видела в Думе. Сидя в ложе Председателя, мы с дядей с огромным интересом следили за ходом заседания. Дядя называл мне ораторов. Тут я увидела тех людей, которые играли такую роль несколько дней спустя. Многие лица мне были знакомы и раньше. Председательствовал Родзянко, со своим обычным тактом и умением ведя заседание. Некрасов, такой на вид симпатичный и приличный, говорил умеренную речь; Чхеидзе, на вид грязный и немытый, в гороховом пиджаке, тянул на кафедре что-то из своей тогдашней либеральной чепухи; Керенский, поражающий своей неестественной суетливостью и беготней, поминутно требующий слова, захлебывающийся собственными словами, которые он спешил сказать, пока Родзянко не призовет его к порядку; Милюков, похожий на кота, со своими белыми усами и хитрыми глазами. На своих местах, резко разделенные проходом на правую и на левую сторону, сидели тоже знакомые лица: Марков 2-ой, ярый монархист, похожий на Петра Великого, Николай Николаевич Львов, такой худой и больной на вид; еврей Гольдман и другие. Под конец заседания на трибуну в последний раз выскочил Керенский и прочел предлагаемую его фракцией формулу перехода: смещение всех министров; замена их выборными и ответственными; что-то про хлеб и рабочих, и — чуть ли не перемена образа правления и передача всей власти улице. Он так торопился, что почти ничего не было слышно. Как мало подозревала Дума: вся зала встретила эту формулу смехом! Это было последнее заседание Гос. Думы.

Вернувшись домой, я рассказала нашим, как было забавно, какой молодец дядя Миша, какие гадкие Чхеидзе и Керенский, и пожалела, что не было скандала с участием Замысловского, Пуришкевича и Гольдмана. Мы решили, что пойдем на следующее заседание, которое было назначено через два дня, на 27 февраля.

Мои тогдашние взгляды на политику: огромное отвращение, разочарование и предчувствие беды.

Наконец, настало 27 февраля 1917 года. Если у меня когда-нибудь и были либеральные мысли, они исчезли как дым. Злоба на бунтующую чернь, на предателей солдат была главной мыслью и чувством. Главной надеждой было, что с фронта придут войска усмирять Петроград. Интересно, что прежние либералы не без надежды поговаривали об отряде Георгиевских кавалеров, под предводительством ген. Гурко, будто бы идущие на Петроград. Но с каждым часом эти надежды слабели: было ясно, что город в руках бунтовщиков. 1 марта мы прочли в "Известиях" манифест об

отречении Государя за себя и за Наследника. Трудно рассказать, что мы чувствовали: самые либеральные помыслы не шли дальше конституционной монархии; это было неожиданно и страшно. Было и некоторое облегчение: запуганные вечными обысками, стрельбой, насилием над офицерами, мы почувствовали огромное облегчение, что он отказался сам, что никто ему ничего дурного не сделал. Я думаю, почти никто не пожалел Николая II, поэтому переворот совершился так легко и скоро. Пожалели подростки, как Андрей, или такие упрямые в своих убеждениях, какими были я и мне подобные.

Я была зла и мрачна до нашего отъезда в Москву. Только один раз, когда после ожесточенного спора между Татьяной, мной, Марусей Граббе, Нюрой Львовой, во время которого они рисовали радужную картину будущего счастья Российской Республики, мы вышли вместе на улицу и попали на манифестацию какого-то полка, который, с красными знаменами, с так надоевшими надписями вроде "В борьбе обретешь ты право свое", "Война до победного конца!", "Да здравствует демократическая республика!" и пр., и пр., шел к Думе. Окружая полк, по тротуарам, шла большая толпа "товарищей граждан". Из "интеллигенции" почти никого не было видно. Странное, отрадное чувство родилось тогда у меня на сердце. Все равно, что это было под звуки ненавистной Марсельезы, под ненавистными красными знаменами. Это было чувство любви к этой неприглядной толпе, желание слиться с ней, чтобы она признала меня за своего члена. Это чувство было непродолжительно: оно стало слабеть, когда я ближе рассмотрела грубые, скотские лица солдат и толпы, офицеров без оружия и пробиравшихся как-то сторонкой. Оно исчезло под влиянием неприязненных взглядов, бросаемых на нас и на двух лицеистов, храбро шагавших в своих треуголках. Я поняла, что мы этой толпе чужды и не нужны. Я тут же решила не искать сближения. Но хорошее семя было брошено. Оно осталось, а потом пустило корни.

Когда мы с Татьяной приехали в Москву, моя мрачная, злобная молчаливость кончилась; меня "прорвало". В спокойной, ничего не видавшей Москве я изумляла всех своей раздраженной несдержанностью. Со всеми, с кем я только ни говорила на эту тему, не стесняясь ни разницей лет, ничем, я горячо выражала свое мнение. Громя все, проклиная всех выдвинувшихся деятелей, предсказывая России все возможные беды, я смущала одних моих собеседников и сердила других. Слишком горячо поспорила с Женей Лопухиной,

становясь горой за заслуги дворян и за мои собственные политические взгляды, вела тоже слишком горячие споры с Лид. Дмитриевной, с Ольгой Брониславовной Ивенсен, которая защищала Керенского, на которого я бешено нападала, с приехавшими из Петрограда Марусей Граббе и Нюрой Львовой, со всеми Зубовыми, даже со старой Столяковой. Поддержку я нашла только со стороны Гаврила Бобринского, такого же монархиста, как наш Андрей, и княжны Шаховской. Зубовы много на меня сердились, хором нашли, что я "слишком авторитетна" и, наконец, оставили меня в покое. Я правда страдала в Москве.

Наступила Страстная неделя, я ходила говеть, но до говения ли было среди сутолоки зубовской квартиры, среди цыганских романсов и моего раздраженного настроения? Отдохновение и покой я находила только в большой старинной церкви Николы Явленного на Арбате, куда ходила, не пропуская ни одной службы. Там было так тихо и спокойно, особенно по вечерам, при слабом мерцании разноцветных лампадок огромной люстры; там забывалось все, даже политика. Но все-таки я с горечью и сожалением вспоминала мою любимую церковь Уделов в Петрограде, как что-то связанное с прошлым и навеки утраченное.

В Москве тогда свирепствовала вся печать, обливая грязью весь дом Романовых. Я чувствовала глубокую ненависть ко всем этим газетам и листкам, продававшимся на улицах, и за все мое пребывание в Москве, а потом в Киеве, не прочла ни одной статьи о семье бывшего Государя, так что до сих пор не знаю, что тогда писали. Вечное приговаривание москвичей, что они "верят в душу русского народа" и что "все будет хорошо" и т.д., выводили меня просто из себя.

Наконец, мы уехали с мамулечкой в Киев. Мое скверное настроение росло, и, получив в Киеве письмо от Маруси Граббе, в котором было сказано, что она "гордится, что принадлежит к великому русскому народу", и другое в том же роде, я ей ответила, кажется, немного слишком резко, нападая на столь нелюбимый мною "московский дух". Побыв в Киеве две недели, Татьяна, Андрей и я уехали в Броницу, оставив маму, папу и Ольгу, больную скарлатиной, в Киеве.

В Бронице не с кем было говорить о политике. Поэтому-то я меньше говорила и больше думала. Думала о тех вопросах, которые выдвигала революция и о которых я не имела никакого понятия.

Я даже мало читала газеты в это время, но зато стала читать последние произведения Толстого, "Самодеятельность" S. Smiles, пробовала изучать социологию по очень сухой и неинтересной книжке. Мало-помалу социализм перестал казаться тем пугалом, каким я считала его раньше. Но этот зарождающийся новый взгляд не мешал мне относиться со страшным озлоблением ко всему, что делала "русская революция". Правда, самый пристрастный человек не смог бы извинить то страшное отсутствие патриотизма, которое показали тогда все. Несмотря на прежние монархические взгляды, я не могла желать возвращения на престол Николая II: слишком тяжело быть монархисткой во время царствования недостойного монарха. Но никогда, ни разу, ни громко, ни про себя, я не упрекала его. То чувство, что это все-таки царь, и к тому же несчастный, не допускало и возможности малейшего упрека. Но если царя фактически не стало, то оставалась родина, и тогда я перенесла на нее остаток моей любви. ... Перестав быть только монархисткой, я стала только патриоткой.

В течение всего лета мои мысли, под влиянием чтения и многодуманья, мало-помалу менялись. В начале августа я читала "Братья Карамазовы". Как рассказать то впечатление, которое произвел на меня Достоевский? Казалось, какая-то завеса поднялась передо мной. Это было как будто откровение; мне показалось, что я узнала какую-то новую истину, что жизнь моя отныне переменится. Какой-то странный мир наполнил все мое существо. И через этот мир, через эту истину, я стала искать другую, чтобы приложить ее к жизни земной. И когда я нашла эту истину, она озарила мой мозг как молния. Все мое политическое мировоззрение сразу перевернулось: свобода, равенство и братство, не так, как его понимают социалисты, а так, как его понимала тогда я сама; прощенис всем оскорбляющим меня; жертва моего состояния и моей личности тем, которые нуждаются, — на этих условиях стала приемлема "русская революция".

Я проснулась от прежней апатии и озлобления, стала опять всем интересоваться и читать газеты. Тогда я нашла много отголосков моих восторженных мечтаний в горячих, талантливых речах Керенского. Потому ли, что мечты не могут жить одни и им нужна опора, но я в уме сделала его как бы исполнителем моих мечтаний. Давно уже мой ум не переживал ничего, кроме горьких разочарований. Неужели не понятно, что найдя наконец что-то хорошее, исходную точку, я бросилась на нее с таким, может быть, слишком большим жаром? Сколько радужных (может, ложных) мечтаний я позволяла себе наедине с самой собой. С тех пор многое, что раньше я бы

жестоко осудила, я извиняла, все надеясь на какое-то эфемерное будущее. Теперь я готова была видеть многие заслуги революции и даже республики. Отсюда происходят мои горячие споры со всеми домашними, моя слишком горячая защита Керенского, социализма и даже социалистов. Отсюда и происходит та общая уверенность, что я "другой партии", что я революционерка, что я поклонница Керенского. Несмотря на то, что кругом творилось, я довольно долго прожила в этом розовом тумане. Но и это не могло долго продолжаться. Одно за другим стали являться разочарования: первое, что Керенский виноват в так называемой "Корниловской истории", что он нарочно подвел под суд человека, которого не любил. Я долго этому не хотела верить. Уже прочтя в последних №№ "Нового времени" "Был ли мятеж?", я решилась на тот спор с Татьяной, когда я с жаром отстаивала программу партии эсеров и защищала Керенского. Помню тот вечер, когда я убедилась, что не права. Это может показаться смешно, но мне было тяжело. С тех пор я никого не защищала и не говорила о политике, хотя и не опровергала теорию о "другой партии".

Считая с детства за аксиому, что монархия – это единственная возможная форма правления, что царь – это законный хозяин России, которого все должны любить и слушаться, и действия которого критиковать не следует, мне понадобилось много времени и много тяжелых фактов, чтобы отвергнуть эту аксиому.

Горячо переживая потерю всего своего прежнего мировоззрения, я слишком увлеклась тем, которое, как мне казалось, заменит мне старое. Но мне пришлось так же ошибиться в новом, как и в прежнем. А было ли это новое хуже старого? Для меня – нет. ...
Но эти два-три месяца много помогли мне пережить "великую русскую революцию", помогли не смотреть слишком узко на все и, главное, помогли не озлобиться. Сейчас у меня на сердце остались ростки и старого и нового, и они уживаются; или, может быть верней, что не осталось ни старого, ни нового?

Что же осталось? За что же схватиться?

Я помню, во время самого разгара моих социалистических увлечений мне приснился сон: будто бы я иду по улице и слышу, что из открытой двери какого-то магазина несутся громкие, как бы торжествующие звуки гимна. Я испытываю какой-то бешеный восторг! Бегу туда, но просыпаюсь. Другой раз мне приснилось, будто мы все сидим в фонаре нашей петроградской гостиной и я с ненавистью смотрю на толпы народа внизу. Вдруг издали, среди

все растущего шума толпы, раздаются такие знакомые, так много говорящие сердцу звуки гимна. Вот они покрывают все, и крики толпы становятся восторженными. Мы наверху плачем от восторга. Я и сейчас помню то чувство, когда проснулась: это была такая тоска по минувшим иллюзиям, по тому, что было и чего не вернешь.

Сейчас у меня на сердце только эта тоска. Хочется когда-нибудь, как тогда во сне, услышать звуки нашего гимна. Если я когда-нибудь доживу до такой минуты, может быть я узнаю, за что схватиться и что еще осталось для нас. Дожить до реакции, до спасения России, до того, чтобы увидеть трехцветный флаг и услышать гимн... Пока мне не хочется ничего больше!

. . . .

Когда я начала писать все это, я сказала себе, что это будет моя "политическая исповедь". К несчастью, как ни длинна эта исповедь, в ней нет всего того, что я хотела сказать; я не умею сказать все. Я написала это не для того, чтобы показать кому-нибудь, даже не для того, чтобы оправдаться перед Татьяной в принадлежности к "другой партии", а для того, чтобы "высказаться" (тоже хороший термин), чтобы заглушить в сердце ту тоску, о которой писала выше. Дневник для этого и сделан. Может быть, это поможет.

22 января 1918.

После всего того, что я написала прошлый раз, писать нечего. Беру дневник просто из-за привычки последнего времени. Я была нездорова эти последние дни из-за глупого случая: помогала Андрею подкладывать под ножки рояля деревяшки для фонолы и подлезла под него; когда Андрей приподнял к себе одну ножку, другая съехала с подложенных под нее деревяшек и стекляшек и рояль всей своей тяжестью ударил меня по спине, по почкам. Ольга помогла мне выбраться из-под рояля и уложила меня на диван, потому что со мной сделалось дурно. Весь день пролежала на диване, и даже на другой день ходила с трудом: очень было больно. Все эти дни чувствовала себя плохо и была мрачная.

В городе по-прежнему все спокойно. Странный оазис наш Могилев! Везде делается Бог знает что, а у нас живут себе припеваючи. Везде голод: хлеба дают по четверть фунта на день, и какого! Войцеховский ездил в Петроград и привез кусочек на показ: это какая-то черная масса, пополам с половой! Как питаться этой гадостью, не понимаю.

У нас пока все есть. Правда, это было бы странно, если голодала бы Подольская губерния, где урожай был хороший. Хлеб еще есть не разграбленный, и может быть его хватит до будущего года, если будет новый урожай и если не придут немцы. Наши могилевские большевики ведут себя прилично. Раз только решили взять контрибуцию в 1.000.000 рублей с жителей, потому что будто бы у них нет денег, и начали ходить с обысками и грабить. Мы было испугались и начали все прятать, но тем временем большевики решили это отставить и пока никого не трогают.

А тем временем румыны занимают Бессарабию. Взят уже Кишинев и, будто бы, Бельцы. К нам не придут, им нужна только Бессарабия.

26 января 1918.

Я с некоторых пор верю в реакцию, в возрождение. Почему-то кажется, что ген. Алексеев что-нибудь сделает с той армией, которую он собирает из добровольцев. Для чего эта армия?

Ген. Алексеев в своем воззвании говорит, что собирает армию для трех разных целей: 1. защита Учредительного Собрания; 2. охрана приютивших их областей (Дон), и 3. забота об "единстве России и русского юга".

Цель, по-моему, ясна: защищать *это* Учр. собр., составленное только из большевиков, интернационалистов, левых эсеров и тому подобной публики, не входит в планы Алексеева. Может быть, он и попробовал сделать что-нибудь для настоящего Учр. собр., состоящего из правда выбранных всем народом представителей, но делать это для той карикатурной "Учредилки", которая собралась в Таврическом дворце, правда, не стоит. Большевики ее разогнали, а "мы" от этого не заплачем. Охрана Донской области – это то, чем хотят отвести глаза большевикам. Охрана "единой России" – это куда реальнее и понятнее. Сейчас большевики "демобилизуют" армию. Мир еще не заключен, соглашение не достигнуто даже между [?] и Троцким, не только между Германией и всей Россией, а "народное правительство" распускает армию; в неделю отпускают по году: напр., одну неделю 1901, другую 1902, и т.д. Кавалерию распустили чуть ли не до 1903-го, а пехоту до 1904г., конечно, не считая дезертиров. Скоро не останется никого. Сейчас через Могилев продолжает тянуться 8-ая армия. Ее гонят румыны, которые заняли почти всю Бессарабию. Поражает сравнительно малое количество людей в частях. Иногда корпус состоит из 2-х дивизий! Да, немцы могут радоваться: их цель – развал армии – удалась вовсю!

Несмотря на малое количество людей в частях, Могилев переполнен. Румыны близко, а Могилев на границе Украины и Бессарабии. К тому же, все временные деревянные мосты через Днестр недавно были срезаны ледоходом. На большом протяжении остался только могилевский мост. Следовательно, все бегущие части скопляются в Могилеве. Скопляются потому, что у нашей Юго-Западной железной дороги нет топлива. Поезда ходят только тогда, когда едущие нарубят леса, или накрадут частных заборов, или казенных шпал и деревянных частей вокзалов, и натопят паровозы, чтобы ехать дальше.

Папа сегодня был на вокзале, по делу: у нас на заводе нашли и реквизировали 4200 пудов угля. (Теперь если правительство что-нибудь покупает, то денег не платит, а дает чековое требование – бумажку, по которой никто ничего не выдает. Это к делу не относится, а просто замечание). На вокзале творится что-то неописуемое: на запасных рельсах стоят 40 паровозов, которые нечем двинуть; поезд еще только формируется, а уже вагоны так обвешаны солдатами, что его почти не видно. Крыши сплошь усижены. Будто бы каждый день все-таки уезжают из Могилева 5000 человек.

Румыны все приближаются и спокойно занимают Бессарабию; почти не стреляют, потому что все перед ними бежит, но пленных берут. Форменные военные действия с их стороны. С нашей, конечно, никаких: артиллеристы потребовали по 40 рублей в день на человека, за то, чтобы воевать против румын. Платить им нечем и некому, потому что какое дело "народным комиссарам" или Украине до Бессарабии? А румыны сейчас уже между Бельцами и Окницей, т.е. верст 40 от границы Подолии.

Я отклонилась так далеко от того, о чем начала писать; об армии Алексеева, потому что, мне кажется, это имеет связь. Большевики распускают по домам ту миллионную толпу народа, которая раньше составляла армию, тогда как Алексеев собирает армию, настоящую, с дисциплиной. Об этой армии ничего не пишут, потому я ничего о ней не знаю, кроме того, что тысячи офицеров ищут там пристанища. Неужели не найдется много людей, любящих Россию, которые пополнят собою ряды этой "армии спасения"? Теперь Алексеев сидит тихо, чтобы не обращать на себя внимания, но, может быть, скоро настанет время действовать. Когда большевики распустят то, что у них еще осталось в руках от армии, то с чем будут они воевать против Алексеева? Уж не будут ли мобилизовывать опять "свободную демократию" для крестового похода против контрреволюции? Вряд ли товарищи-граждане охотно вернутся

в строй, даже против Алексеева. Конечно, Россия велика, но не "красная" же "гвардия" будет противостоять хорошо организованной и дисциплинированной армии, имеющей ген. Алексеева за руководителя и (почему бы нет?) ген. Корнилова за начальника? Если им удастся водворить некоторый порядок, например, в Москве, потом в Петрограде, то разве не будут к ним примыкать все, ждавшие так долго спасения родины?

Конечно, сейчас Алексеев не может ничего сделать, но может быть это движение будет началом отрезвления одной части населения и пробуждением другой. Сейчас все большевики, потому что это очень выгодное звание: делай что хочешь, бери что нравится, гони, убивай всех, которые мешают. Грабь награбленное. Это очень удобно. Но если найдется кто-нибудь, кто выступит против большевиков, за этих последних не многие станут. Все-таки есть масса недовольных: "народные комиссары" обещали мир, спокойствие, хлеб и т.п. радужные перспективы, а до сих пор нет ни того, ни другого, ни третьего. ...

В Петрограде в хвостах уже поговаривают, что при "старом режиме" было лучше. А скоро настанет такое время, когда очень многие будут желать возвращения старых времен. Тогда, Бог даст, мы коронуем себе монарха. И будь я не я, если нынешняя "революционная демократия" не будет с тем же подъемом и восторгом праздновать коронацию, как праздновала 27 февраля 17 года. Только бы дожить до этого времени!

27 января 1918.

Ровно через месяц годовщина "великой русской революции". Чем-то ее отпразднуют? Может быть, кровью новых невинных жертв? Может быть, каким-нибудь сенсационным декретом Ленина? Может быть, первым опытом гильотины? Или вступлением немцев в Петроград? Или австрийцев в Киев? Месяц – это длинный срок, а разве есть теперь что-нибудь невозможное?

У нас, в дыре-Могилеве, конечно, не случится ничего особенного. Если и будут какие-нибудь большие события, большие несчастья и большие безобразия, то это будет в Петрограде, Москве и других крупных центрах. Думаю, мы будем созерцать эти события, мирно сидя в Австрии. Недаром румыны занимают Бессарабию и, по рассказам солдат, говорят по-немецки. Наверно, австрийцы не замедлят явиться сюда.

Неужели я должна буду остаться и спокойно ждать их прихода? От одной этой мысли у меня болит сердце! Я прожила 11 месяцев революции и готова прожить еще хоть столько же, только бы дожить до реакции. Я хочу жить в России, так же, как живут все люди моего круга, для того, чтобы заслужить эту реакцию. Я не хочу жить под австрийцами с их порядками, законами и шуцманами! Я хочу пройти через всю революцию и увидеть реакцию; хотя бы для этого надо было бы перенести еще многое.

Потом все казалось, что австрийцы все-таки не придут, что это будет еще нескоро, а тем временем еще что-нибудь случится. Теперь этой надежды быть не может. Это случится через несколько дней.

Сегодня один солдат сказал Бобе, говоря про движение румын: "Какой это позор для России!" Даже солдат это говорит. Боже, увидим ли мы хоть когда-нибудь конец этому позору?

30 января 1918.

Хотела писать почаще, но эти вечера читала "Социологию" Кареева, так что не удавалось. Сейчас где-то идет такая перестрелка, будто половина Могилева дерется с другой. Не знаю, что это может быть. Выстрелы винтовочные, но такие частые, будто недалеко идет бой. Слушать это не очень приятно; папа звонил по телефону, чтобы узнать, что происходит. Никто ничего не знает, но предполагается, что это по случаю заключения Крыленкой мира. Сегодня в "Вестнике 8-ой армии" была напечатана бессмысленная телеграмма Крыленко о прекращении на всех фронтах военных действий (будто бы они давно не прекратились) и о роспуске войск до 1908 года (когда они распущены до 1913-го!). Почему это известие вызвало такой "революционный восторг", совсем непонятно. Ружейные и револьверные выстрелы трещат не переставая; изредка раздается уханье артиллерии, трескотня пулеметов.

У нас в первую минуту все смутились: все-таки неприятно, если в городе идет бой. Но через несколько минут все успокоились, кроме папы, который больше всех всегда волнуется. Мы с Андреем и Ольгой мирно сидим в нашей комнате, на кожаной мягкой мебели; на круглом столе горит стоячая лампа. Мы делаем всякие предположения: румыны ли пришли, или украинцы подрались с большевиками? Конечно, не верим ни тому, ни другому: просто обычная "революционная стрельба", как было на 6-е и на Рождество, только гораздо сильнее, из-за сильного переполнения города солдатами.

Около одиннадцати часов начал идти дождь, который сильно расхолаживает "революционный пыл" товарищей. Стрельба прекратилась, и вечер прошел мирно.

Вечером уже распространились слухи о занятии румынами Атак, а австрийцами Каменца. К этим слухам отнеслись, конечно, как всегда скептически. Не стоит обращать серьезного внимания на сенсационные слухи. Правда, теперь нет больше сенсаций: привыкли ко всему. В самом ближайшем будущем все узнаем.

Почта все еще не приходит. Конечно, в Киеве творится что-то очень нехорошее. Да и поезда не ходят дальше Фастова, где разобран путь.

31 января 1918.

Сегодня "пантофельная почта" пустила еще более сенсационную утку: будто румыны (или австрийцы, это еще точно неизвестно) заняли Ямполь (30 верст от Броницы, значит верст 38 от Могилева). Скоро узнаем, правда ли это. Вчера я говорила Татьяне и Ольге, что для нас революция скоро кончится: нас заберут австрийцы, и тогда мы будем мирно жить, как за границей. Они обе очень этого желают. А мне не хочется уходить от России и даже от революции.

Сегодня папе рассказывали самые свежие новости из Киева: большевики заняли город с боем и разогнали Раду; много домов на Крещатике, Владимирской и Фандуклеевской попорчены артиллерийским огнем; все "секретари", наши Грушевский, Винниченко и Ко, удрали в Австрию. Когда послушаешь все это, кажется, что мы живем в каком-то оазисе. Надолго ли?

4 февраля 1918.

Большевики клянутся, что "румынская авантюра" будет на днях ликвидирована. Это легко сказать, но нам поверить – трудно. Румыны продолжают подвигаться, а революционная армия все так же тянется через Могилев, в тыл. Бесконечные обозы, артиллерийские парки, санитарные отряды и другие части армии наводнили весь город; везде постои, везде солдаты и лошади. Конечно, при таком небывалом скоплении людей слухи самые разнообразные циркулируют среди населения: одни говорят, что румыны около Покровки (староверческий поселок в 12 верстах от Могилева), другие, что они

еще не заняли Окницу (30 верст по железной дороге), третьи – что они уже в Атаках (село напротив Могилева на той стороне Днестра).

Сегодня утром появились первые беженцы из Покровки, но и они не могут сказать ничего наверно: некоторые рассказывают, что румыны в 7 верстах от поселка и что они бежали от них, другие говорят, что румыны сажают по имениям разграбленных помещиков и вешают грабителей-крестьян, а так как главные грабители – солдаты – бежали, то крестьянам придется расплачиваться. Поэтому, боясь румын, они бежали. Третьи говорят, что их прогнали коренные жители Бессарабии, молдаване, которые, чуя за собой силу, гонят всех русских. Наверно, последняя версия самая правильная.

А тем временем румыны продвигаются к Одессе. Говорят, что они уже заключили союз с Австрией и что обозы и артиллерия у них австрийские. Это более чем вероятно: румыны одни, без поддержки Австрии и Болгарии, не могли решиться на такую операцию, как бы слабы и беспомощны мы ни были. Тут ходят слухи, будто бы в Могилев пришел какой-то полк, для того, чтобы идти против румын. Можно ли этому верить, не знаю.

Все это время мы жили, как в лесу: почта не приходит уже больше двух недель; только два дня тому назад из Киева приехал сюда брат нашего соседа по имению – Красовского из Ротмистровки – и привез номер древних "Последних новостей" от 30-го. Из этого номера мы узнали о кошмарном разгроме Киева большевиками: город обстреливался артиллерией в течение 4-х дней; нет ни одного уголка, где бы не рвались снаряды; жертв масса; убит митрополит Владимир; Рада, конечно, разбежалась и осталась невредима; точно неизвестно, какие произведены опустошения, но кажется – повреждены все соборы и особенно Михайловский монастырь. Было еще хуже, чем в Москве в начале ноября.

Когда я теперь вспоминаю, что было осенью 1915 года, когда Киев эвакуировали из страха австрийского наступления, больно на сердце. Не немцы, не враги разрушили святой Киев, надругались над его святынями, убили столько невинных людей, а свои, русские! Немцы бы этого не сделали. Да, тот удар, о котором я писала еще два года тому назад, и не один, а многие, каждый день наносится России. Теперь уже ни во что нельзя верить, ни на что нельзя надеяться, разве только на то, что от отчаяния приходят в голову такие картины, какие я вчера нарисовала нескольким слушателям, очаровав и их и себя. Но так же воображение узника рисует ему заманчивые картины несбыточного счастья среди прекрасной природы, голодному – лукулловские обеды, и приговоренному к смертной

казни – мирное счастье домашнего очага. Все это мечты и только мечты, которые разлетаются как дым от малейшего прикосновения мрачной действительности. Теперь ничто хорошее невозможно. Злой рок тяготеет над Россией.

В Киеве живет папина родная сестра, Мария Николаевна Черницкая. Что сталось с бедной тетей Маней, жива ли она, это мы еще долго не узнаем. Еще там живут все Нудичкины родственники и несколько наших хороших знакомых.

Я боюсь, не случилось ли что-нибудь дурного с Шульгиным. Если бы меня кто-нибудь спросил: кто был человек, которому я больше всего симпатизирую, я бы сказала: Василию Витальевичу Шульгину. Это единственный человек, который за это время решался громко протестовать и осуждать то, что творится: чуть ли не каждый день в его "Киевлянине" появлялись статьи, подписанные полным его именем, содержащие самые горькие истины. Живя в столице Украины, он не боялся выводить на чистую воду проделки Грушевского и др.; доказывая, что Украина – австрийское детище, он не боялся печатать секретные телеграммы Грушевского к австрийскому правительству; живя среди всего ужаса анархии, он не боялся громко говорить и печатать, что он – монархист. Он сказал это в первый раз еще на Московском совещании и с тех пор много раз повторял это. И он действовал не только словами: еще летом он создал свой "Внепартийный блок русских избирателей", который прошел первым на выборах в Украинское Учредительное собрание. Этот "блок" ставил своей главной целью стремление к восстановлению порядка в России, "единой великой России!" Он усиленно боролся с "украинизацией" Малороссии, стараясь объединить всех "русских" избирателей для борьбы с австрийскими ставленниками. Цель "блока" была и восстановление монархии (конституционной). В начале существования "блока", при выборах в городскую Думу, он остался в самом хвосте; при выборах во Всероссийское Учр. собр. он был уже на третьем месте (по Киеву); на выборах же в Украинское Учр. собр. он прошел первым с 25 с чем-то тысячами голосов против следующего, украинского, получившего только 18 тысяч. Если бы Украинское Учр. собр. состоялось, это было бы курьезно: большинство голосов принадлежало бы партии, требующей уничтожения Украины как страны самостоятельной, тесного ее слияния с Россией, как одного неразрывного целого, и, вместо "федеративной демократической республики" – конституционную монархию как образ правления. Это не только взбесило бы петроградских комиссаров, но и озадачило бы их: если монархический список

собрал большинство голосов, это значит, что недовольство и "поправение" массы все растет.

Вот поэтому-то большевики постараются сделать все возможное, чтобы уничтожить Шульгина. Его "Киевлянин", конечно, закрыт и разгромлен, но это случалось уже несколько раз за это время. Был бы жив только сам Шульгин, а он уже сумеет так или иначе что-нибудь сделать для России.

Сегодня как-то пришла дрянная газетка "Последние новости" от 2-го (теперь предполагается, что введен новый стиль, поэтому пишут "15 /2/ февраля"). Войцеховский купил номер за 80 копеек. В нем сказано, что полковник Муравьев, "Муравьев Петроградский", идет на Одессу, сражаться с румынами. Одесский ИСКОСОЛ выпустил курьезное воззвание, призывающее граждан к борьбе с румынами. В нем сказано, что "буржуи, помещики и капиталисты" пригласили румын занять Бессарабию и "все другие области, которые они смогут занять", для того, чтобы водворить их, помещиков и капиталистов, по прежним местам и отомстить "революционной демократии". Поэтому румыны вешают и расстреливают мирных жителей и помогают кровопийцам-помещикам. Поэтому ИСКОСОЛ, восхваляя "главковерха Крыленко" за то, что он уничтожил армию, "это учреждение старого режима", призывает "всех сильных телом и духом граждан" записываться в добровольную "революционную народно-социалистическую гвардию", для того, чтобы – вы думали, защитить Россию от вторжения врага? Нет, – для того, чтобы "спасти революцию и ее завоевания". Для этого стоит только уничтожить контрреволюционеров, помещиков и иных буржуев, а тогда все пойдет как по маслу. Добровольцам "революционно-социалистической гвардии" полагается 80 или 100 рублей жалованья в месяц, конечно, довольствие и одежда, а семьям их паек, одежда и обувь по минимальным ценам. Все это может привлечь немало желающих.

5 (18) февраля 1918.

Я не знаю, что принесет нам лично румынское наступление. Если товарищи будут стараться воевать с румынами, изображать оборону и возвращение Бессарабии, то Могилеву, по его стратегическому положению на берегу Днестра, с его мостом через Днестр, может прийтись солоно. Город будет обстрелян и, конечно, взят румынами или австрийцами, потому что нельзя же думать, что революционная армия будет вести военные действия по-настоящему. Если они и вздумают симулировать защиту края, то это, конечно,

не помешает неприятелю занять его. Да и симулировать будет некому, армия все так же безнадежно стремится в тыл.

Я знаю, что это глупо, что это ни к чему, но все-таки я немного надеюсь, что кто-нибудь все-таки будет хоть пробовать защищать Бессарабию. Хотя бы Муравьев, хотя бы Троцкий! Отдать целую область, а может быть целый край, без выстрела – это что-то слишком неслыханное. Конечно, никто не будет воевать; та армия, которая, бросая все, спокойно ушла по домам, предоставив неприятелю идти куда ему угодно, эта армия не вернется, чтобы защищать Бессарабию. Движение румын – это только начало оккупации, которая грозит еще многим областям. Хуже всего то, что никто не желает даже противиться этому движению: все даже очень рады близкому приходу немцев, которые, по мнению большинства, должны принести тишину и спокойствие. Среди горожан уже кто-то распустил слух, что когда придут румыны, хлеб и керосин сразу упадут в цене, и горожане с нетерпением ждут румын.

Я не верю ни минуты тому, что говорят многие: что румыны займут Бессарабию, как свою прежнюю провинцию, и на этом успокоятся. Тут главную роль играют не румыны, а австрийцы. Эти последние три месяца продолжалось перемирие между "советскими войсками" (так как они не заслуживают названия русской армии) и германской армией. С румынами мы перемирия не заключали (по той простой причине, что были с ними в союзе), а потому никто не мог возражать против того, что они продолжали военные действия. Что эти действия вдруг повелись против нас, а не против Австрии, как до сих пор было, это наши правители сочли маленьким недоразумением, таким маленьким, что не стоило на него обращать внимания. Пока предполагалось перемирие, австрийцы времени не теряли: заключили союз с Румынией и под видом их армии перешли в наступление в Бессарабии. Наши грабители или правда не поняли, или сделали вид, что не поняли, с кем имеют дело, и поспешили объявить, что во всем виноваты буржуи-помещики и капиталисты. Ведь они не могут придумать ничего другого.

Еще вчера, в номере "Последних новостей" от 2 февраля, мы прочли, что Брестские мирные переговоры окончательно потерпели фиаско: немцы не только отвергли формулу "без аннексий и контрибуций на принципе самоопределения народов", но потребовали с тов. Троцкого, или, вернее, с побежденной России, 8 миллиардов рублей контрибуции золотом. Какие же будут аннексии, пока неизвестно, но наверно они будут соответствовать контрибуции. Троцкий очень обиделся и решил порвать переговоры. Надо быть

очень легкомысленным, чтобы поверить всей этой комедии: все мы давно знаем, что все это было подстроено немцами, чтобы оттянуть время и подождать, пока у нас и армия, и флот, и вся страна так развалятся, что их можно будет взять голыми руками. Завтра в 12 часов истекает срок перемирия, и немцам надо было кончить комедию в Бресте. По программе, германские представители объявили свои условия, а Троцкий, по той же программе, с великолепным негодованием отверг их. Немцы выполнили все, что им было нужно, и завтра откроют военные действия против пустого нашего фронта, т.е. перейдут в наступление и оккупируют столько территории, сколько им понадобится. Тогда, захватив почти всю материальную часть нашей армии и несколько лишних губерний, они поставят какие им будет угодно условия. А наша демократия, кажется, и не думает о том, как предает свою родину. Сегодня какой-то солдат сказал Бобе, да еще с негодованием, что "Германия объявила России войну". Их послушаешь, можно подумать, мир был заключен, все шло прекрасно, и вдруг Германия опять объявила войну. Конечно, это известие не остановит товарищей сесть на подводу и ехать в Вапнярку или Жмеринку, а потом куда глаза глядят. Война так война, а он поедет подальше. Так рассуждают все.

Я уже несколько раз писала, что я думаю об оккупации. Если бы это от меня зависело, меня бы уже давно здесь не было. Конечно, я не боюсь военных действий, которых, по всей вероятности, не будет, но я боюсь быть отрезанной от России, боюсь попасть под немцев, победителей немцев, которые будут видеть наш позор. Даже не боюсь, а это какое-то чувство, смешанное из ненависти, отвращения и стыда. Я их ненавижу, мне они противны и мне перед ними стыдно! И все-таки придется их здесь увидеть и чтобы они увидели меня! Если против Могилева будут какие-нибудь операции, даже если его будут хоть немного обстреливать, кажется – будет немножко легче. Все равно их теперь ничего не удержит.

7 (20) февраля 1918.

Вчера, день конца перемирия, не было заметно ничего особенного. Вечером мне показалось, что слегка постреливают, но я это приписала скорее своему возбужденному воображению, чем австрийцам. Но сегодня сомнения быть больше не может: утром была слышна канонада, тяжелые, дальние удары глухо раздавались со стороны Бессарабии. Судя по звуку, стреляют гораздо ближе, чем

когда мы слушали стрельбу из Броницы, три месяца тому назад, только Могилев расположен в долине, поэтому слышно хуже. В Бронице было бы гораздо громче слышно.

Какой-нибудь умный психолог мог бы делать интересные наблюдения над умами обывателей за эти последние 12 месяцев. Как могло случиться, что люди, еще недавно ненавидящие немцев как врагов своей родины, считавшие даже возможность спокойно дожидаться их прихода и оккупации родного края неслыханным абсурдом, теперь, по истечении этих 12-ти месяцев, радуются этому приходу, этой оккупации и почти уже не считают этих самых немцев своими врагами? Ведь так думает теперь большинство.

Я понимаю, как это произошло, потому что за эти 12 месяцев у меня на глазах произошла эта метаморфоза. Я сама еще не дошла до той точки, чтобы радоваться приходу немцев, но и я жду этого прихода куда равнодушнее, чем ждала бы год тому назад.

Сейчас вечер и я только что вернулась из сада. Сегодня целый день мы слушали все приближающуюся канонаду. Утром и днем стрелял только один взвод (два орудия) и редко. Вечером же выстрелы раздавались не больше как с несколькими секундами промежутка, и стреляла, по-видимому, вся батарея (4 орудия). Мы с Ольгой ходили по прямой дорожке, ”nous faisions les cent pas”, по нашему обыкновению. Говорили, конечно, на злобы дня, о наступлении, о близком конце и занятии Могилева, и т.д. По местным слухам, Каменец уже подвергся жестокой ”аэропланизации” и обстрелу, а потом его дальнейшая судьба неизвестна. Занят ли он или нет, здесь еще не знают. Боба говорит, что в Могилев могут с часа на час прилететь аэропланы; австрийцев тут может интересовать мост и вокзал. Мы с Ольгой говорили о том, как хорошо бы было уехать в Россию и ждать там реакции, и как мерзко будет, если австрийцы водворят нас в Броницу и заставят поставлять хлеб в свою армию. Этому невеселому разговору вторили глухие удары канонады.

Пришел Андрей от Шаргородского моста (пункт, через который проходят почти все отступающие части; Боба и Андрей бывают там постоянно и приносят разные новости) и рассказал, что два орудия поехали против румын, часть зарядных ящиков поехала тоже, но другие зарядные ящики отказались ехать. Зачем поехали товарищи с двумя орудиями? Разобрала ли их наконец совесть, или кто-нибудь пообещал им что-нибудь за это? Конечно, пользы принести они не могут: без офицеров, без снарядов, без порядка, без приказа

и плана – разве может быть и речь о сопротивлении сильному и организованному врагу, даже если и была правда охота что-нибудь сделать? Все это ни к чему. Потоками крови, и то не смыть того позора, которым запятнали имя России. А сейчас еще никто не хочет пролить для этого хоть одну каплю крови. Русские сами заслужили свой позор: пока австрийцы и немцы перешли в наступление по всему фронту и заняли Двинск, Луцк и Ровно (как сказано в радиотелеграмме, полученной сегодня в штабе армии), наши товарищи преспокойно валяются на своих двуколках, грызут семечки, бранятся площадной руганью да стреляют по воронам. Или, например, идет по Могилеву полк, да, целый полк, состоящий в данную минуту из двадцати с чем-то человек; идет с оркестром, фальшиво играющим исковерканную Марсельезу, и несет знамя, или, скорее, грязную тряпку, с надписью "Мир". Какое им дело, что враг наступает? По их мнению, мир заключен, и они со спокойным сердцем, с музыкой, будто это они победили, идут на вокзал.

Сегодня через Броницу прошла батарея, бывший при ней каким-то чудом офицер уговаривал солдат поставить батарею (тяжелую) на позицию, около завода. Но солдаты, настроенные крайне большевистски, конечно, не пожелали, а предпочли проследовать по пути в тыл. Они несли разные пошлые плакаты: "Мир хижинам, война дворцам" и др. в том же роде. И как вбить в голову всем этим мерзавцам, что они продают Россию? Их тупые башки, кажется, не в состоянии этого понять. Да и какое им дело до России!

А какой мир они дали жителям: сегодня Сиваченко рассказал нам несколько примеров: в деревнях вокруг Броницы участились случаи грабежей и убийств, в Садковцах был самосуд; еще где-то солдаты подстрелили какую-то женщину шальной пулей, в хате. Войну с дворцами они покончили, разграбив их все, но мира хижинам не дали. Какой-то еще мир дадут нам немцы?

. . . .

Боба говорит, что это стреляют с нашей стороны, а не румыны или австрийцы. Это слышно по звуку: если стреляют с той стороны, слышен только звук выстрела.

11 (24) февраля 1918.

За эти дни много важного: дело быстро идет к развязке. Могилев будет наверно занят на днях. Все уходят. Вчера и сегодня ушли штабы 16-го и 23-го корпусов; штаб 8-ой армии, еще вчера говоривший, что уйдет через неделю, сегодня не стал дожидаться и ушел тоже. Поезда вот уже три дня не ходят дальше Могилева (в Бессарабию) и формируются здесь. Беспорядочная масса отступающей армии значительно схлынула; движение гораздо меньше; из города бегут все, кто может, уехали и жившие у нас чиновники.

Трудно себе представить, будут ли тут какие-нибудь военные действия. "Главковерх Крыленко" объявил новую "народную мобилизацию" с целью вернуть ушедшие с фронта войска. Разве это не карикатура? Например: приехали в Жмеринку или Винницу товарищи с фронта, а им говорят: "Не угодно ли вам, товарищи, возвратиться обратно?" Конечно, не вернется ни один. И с такой армией Муравьев будет отвоевывать Бессарабию и защищать Россию?

Пока, раньше чем подумать, с какой армией он будет воевать, Муравьев посылает из Одессы ультиматум румынам: в 48 часов очистить Бессарабию, иначе он, Муравьев, сделает это силой. И пускай румыны не беспокоятся о целости имущества их соотечественников: об этом позаботится русская демократия. Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно и гадко.

Теперь можно вспомнить слова, кажется, того же Троцкого, или Зиновьева, сказанные еще до ноябрьского переворота: он обвинял Врем. правительство в том, что оно не довольно энергично старается заключить мир, и говорил, что большевики это сделают лучше; при этом он прибавил, что, если Германия отвергнет их "братски протянутую руку", они будут продолжать войну так, что изумят своей храбростью весь мир; они весь хлеб пошлют в армию, "предоставив буржуям глодать одни корки", они "снимут с буржуев последние сапоги" и тоже пошлют в армию. Правда, товарищи Зиновьев и Троцкий забыли одну неважную вещь: что к тому времени не будет армии, которая должна будет получить хлеб и сапоги буржуев и за это победить немцев. Но это их тогда не очень интересовало.

Теперь пришло время показать, как демократия победит немцев, отвергших их братски протянутую руку...

В Могилеве ходят слухи, что знаменитый Муравьев* тут был и уехал. Хорошо еще, что он не задумал тут устроить свою штаб-

---

*) Позже его стали называть "Муравьев-Кровавый". (Прим. 1982 г.).

квартиру. Несмотря на бодрящую близость "командующего Юго-Западным фронтом", настроение в Могилеве не воинственное: казначейству и почте приказано быть готовыми уезжать каждую минуту в Умань. Вообще, уезжает кто может. Какие-то досужие товарищи поставили на горе, над Немией, батарею, которая стреляет поверх города, и время от времени стреляют куда глаза глядят. Конечно, у них нет наблюдателей, так что снаряды летят куда-то в Бессарабию. Может быть, они попадают в поле, а может быть в какое-нибудь населенное место. До этого никому нет дела. Эти единственные защитники Могилева, наверно, не очень долго здесь простоят, а убегут, как и все, при первом слухе о приближении неприятеля.

Где сейчас австрийцы и румыны? Этого никто в точности не знает. Одни говорят, что Окница занята, другие, что там был только разъезд и теперь ушел; говорят, что сейчас австрийцы в 60 верстах от Могилева. Есть такие, которые утверждают, что австрийцы идут прямо на Острог-Винницу, с целью отрезать Жмеринку, а потом на Киев-Одессу. Говорят даже, что, будто бы, уже занят Житомир. Это последнее, конечно, вздор, пока. Но это правдоподобно, что австрийцы отрежут прямо Жмеринку; тогда мы останемся здесь во власти товарищей, а это будет несладко. В одной из мерзких одесских газет было сказано, что Могилев и Ямполь уже заняты; это возможно, потому что до Киева самая короткая прямая – это Могилев-Жмеринка. Также здесь говорят, что занят Хотин, Каменец, Проскуров и Окница. В общем никто ничего не знает и все врут, кто во что горазд. Всем известно, что чем ближе к военным действиям, тем меньше известно, что делается кругом.

А пока в Могилеве тишина и спокойствие. Ему как-то особенно везет. Ведь такие отступающие части грабили и громили Каменец, Бендеры, Тульчин и Брацлавов; они же стерли с лица земли Килию. А эти же самые части ведут себя смирно в Могилеве. Может быть, только до поры до времени? У нас здесь путный городской голова. Он хоть и большевик, но все-таки заботится о безопасности города: например, он собрал денег, заставив 100 человек самых крупных собственников города (несмотря на то, что большевики отменили всякую собственность) заплатить по 2000 рублей каждый; на эти деньги городское продовольственное управление купило муки и кормит ею товарищей. Они хоть не голодные и не так расположены грабить. Еще хорошо то, что казенный винный склад вывезли еще осенью. Его соседство (он на той же улице, что и мы) было бы неприятно. Папа заплатил еще 2000 рублей, в прибавку к тем

многим, которые вылетели в трубу с начала войны. Потому что с начала войны все эти годы занятия сельским хозяйством приносили почти только убыток. Папа не оставлял его из принципа, говоря, что он считает своим долгом работать для армии, поставляя ей хлеб. Папа остался на своем посту до последней возможности: он собрал весь урожай лета 1917 года, несмотря на колоссальные затраты, и сдал его для нужд армии. Что этот хлеб разграбили солдаты и крестьяне, это принесло еще больше потерь. Я не знаю, почему начала говорить об этом; просто к слову пришлось.

Деньги и сейчас идут и идут, потому что, разорив нас, нас все-таки продолжают считать капиталистами. А скоро наступит такой момент, что будем нуждаться.

13(26) февраля 1918.

Я не знала, что так скоро напишу эти слова: "Мир заключен", слова, которые, словно отрезав, кончают все прошлое и начинают что-то неизвестное, что-то новое и для нас такое страшное. С сегодняшнего дня все переменилось: если раньше могла быть хоть тень надежды на что-то лучшее, на какое-нибудь протрезвление, – хоть самая маленькая, жалкая тень надежды, – то теперь она рухнула навсегда! Несмотря на все, в самой глубине сердца у меня всегда жила надежда, что что-то случится, что все то, что мы пережили, не пройдет даром, что настанет же хоть когда-нибудь лучшее время! И все эти мечты свелись к одному, что проснется и возродится Россия! Теперь ни на что нельзя надеяться. Подписав этот мирный договор, над бедной Россией прочли отходную молитву. Она уж больше не воскреснет.

Думали ли мы эти годы, от 1914-го до 1917-го, что эта война, "великая война", как мы ее называли, кончится таким позором? Мы никогда не верили, что она кончится иначе, как нашим торжеством и победой. Столько жертв было принесено, столько крови пролито, столько уже побед одержано! И для чего?

Немцы, наверно, не ожидали такой блестящей победы. Они достигли всего, о чем могли только мечтать в начале войны: полный разгром России как великой державы, все возможные торговые договоры, контрибуции, аннексия целых областей, отделение Украины... Я не знаю точно подробностей условий, на которых заключен мир; это еще не было объявлено официально. Папа прочел сегодня текст подробной радиотелеграммы, которая содержится пока в

большой тайне. Наверно завтра ее объявят. Украина совсем отделяется от России и будет оккупирована австрийцами; из нее выводятся все войска и "красная гвардия"; помещики возвращаются по своим имениям, чтобы доставлять хлеб в Австрию, и т.д.

Папа рад, и многие рады, а у меня такое чувство, будто мне дали пощечину!

. . . .

Все, что я написала выше, не передает и сотой доли того, что я чувствую. Почему-то не могу ничего написать. На сердце так тяжело, и думать не хочется, не только писать. Еще сегодня днем я думала, что вследствие позорного заключения мира, там, в России, начнется та реакция, которую мы так ждем, которая служит единственным отрадным миражом в нашей жизни. Теперь я не верю в это. Разве Россия будет продолжать жить после всего этого позора?

14(27) февраля 1918.

Сегодня бегство из Могилева еще усилилось: бежал "Ревком" ("Революционный Комитет"), остатки штаба 8-ой армии, еще какие-то комитеты и советы, бегут остатки солдат, бросая обозы: склады, автомобили, материальную часть; осталась только "красная гвардия", которая при малейшей опасности побросает свои винтовки и прикинется, что принадлежит к местным жителям. По приказанию австрийцев, тут освобождены все арестованные украинцы. Слухи продолжают циркулировать: говорят, что Житомир уже занят, что в Луцке повешено 80 человек из "Ревкома" и захвачено 1600 орудий; что в Умани "гайдамаки" (их раньше в Киеве называли "боевиками"), поддержанные австрийцами-военнопленными, побили большевиков; что австрийский корпус быстро подвигается к Киеву, а перед ним все бежит. Все это проверить нельзя, но очень возможно, что это правда. Таким образом, мы очутились в тылу у австрийцев. Здесь только и говорят о скором приходе австрийских войск и все ждут их с большим нетерпением. Евреи и сейчас предлагают менять русские деньги на кроны, причем, будто бы, вчера давали крону за 49 копеек, а сегодня за 36. Мне кажется, это неправда: не думаю, чтобы курс нашего рубля был так высок. Еще в мирное время крона стоила 40 копеек...

. . . .

Сегодня по новому стилю 27 февраля, и могилевчане, кажется, празднуют годовщину революции. Торопятся. Может быть, через 13 дней им не удастся уж попраздновать. Слышны довольно жидкие выстрелы из винтовок и несколько раз серьезные, мелодичные раскаты австрийских выстрелов; значит, батарея еще стоит на Немийской горе. Будет скоро недоставать этих привычных выстрелов. Мелодичное "та-ку" винтовок всегда вторило многим невеселым думам, постоянно напоминая о тяжелой обстановке.

15(28) февраля 1918.

Говорят, что взят Киев: отряд броневиков вошел в город. Конечно, нечего и говорить, что никто его не защищал, несмотря на приказ Крыленко. Заняты и узловые станции: Жмеринка, Вапнярка, Винница. Фактически вся Малороссия в руках австрийцев. Что к этому можно прибавить?

Таким образом, мы очутились отрезанными. Могилев кто-то объявил на осадном положении: после 10 часов никто не смеет выходить на улицу; всякий грабеж и беспорядок карается, будто бы, смертной казнью. Я говорю "будто бы", потому что до сих пор такие угрозы никогда не приводились в исполнение. Кто издал такое постановление, когда в Демократической Республике Украины не существует смертной казни? Наверно, тут уже действует какой-нибудь австрийский агент. Хорошо, если бы австрийцы подольше оставались невидимыми и наводили порядок издали.

Сегодня над Могилевом летало 3 австрийских аэроплана: два очень рано утром видел Бенко* и еще один около 12 часов видели Боба и Андрей. Один офицер рассказал Бобе, будто бы аэропланы сбросили 4 бомбы еще на той стороне Днестра. Над Могилевом они бомб не бросали...

---

*) Наш большой друг – военнопленный австриец (словак) – садовник. (Прим. 1982г.).

16 февраля (1 марта) 1918.

Немного рано было говорить, что Могилев такой благословенный город, что мы живем, как в нирване, и т.д. Сегодня с утра настроение очень напряженное: "Ревком" не весь уехал, и оставшиеся его члены наложили контрибуцию на город в размере 2.000.000 рублей. Их собираются взять с 250 лиц. Городская Управа собралась и решила, что, конечно, таких денег в городе нет и что собрать их невозможно. Казначейство закрыто вот уже три дня. Гор. Упр. порешила предложить Ревкому те 200.000 рублей, которые были собраны раньше и должны были идти на покупку муки. С целью столковаться на этот счет было собрано заседание.

Папа утром узнал все эти новости и пришел очень встревоженный. Обсудили положение и решили защищаться. Было собрано оружие и сделаны все приготовления. Я опять, с немалым удовольствием, вытащила мой *Clément*. Несмотря на тревожную обстановку, мы были совсем спокойны: почему-то казалось, что с Ревкомом столкуются и все обойдется хорошо.

Часов около шести мы с Андреем сидели в саду и говорили о новом осложнении. Он волновался больше, чем я, потому что был уверен, что это хорошо и мирно кончится не может, но если к нам придут, надо стрелять. Мы тогда не думали, что в Могилеве осталось много солдат.

Вдруг громкие, недалекие залпы из винтовок заставили нас прервать разговор; уж очень они были в унисон с нашими мыслями. Мы ушли домой. Прошло около часа, когда пришел Боба и рассказал следующее: выйдя на улицу (он целый день сторожит нас), он встретил одного гласного Управы, который рассказал, что слышал: весь город в руках большевиков; сопротивляться не думает никто; у Ревкома в распоряжении шесть броневиков; всех членов заседания разогнали теми выстрелами, которые мы слышали в саду.

Эти новые сведения совсем меняли наш прежний план. Нечего и говорить, что, если весь город дрожит и не думает о защите, одному дому нельзя надеяться отстреляться, да еще против броневиков. Против такого дома выставили бы броневик, или два, или все 6, и заставили бы все равно открыть дверь. Найдя, что 200.000 им мало, они ищут денег. Папа и Боба решили оружие спрятать и дать деньги. Беда в том, что в тот список 250 человек папа, конечно, вошел. Они будут ходить по списку и придут сюда. Нотариус Афеньев, с которым папа говорил по телефону, сказал, что по списку он должен уплатить 13.000 рублей. Конечно, этих денег у него нет.

Папа тоже должен будет платить, наверно, что-нибудь вроде 13.000 и набрал всего около 300 рублей. Теперь денег нет ни у кого. Афеньев сказал, что готов к тому, что его арестуют, и посоветовал папе быть готовым к тому же.

Тот гласный сказал еще Бобе, что заседание возобновилось, причем со стороны Управы есть только городской голова (какой-то вольноопределяющийся большевик, но честный, и кажется, хороший человек) и один гласный. А тем временем товарищи из Ревкома поехали грабить магазины: были уже у Домбровского (аптека) с броневиком и забрали все деньги, которые нашлись.

Сейчас 9 часов. Мы сидим в нашей с Ольгой комнате; Боба и Андрей в "дежурной", т.е. в столовой, которая ближе всех к входной двери. Папа, который больше всех волнуется и боится за нас всех, пока ушел и прилег в спальне. Все читают какие-нибудь пустяковые книги и не говорят больше о "событиях". Оно и лучше, потому что все спокойны. Бедная моя дорогая мамулечка, которая сидела такая бледная и встревоженная за ужином, сейчас спокойнее. По улице все время ездят какие-то автомобили; раздаются то и дело выстрелы из винтовок и револьверов. Пока в них нет ничего особенного: это привычные звуки. На них никто не обращает внимания.

Я пишу, потом лежу на нашем роскошном кожаном диване и мечтаю о том, как было бы хорошо, если бы было мирное время и можно было бы спокойно лечь спать; а спать мне хочется ужасно: вчера я целый день не присаживалась, болтаясь по разным домашним делам; первый раз попробовала гладить белье (прислуги нет почти никакой) и гладила долго; к вечеру еле волочила ноги, а ночью почти не могла спать из-за сильной боли в правой руке (от глажения) и еще из-за какого-то неприятного чувства беспокойства. Сегодня утром чистила кроличьи клетки, что очень утомительно, накрывала на стол и т.д. А сейчас, после пережитых волнений, чувствую себя сильно усталой. Все-таки "все мы люди, все человеки" и, несмотря на 12 месяцев тренировки, не можем привыкнуть относиться спокойно к мысли, что в любую минуту можем быть отправлены на тот свет. А это теперь делается так легко.

Боже мой, как все устали. Мудрено ли, что хочется сказать: "Когда же придут австрийцы и наведут порядок?"

12 часов.

Боба будет сидеть всю ночь в столовой. Мы решили лечь не раздеваясь.

17 февраля (2 марта) 1918.

Ночью спали не так уж хорошо и спокойно. К 5 часам утра мы с Ольгой лежали смирно, готовясь заснуть, как вдруг мощный, глухой звук взрыва заставил вздрогнуть дом и нас в наших кроватях; гул, постепенно замирая, затихал в воздухе. Его было слышно около минуты. Мы молчали, прислушиваясь к красивому, мощному звуку. "Что это такое? – сказала Ольга каким-то странным голосом. – Снаряд?" У меня в голове уже была целая картина: это не мог быть снаряд, разрыв не гудел бы так долго; я вспомнила про возможную аэропланизацию и тотчас же подумала, что это первая бомба. Но звука аэроплана не было слышно. Мы зажгли свечку; Ольга почему-то поспешно оделась; я, как была, в белье и лиловом венецианском халате, надела мягкие туфли и пошла к окну. Было очень светло от луны и ярких желтых звезд. Никакого аэроплана не было видно. Из всех комнат в халатах повыходили их обитатели. Мама пошла в столовую, где все еще сидел Боба, чтобы спросить его мнение. Он самый опытный из нас, привыкнув на войне ко всяким звукам. Боба сказал, что это не орудийный выстрел, а очень большой взрыв; должно быть, взорвали мост через Днестр. Как мы узнали позже, он был прав: в 5 часов утра большевики взорвали мост. Поговорив, мы легли спать. Неприятно было слышать безостановочную езду автомобилей по нашей улице: все казалось, что они остановятся у нашего подъезда. Они ехали, ехали один за другим, как будто бы весь город решил эвакуироваться. Это было бегство, но кого – мы не знали. Я заснула под эти звуки.

Утром мы узнали, что мост взорван, но очень неудачно: поврежден один пролет, а быки остались целы. Большевики даже этого не сумели сделать, как надо.

Когда я кормила кроликов, часов около одиннадцати, пришел Андрей и рассказал, что Боба был у своих знакомых напротив, капитана Черника и барона Боде, которые сказали, что в городе все переменилось. Ночью большевики все еще заседали в Управе, когда туда ворвались какие-то люди с криком, что австрийцы близко (другие говорят, что в Могилев идет бронированный поезд). Поднялась паника. Большевики погрузили все, что могли, на автомобиль, поехали и взорвали мост, а потом началось повальное бегство. Нечего и говорить, что никаких австрийцев не было: это была уловка украинцев. С тех пор настроение в городе совсем изменилось: мирные жители высыпали на улицы, с оружием и с самыми энергичными угрозами против большевиков. Вывесили

опять ”прапóри”* и решили, что победа за ними. Победа пока правда на их стороне, потому что большевики попрятались (или уехали) и их не видно.

Зато стрельба идет все время; то и дело стрекочет пулемет. Я сижу в саду, на солнце, и слушаю эту музыку. Сегодня так тепло, что можно выходить в одном платье – 11° в тени. Утром мы больше сидели дома, потому что пули не раз свистели над нашим садом. Но солнце было слишком соблазнительно, и мы все вышли посидеть в саду.

8 часов вечера.

Горожане вооружились и собираются дежурить всю ночь. Боятся, что большевики вернутся за своими 1.800.000 рублей, которые они не успели захватить. Я не очень-то верю в доблесть могилевских ”украинцев”. Днем, сидя в саду, мы наблюдали несколько комичных силуэтов конных и пеших защитников города. Это зрелище, на которое стоит посмотреть.

Говорят, из Ямполя идет нас спасать польский легион. Думаю, что это утка, потому что его до сих пор нет.

18 февраля (3 марта) 1918.

Сегодня воскресенье, и почему-то страшно скучно. Нет ни слухов, ни выстрелов, ни большевиков, ни украинцев. Я заметила, что после периода, в котором случаются разные неприятные, разнообразные события, наступает период скуки. Например: мы живем более или менее спокойно, радуемся этому и говорим, что находимся в исключительно хороших условиях; потом вдруг случается что-нибудь, какая-нибудь тревога; день или несколько дней все только и живут от одной новости к другой, ходят встревоженные. В таких случаях настроение бывает повышенное, все энергичны, не обнаруживают никакого страха, относятся друг к другу особенно хорошо. Потом опасность проходит совсем, или почти что; все делаются веселыми, предпринимают какое-нибудь дело, принимаются за него энергично и весело; отношение друг к другу еще более дружное и хорошее. Через день или два наступает период скуки: все ходят из угла в угол, не знают, чем заняться, позже встают, ходят кислые

---

*) Желто-голубые (украинские) флаги. (Прим. 1982г.).

и зеленые; ничего не клеится. Наконец, все входит в нормальную колею: опять относительная тишина и спокойствие, до новой неприятности. Так, словно по ухабистой дороге – то в яму, то на пригорок, то падая духом, то подбадриваясь опять, – плывем мы через "Великую Русскую Революцию".

А эта революция, которая, как мы думали, так скоро для нас кончится приходом австрийцев и оккупацией края, еще обещает немало неожиданностей впереди. Австрийцы идти и не думают. Все то, что я писала несколько дней тому назад про Киев, Жмеринку и Винницу, не подтвердилось и давно уже отнесено нами в категорию "диких уток". И правда, только с воображением расстроенным, какое может быть только теперь, можно было поверить, что отряд автомобилей и один бронированный поезд могли занять несколько губерний. Кажется, ни Каменец, ни Проскуров еще не заняты. Значит, могилевчане могут не надеяться на приход австрийцев в таком уж скором времени, а пока должны справляться сами.

. . . .

Все делается неожиданно: в 3 часа прибежал Кшиш и объявил, что австрийцы вошли в город. Конечно, никто не поверил: это показалось чем-то слишком невероятным! Но тот клялся, что сам видел отряд австрийцев, – пионерную роту, – а через два часа ожидают еще целую дивизию. Антон Чайковский побежал в город, за ним устремились все наши австрийцы. Мы, конечно, никуда не выходили дальше нашей усадьбы и ждали событий. Через разные промежутки времени стали возвращаться австрийцы, и все рассказывали новости. Все говорили разное, только в одном все сходились: что пришел отряд поляков, австрийских подданных, в австрийской форме. Вчера ждали польский легион, но все были уверены, что это тот, который формировался из добровольцев-поляков здесь и в Сороках. Вместо тех пришли австрийцы.

Антон рассказал самую несуразную новость: будто поляки ушли из Австрии и Германии для того, чтобы соединиться с нашими поляками и воевать против Австрии. Сейчас же они идут на Сороки.* Мне кажется, Антон хотел "nous dorer la pilule"; только он не подумал, что никто не поверит сказке о том, как австрийцы выпустили вооруженных поляков для того, чтобы они против Австрии не воевали.

---

*) Это было правильно: это был тот польский легион, ушедший из Австрии и разоруженный впоследствии под Каневом германцами. В Могилев в тот же день пришла за ними рота мадьяр. (Прим. 1981 г.).

Сильвестр рассказал, что поляки пришли откуда-то с севера и что скоро придут еще. Ляшко говорил, что они пришли из Ямполя, что у них есть автомобили и пехота, а что ночью придет целый корпус. Из Броницы явился Павло и в свою очередь рассказал, что из Броницы и окрестных деревень поудирали все оставшиеся еще там солдаты. Сам Павло, ударяя себя в грудь, клялся, что нет человека более преданного и верного его светлости, чем сам Павло. (Этот Павло, сторож на Убочах, самый несимпатичный из всех наших служащих, которые зарекомендовали себя так нехорошо за это время. Когда кто-нибудь из этих господ является сюда, я стараюсь уйти подальше. Очень уж неприятно на них смотреть). Это все между прочим.

Сейчас 6 часов вечера. Садовник Бенко радостно объявил Бобе, что "die Unsrigen" пришли, а ночью придут два корпуса германских войск с артиллерией. Из одной дивизии выросли два корпуса, воображение обывателей растет необыкновенно быстро. Через несколько часов будут говорить, что идет целая армия.

Все эти подробности не так уж важны. Главное то, что австрийцы заняли город. То, чего мы боялись и чего мы ждали, то, что нам казалось далеким и почти невозможным, – наконец совершилось. Я ничего к этому не прибавлю, слишком много я об этом думала и даже писала здесь; говорить больше нечего. Если когда-нибудь меня спросят, как приняла я эту весть, мне нечего будет рассказать. Слишком давно мы знали, что это неизбежно, и исподволь приготовлялись к необходимости покориться этой неизбежности. Россия умерла, мы ее любим и оплакиваем, как дорогого покойника, который никогда не воскреснет. А сами мы принуждены жить дальше. Сегодня, 18 февраля, для нас кончилась революция. Через 9 дней мы дожили бы до годовщины. Как скоро те, которые сеяли, пожали плоды своих трудов: Россия перестала существовать.

7 часов вечера.

Антон ходил на берег Днестра смотреть, сильно ли поврежден мост, и видел переправу австрийского отряда. Они переправились на лодках. Говорят, что это венгры.

19 февраля (4 марта) 1918.

В городе необыкновенно спокойно, не слышно ни выстрелов, ни езды автомобилей. Даже как-то странно. Так хочется, чтобы революция правда кончилась и наступил бы хоть немного покой. Все так устали.

Утром Боба с Андреем ходили по городу; были на берегу, у моста, на вокзале. В здании реальной гимназии, где раньше был штаб несуществующей 8-ой армии, поместились австрийцы. По городу их видно много. Боба, по старой привычке военного, любуется их выправкой и приличным видом. Мост очень поврежден взрывом: весь средний пролет в воде. Вокзал пуст, но загажен так, что отвратительно подходить близко; так же, как и весь Могилев. Венгры энергично чистят здание штаба; везде открыты окна. По-видимому, решили прочно там основаться. Даже жители принялись за чистку тротуаров. Вообще общее настроение бодрое. Кажется, все рады, что наступил хоть какой-нибудь порядок.

Вокруг того места, где расположились венгры, стоит густая толпа зрителей; все, кто мог, пришли смотреть на новое неожиданное зрелище. Тут же стоят оставшиеся товарищи и с таким же тупым любопытством, как и все, щелкая семечки, смотрят. Маленькие девочки показывают на них пальцами и кричат: "Товарищи, товарищи!" Причем один зритель сказал: "Теперь товарищам конец". Но вряд ли многие из толпы понимают всю важность совершившегося.

Тут же висит приказ коменданта, выбранного после бегства большевиков, полковника Кириенко, приказ №1 (товарищи никак не могут уйти дальше приказа №1: начали они с печальной памяти приказа №1, 2 марта 1917г., потом приказ №1 Рады, потом большевиков в Киеве и, кажется, в Одессе, потом здесь).

В приказе сказано:

"Товарищи! Большевики ушли; город остался без охраны" *(sic)* и т.д. В общем комендант предлагает желающим записываться в дружину, чтобы охранять город от возможных "эксцессов". Этот призыв и породил те карикатурные силуэты всадников, которые мы наблюдали из нашего сада. Жители и сейчас тупо читают приказ, хотя на дверях коменданта написано, что "пока" оружие выдаваться не будет. Тут же на приказе какой-то остряк надписал: "А где ж ваша украинская мова?" (Приказ написан по-русски).

Странно, что венгры ничего не предпринимают. Они хоть и поставили кое-где часовых (на нашем Шаргородском мосту стоят два пулеметчика в касках), но ни во что не вмешиваются. Комендант

все тот же полковник Кириенко; население не обезоруживают; "гайдамаки" все так же ездят с винтовками по улицам. Наверно это потому, что их еще слишком мало.

И мы ничего не знаем: кто теперь нами правит, что делается в других местах?

В Киеве преспокойно сидит Рада с "ясновельможными" панами Грушевским и Винниченко во главе. Может быть, они издадут новый, 5-й Универсал, чтобы мы хоть узнали, что будет дальше.

Мне почему-то кажется, что так мирно не кончатся наши приключения. Иногда бывает что-то вроде предчувствия чего-то плохого. У меня сейчас такое предчувствие.

20 февраля (5 марта) 1918.

Тут распускают слухи, что Петроград занят немцами и на престол посадили вел. князя Михаила Александровича, и что вся семья Государя переехала в Германию. Не знаю, можно ли такому верить? Все-таки возможно, что это правда, а возможно и то, что это стихийная провокация. Мы с Ольгой говорили об этом новом факте, и странно: вместо того, чтобы быть в отчаянии, как были бы месяца два тому назад, – мы радовались! Правда, получить монарха из рук немцев, видеть на русском престоле их ставленника и их послушное орудие (разве может быть иначе?) – что может быть хуже? А маленький Алексей, которого мы всегда так горячо любили, будет воспитываться в Германии, научится ненавидеть все русское, а потом будет тем же немецким орудием на нашем престоле? Что может быть хуже? Нет, горе в том, что может быть хуже!

Хорошего не может быть ничего, а лучше это, чем "правительство крестьян и рабочих", чем "красный террор" и все то, к чему мы чуть ли не привыкли за последний год. Я чувствую сейчас только огромную моральную усталость; пока я не чувствую себя довольно сильной, чтобы бороться против этого нового зла и ненавидеть этих прежних врагов, которые теперь с таким успехом заменились новыми. Сейчас я благодарна им за то, что они спасли нашу жизнь, и ненавидеть их за все остальное я буду, может быть, после.

В городе все так же спокойно. Венгров еще больше переправилось на нашу сторону Днестра, и теперь их очень много в городе. Я их еще не видела и сердечно этому рада. Никаких особенных шагов они не предпринимают, но ясно, что хозяева положения – они.

Сегодня был такой случай: "гайдамаки" (эти темные личности, которые разъезжают на клячах с штыками и пулеметными лентами через плечо) решили вдруг разоружить всех могилевских евреев. Они собрались и приготовились на них напасть. Конечно, это был только претекст, чтобы начать погром и грабеж. Вдруг, откуда ни возьмись, появились взводы гонведов.* Они спокойно построились по тротуарам и выкатили пулеметы. Толпа мигом стушевалась и рассеялась. Теперь по улицам стоят усиленные караулы. А я не могу не почувствовать некоторое удовольствие, что кто-то сторожит и при надобности наведет порядок.

Сегодня полковник Кириенко опять разразился Приказом №4 (не знаю, какие были два между 1 и 4). Он написан в гораздо более энергичном тоне, чем первый. Комендант запрещает всякие грабежи и убийства (ведь раньше это не запрещалось!), курение самогонки, всякие митинги и собрания, не только под открытым небом, но и по домам, и еще что-то; нарушение этих правил будет караться "силою оружия". Несколько дней тому назад не написали бы такого приказа. Его продиктовал подставному коменданту начальник стоящей здесь пионерской роты гонведов. Боба видел еще один курьезный приказ: в нем было сказано, что "мы должны идти рука об руку с дружественной нам державой – Австро-Венгрией", и т.д. Очень хорошо, не правда ли? А наши кретины верят и этому.

Пока с нетерпением ждут событий; крестьяне на всякий случай переменили тактику. Сегодня приехал из Броницы Сиваченко и рассказал: все последнее время творилось что-то отвратительное, целые дни продолжалась стрельба, грабили кто и кого могли; из дома нельзя было выйти, чтобы не нарваться на грубость и оскорбления. Теперь сразу все переменилось: мужичье попряталось и не показывается, или, если встретишь, вежливо кланяются. Правда, это еще отвратительнее, чем то, что было раньше. Тогда, по-видимому, они были в своем натуральном виде. Теперь у них совесть нечиста и они боятся. Сиваченко рассказывает, что флигель в Бронице разнесли тоже и окна верхнего этажа расстреляли из винтовок, потому что не смогли туда добраться. Парк весь забросан трупами лошадей; даже в ледник эти скоты бросили дохлую лошадь. Но сам парк пока цел, а если и есть порчи, то очень небольшие.

Это более чем вероятно, что мы сможем вернуться в Броницу. Я сейчас даже не знаю, радоваться ли этому? Несмотря на всю мою

---

*) "Honvéd" – венгерские солдаты.

горячую любовь к Бронице, я почти что боюсь туда вернуться. Это что-то вроде того, как видеть труп близкого человека. Да и очень много теперь связано тяжелых воспоминаний со всей усадьбой. У меня теперь такое чувство, что я не могу ни радоваться чему-нибудь, ни печалиться. Все все равно.

21 февраля (6 марта) 1918.

Комендант приказал сносить оружие до 12-и часов в "австрийскую казарму". Придет ли товарищам в голову, что это немного странно, что украинский комендант Гадилов-Гадлевский приказывает сдавать оружие австрийцам? Хотя, конечно, ведь "для Украины поднялась новая заря свободы, при помощи императорско-королевских войск дружественной нам державы Австро-Венгрии". Чего же беспокоиться украинцам? В том же приказе сказано, что кто повредит провода телеграфа или телефона, будет расстрелян на месте. Потихоньку, методично австрийцы все забирают в свои руки.

В Шаргороде начался погром, и туда ушла рота гонведов. Тут сейчас распустили слух, что они пошли воевать с румынами, которые, будто бы, объявили Австрии войну.

Товарищи очень обиделись, но винтовки понесли. Но очень многие продолжают ходить с винтовками и стрелять в воздух. Я думаю, что это скоро прекратится. Мы оружие не сдаем. Красовский, Лисснер и еще три поляка-помещика хлопочут, чтобы нам, "благонадежным", (хотя какая может быть благонадежность с нашей стороны к австрийцам?) оставили оружие. Пока еще неизвестно, чем кончатся их переговоры.

23 февраля (8 марта) 1918.

Теперь каждый день приносит что-нибудь новое, было бы интересно писать каждый день, и подробно, но я почему-то с трудом могу собраться с мыслями: мозг как-то устал безнадежно, и мне трудно взять карандаш в руки. Все, что я пишу, выходит не так; в голове ничего нет. Я так устала. Даже руке писать трудно. Эти дни даже почерк стал какой-то несуразный.

Я писала последний раз 20-го. Сейчас стараюсь вспомнить, что было 21-го, но не могу. Конечно, что-то было. Теперь все больше заняты вопросом о водворении помещиков по своим усадьбам.

Все уверены, что это будет; крестьяне испугались и не знают, что делать.

Вчера вечером был Красовский и рассказывал много интересного. Он человек очень энергичный, поэтому всегда во всем участвует. Он был из числа тех, которые должны были добиться аудиенции у Oberst'a von Sàndor'a (начальник австрийского отряда в Могилеве), чтобы говорить о землевладении и о положении вещей вообще. К несчастью, в числе этой делегации был и Иван Э. Лисснер, о нем я напишу ниже. Oberst von Sàndor принял делегацию, но говорить как официальное лицо отказался. Все-таки он сказал немало, говоря только от своего лица. Он сказал, что помещики могут быть спокойны: "Европа не потерпит уничтожения частного землевладения"; что пока его отряд не довольно силен, он пока будет только в городе, но на днях придет сильное подкрепление, и тогда он займется и селами. Тогда помещики будут водворены по своим имениям, конечно для того, чтобы приготовить хлеб для Австрии. Крестьян полковник Шандор не считает способными это сделать. Помещикам будут предоставлены все нужные земледельческие орудия, которые на днях прибудут сюда.

Oberst не ограничился только этим вопросом: он говорил и об общем положении вещей. Австрия явилась с целью восстановить Украину, но все чуть развитые "громадяне" и "гайдамаки" поймут, что это не та Украина, которую себе представляют товарищи. Шандор довольно прозрачно намекнул, что и здесь все делается от имени Рады до тех пор, пока... не подойдет австрийское подкрепление.

Рада будет существовать до тех пор, пока австрийцы не возьмут все в свои руки. Фактически и сейчас все в их руках, хотя все приказы и подписываются комендантом Орловським (солдатом), но ведь это ясно, кем они диктуются. Не пришло же в голову тов. Орловському хотя бы неделю тому назад приказать, чтобы не гнали самогонку, не портили проводов, не делали митингов; чтобы чистили город и сдавали оружие. Теперь он вдруг вспомнил.

Еще полковник Шандор сказал, что сюда идет 11-ая армия, австрийская, и что штаб ее будет в Могилеве. Для нас это известие не совсем приятное.

В общем Австрия устроилась неплохо: заняв богатейший край, она сумеет вытянуть из него все, что возможно. К несчастью, мы, помещики, оказались для этого передаточной инстанцией.

Вчера здесь перестал существовать "Совет Солдатских и Рабочих Депутатов", "Совет собачьих депутатов", как назвал его, не без

основания, один могилевский житель (ci-devant помещик, конечно). Совет хотели весь арестовать, но поручили это дело украинцам, которые, конечно нарочно, опоздали и захватили только одного "депутата". Это не так важно, а главное то, что перестало существовать это всеми так горячо ненавидимое учреждение.

Сегодня мадьяры действуют более твердо: по всему городу поставили сильные караулы, а патрули ловят целые толпы товарищей и препровождают их во двор австрийской казармы; там смотрят их пропуски и всех не местных жителей ведут на вокзал и отправляют вон. Сегодня же в Троицкой волости расклеили приказ сносить в австрийскую казарму все казенное имущество. По-видимому, за ночь подошло таки подкрепление.

Мы думали, что с приходом австрийцев тут начнутся обыски, аресты, контрибуции, все то, к чему мы привыкли за истекший год. Пока же австрийцы не принесли нам ничего, кроме давно не испытанного чувства безопасности. Может быть, все эти неприятности еще впереди и будет еще немало тревожных минут, но пока мы все отдыхаем. Хочется отдохнуть нравственно, положить (au figuré) свой мозг поудобнее, чтобы он ни о чем не думал и отдыхал. А отдыхать невозможно...

Сегодня как-то пришла сюда одесская газета. Ведь мы ничего не знаем, что творится в России. Ходит столько слухов, совершенно противоположных один другому, что понять ничего невозможно. По одним можно подумать, что в Москве правда началась реакция, что какое-то мифическое Учр. собр. выбрало на престол Михаила Александровича; что армия Алексеева заняла Екатеринослав; что великий князь Николай Николаевич – диктатор. А в противовес этим слухам телеграммы сегодняшней газеты (от 18 февраля) о занятии немцами Могилева-Губернского, Орши, Луги, даже Бологого, и слухи о занятии Киева и Петрограда. Какая может быть реакция, или хотя бы что-нибудь хорошее?

В той же газете мы прочли странное сообщение, которое всех нас глубоко поразило: сказано, что в Москве была отслужена панихида и заупокойная литургия по офицерам Кавалергардского полка и Конной гвардии, между ними князь Белосельский-Белозерский и Мосолов, потом один царскосельский кирасир и один гатчинский. Всех около пятнадцати человек. Всех Боба знал лично. Что с ними случилось, где они были убиты, кем, как? Об этом ничего не сказано. Белосельский перед самой революцией женился на графине Граббе, сестре своего товарища по эскадрону, с которой был помолвлен

с тех пор, как они были детьми. Ему 22 года, а ей 18.* Другие тоже почти все приблизительно тех лет. Мосолов единственный сын. Подумать, какой кошмар творится теперь везде, какие реки крови и слез льются сейчас по лицу всей России, а мы ничего не знаем, сидим в своем углу и благодарим Бога, что с нами не случилось того же. И даже эта кровь и эти слезы не смоют всей грязи и позора, которым покрыла себя Россия.

P.S. Понемногу мы узнали подробности той ночи с 16-го на 17-ое, когда город подвергался такой серьезной опасности и все приличные люди висели на волоске.

16-го, в 11 часов утра, папа получил повестку. Привожу ее текст буквально. Налево в верхнем углу напечатано: "Военно-революционный комитет 8-ой армии Мог.Под.", потом в заголовке листа: "Гражданину Витгенштейн, собственный дом Садовая №16", и приписано карандашом: "или угол Киевской и Дворянской". Наконец текст, напечатано:

"Ревком 8-ой армии приказывает вам внести в кассу Ревкома тринадцать тысяч рублей (13.000) к 12-и часам 1 марта нов. стиля. Всякое промедление вызовет неприятные для вас последствия".

Подписали две какие-то личности, имен не помню.

Получив такую бумажку, папа очень взволновался. Да и мудрено: город был в руках большевиков, искать защиты было не у кого, а денег таких у папы, конечно, не было. Он ничего не сказал нам и пошел в город, чтобы узнать, что делать. В городе было общее смятение: все смертельно боялись большевиков; евреи кучами собирались на улицах, толкуя о событиях. Помещиков не было видно. Денег достать было невозможно, потому что казначейство закрылось еще несколько дней тому назад, да и то оно раньше давало только по 100 рублей. Папа вернулся, рассказал нам то, что я писала еще 16-го. Было решено защищаться.

Гор. Прод. Упр. старалась уладить дело, предлагая большевикам 200.000 рублей, но часов около шести члены ее разошлись, большевики и слышать не хотели их доводы. Только гор. голова и один из членов смогли пробраться в пресловутый Ревком и продолжали

---

*) Потом мы узнали, что это не тот Белосельский, а его младший брат. "Маленький" Белосельский, правовед, двумя годами старше Андрея. (Прим. 1982 г.).

уговаривать. Но их доводы не слушали. Начались аресты тех, которые входили в список 250-и лиц, обязанных платить контрибуцию.

В 7 часов Боба принес тревожные вести, о которых я уже писала 16-го. В столовой были папа, Андрей, Нудичка и я. Папино лицо, освещенное красноватым светом заката, как-то вдруг переменилось, постарело, пока он слушал рассказ Бобы; Андрей был мрачен; я смотрела то на такое спокойное вечернее небо, то на папино лицо и думала, что тут есть что-то еще худшее, чем рассказал Боба.

На самом деле все было не совсем так, как рассказали Бобе: у аптекаря Домбровского не только взяли выручку, но, так как он входил в список, арестовали и повели в Ревком; там заседал революционный трибунал, т.е. за столами сидели несколько десятков солдат. На уверения Домбровского, что денег у него сейчас нет, они отвечали, что в Симферополе (?) тоже не было денег, а как повесили и расстреляли несколько человек, деньги явились, а если он, Домбровский, не хочет, чтобы с ним сделали то же самое, пускай достанет деньги.

Бедняга наскреб 2000 рублей (ведь жизнь дороже) и пообещал достать остальные, если его выпустят. С него взяли честное слово и пустили. Кое-как он наскреб остальные 11.000 рублей и внес. Он был единственный. Других арестовали, обыскивали (может быть, и еще что-нибудь делали), брали по несколько тысяч и оставляли, говоря, что придут еще. К старому Крупенскому приходили три раза, но он как-то сумел скрыться, так что его не нашли. Вообще, многие попрятались. Один бессарабский помещик – Бенепуццо – спрятался в доме напротив нас, у барона Боде и капитана Черника. Он бросил жену и детей (что довольно странно) и пришел к знакомым, которые не здешние постоянные жители и не попали в злополучный список.

Когда папа звонил Афеньеву и пришел в столовую, где мы сидели за ужином, он имел не совсем естественно веселый вид. Папа сказал, что нотариус спокоен, хотя и ждет, что его арестуют; он советует и папе не беспокоиться. Хотя и его могут арестовать, что в сущности не так уж важно. Папа рассказал это так, хотя, правда, Афеньев был встревожен не меньше самого папы и с немалым страхом ждал грабителей.

В эту ночь большевики бродили по городу, грабя уже не по списку, а всех подряд. Есть улицы, где в каждый дом заходили и, терроризируя жителей, требовали денег. Почему они не были у нас? Почему они не пошли к папе, который носит самое заметное

имя из всего списка и, как они, конечно, думали, и есть самый капиталист? Конечно только потому, что не успели. Каким-то чудом, во второй раз, мы спаслись от грозившей нам опасности.

А эту ночь мы все-таки спали. Мы не знали, что в 3 часа толпа солдат ворвалась в несчастную Управу, требуя немедленно 2.000.000 рублей, грозя в противном случае "весь город залить кровью и завалить трупами". Перепуганные члены Предуправы собрали все, что могли, кажется около 20.000, и отдали грабителям. Кажется, около 4 часов прибежали в Ревком с тревожной вестью, что австрийцы близко. В 5 часов большевики взорвали мост и бросились в бегство. Они уже не останавливались, чтобы грабить, а бежали без оглядки. Город был спасен.

А тем временем барон Боде и капитан Черник, слушая рев бегущих мимо нас автомобилей, всю ночь ждали, что на нас нападут. "При каждом автомобиле мы думали – вот приехали арестовать князя. И мы были готовы ударить им в тыл", – рассказывал барон, мирно попивая у нас чай. А в эту ночь мы спали, смутно представляя себе ту опасность, которой подвергались. А нашлись хорошие люди, которых мы тогда даже не знали лично, кроме Бобы, которые были готовы идти нас спасать от грабителей.

Город был спасен от огромной опасности только одним слухом, что австрийцы близко. Можем ли мы теперь не чувствовать благодарности к этим австрийцам?

24 февраля (9 марта) 1918.

С тех пор, как "nous sommes en révolution", я много раз наблюдала одно явление: еще в самом начале революции, еще в Петрограде, я писала о том, как скоро, под влиянием разных слухов, поднимается и падает настроение. Чуть слух получше, все веселы, бодры и даже готовы сами прикрасить слышанное, чтобы вполне наслаждаться. Но при первом повороте в другую сторону, при малейшем неприятном известии (а мы имели почти исключительно таковые) настроение падает без всякой переходной степени, стремительно, почти до отчаяния. Тогда все видят исключительно в самом мрачном свете, не надеются ни на какой хороший исход и ждут впереди все самое мрачное.

Я сейчас это говорю потому, что эти колебания особенно часты. Уж не говоря про более отдаленные факты, можно наблюдать эти скачки, огромные за эти последние несколько дней. /.../ Температура бывает или слишком высока, или слишком низка; нормальной же бывает очень редко.

Почему она так упала сегодня? Папа утром был на заседании и принес дурные вести. Австрийцы, т.е. порядок и безопасность (?), сильно ослабели; вся власть переходит в руки товарищей украинцев, т.е. той же революционно-разбойничьей "демократии", что и раньше; о возврате земель не может быть пока и речи.

Наши враги подняли голову. Пущенные какими-то ловкими мерзавцами слухи, что изменники-помещики признали австрийцев, чтобы обидеть "демократию", как нельзя больше понравились нашему трудовому народу. Ведь надо же на кого-нибудь свалить вину в постигшем Россию несчастье и выместить свою злобу за пережитый эти дни страх на ненавистных буржуях. Тут уже поговаривают, что помещики с помощью "немецких принцев, австрийских баронов и румынских генералов" вооружаются и что-то затевают против доблестной рев. демократии. Вообще натравливают еще сильнее, чем раньше. А папе, кажется, намекнули, что венгры отсюда уходят. В таком случае мы останемся без последней гарантии безопасности и еще больше, чем раньше, во власти наших врагов.

Есть от чего упасть настроению. Главное, что опять начнется все то же, переживания вроде 28 октября, 11 декабря и 18 февраля, неизвестность – выйдешь ли живым из этой передряги, будешь ли выброшен голодать на улицу, и другие такие же перспективы. От всего этого мы устали смертельно. Хотелось бы отдохнуть наконец от революции, от "интересной жизни" и разнообразных переживаний. "Поиграли и защеку", как говорит Боба. Я нахожу, что мы довольно "поиграли" с революцией.

А возможно ли это, чтобы венгры ушли отсюда? Может быть, их бьют на Западном фронте? Ведь мы ничего не знаем. Может быть, им все-таки не под силу завоевать Россию, даже такую, какая она сейчас? Но ведь ходят слухи о занятии Петрограда, Москвы и Киева. Или австрийцы настолько слабы, что должны заискивать перед какой-то Украиной?

. . . .

Тут уже распустили слухи об отказе Михаила Александровича от престола и о том, что Польша объявила войну Украине. "Одна несуществующая держава другой несуществующей державе", как

говорит Боба. Что за готтентотское положение, что нет ни газет, ни почты, ни телеграфа, ни железнодорожного сообщения! Нельзя же верить всей той чуши, которую говорят в Могилеве!

25 февраля (10 марта) 1918.

Вести все хуже. Сегодня Боба говорил с новым комендантом, Фрезером (здесь чуть ли не каждые два дня новый комендант), который живет с бароном Боде и капитаном Черником и принадлежит к их компании. Боба еще раньше говорил, что это, кажется, темная личность, а может быть и австрийский агент. Со вчерашнего дня этот Фрезер, бывший прапорщик запаса, избран комендантом Могилева.

В разговоре с Бобой он говорил о новой Украине, которой теперь предстоит такая великая будущность, об ее отношении к России и к Австрии, и т.д. Украина заключила союз с Австрией против России; она не даст России ни зернышка хлеба и, по всей вероятности, объявит ей войну. Воевать ей придется, кажется, и с Польшей. Отныне Россия – главный враг Украины, а Австрия – "Австрия для нас ничто!" – гордо заявляет от лица Украины новый комендант Могилева.

Где тут хоть самая малейшая логика? Почему Австрия оказалась таким другом и союзником Украины, а Россия врагом? Почему Австрия получит весь хлеб, а Россия может умирать с голоду? И с какой армией, как не с австрийской, будет воевать Украина против России и Польши? Неужели не понимают все эти идиоты (или негодяи) украинцы, что они закабалили себя врагу в тысячу раз более злому, хитрому, жестокому и беспощадному, чем когда-нибудь была для них Россия (уж если говорить, что она была их врагом). Правда, они уже не могут ничего сделать против этого закабаления. Но где были их глаза раньше? Почему не послушали Шульгина, целый год боровшегося с "украинизацией", т.е. с германизацией Малороссии? Когда-нибудь самые ярые украинцы спохватятся, поймут, будут рвать на себе волосы, но уж конечно не вернут того, что сами погубили!

Еще Фрезер сказал, будто бы немцы заняли Петроград, заключили мир с Россией на необычайно тяжелых условиях: 10 миллиардов контрибуции, весь хлеб и многое другое. Бедная Россия! С одной стороны Австрия со своим слепым и послушным орудием Украиной,

с другой – Германия как собаки вцепились в ее уже растерзанное тело. Они не скоро выпустят свою жертву. Бедная Россия!

. . . .

Украинцы разослали по волостям бумагу очень странного содержания: крестьянам предоставляется засеять всю землю, *временно*, как там сказано, потому что помещики не могут сделать этого сами. Поэтому всех "селян" приглашают сеять. Ясно, что *пока* мы не получим наши земли обратно. Но что значит это "временно"? Полковник Шандор сказал, что им "нужна не политика, а хлеб". В общем, пока ничего нельзя понять. Что будет с нами всеми, куда мы денемся? Пока никто ничего не знает.

Тут помещики собираются что-то сделать, устраивать какой-то не то огород, не то кофейную на кооперативных началах. Кажется, во главе всего Лисснер. По всей вероятности, из этого ничего не выйдет.

Сегодня прибыли большие новые силы австрийцев в город. Уже занимают частные дома для постоя.

Утром мы смотрели через забор в городской сад, от которого нас отделяет только речка Дерло. Там, несмотря на то, что сегодня воскресенье, учились австрийцы. Неприятно резали ухо слова немецкой команды: "rechts, links, halt!", и т.д. Австрийцы имеют вид не очень воинственный и подтянутый, если сравнить их с солдатами наших бывших гвардейских полков, все перипетии учения которых мы каждый день наблюдали из наших окон в Петрограде. Но за этот год мы уже отвыкли от вида приличной воинской части в строю.

Вчера одного бессарабского помещика арестовали на улице, потому что он был одет в хаки. Его приняли за бывшего офицера и хотели выселить из Могилева, как непостоянного жителя. Его продержали 4 часа, и ему стоило большого труда, чтобы его выпустили. Во избежание подобных случайностей с Бобой и Андреем папа достал им в "милицейском участке" (так и написано) удостоверение. Там сказано, что такие-то (называя титул светлейшего князя) переехали в Могилев "на постоянное жительство впоследствии аграрных беспорядков". Как глупо! Можно подумать, кому-нибудь есть дело, почему они сюда переехали!

. . . .

Тот же Фрезер еще говорил, что Австрия потребовала автономии Крыма, как отдельного ханства. Ханом, наверно, будет кто-нибудь вроде пресловутого принца Вида.

Когда и кто будет новый русский Иван Калита, который опять соберет единую былую могучую Россию?

26 февраля (11 марта) 1918.

Сегодня день маминого рождения, но все ходят как в воду опущенные. Я рада, что мое собственное угнетенное настроение не очень заметно среди общего уныния. Я чувствую себя скверно; слабость, плохой сон и аппетит, апатия и равнодушие ко всему, шум в голове и постоянная беспричинная усталость не способствуют хорошему настроению. Да и какое может быть настроение? Лучше не думать!

Завтра годовщина революции. Год тому назад, 26-го, мы уже никуда не выходили, и настроение было тоже не праздничное. Один дядя Коля вышел и принес красивую корзину гиацинтов и конфеты. Гиацинты так и стояли в столовой почти до нашего отъезда, странно контрастируя своим веселым видом с тревожными днями первых чисел марта 1917 года.

Кажется, существует легенда, что в день маминого рождения часто случается что-нибудь неприятное. Я смутно помню праздничный обед в нашей красивой столовой в Киеве, в год Японской войны. Помню, как кто-то читал газету и мама заплакала и ушла из-за стола; я ничего не понимала, и только бульон с пирожками вдруг показался невкусным. У меня осталось смутное представление, что это было известие о гибели "Петропавловска" и адмирала Макарова, но я в этом не уверена. Было ли это 26 февраля или 1 апреля, день маминых именин, тоже не помню.

Потом, много лет спустя, в 1913 году, мне делали операцию аппендицита. /.../ Я не знаю точно, но кажется у мамулечки были и другие причины не любить день своего рождения.

26 февраля 1917 года будем долго вспоминать как один из самых страшных. 26 февраля 1918 года, наверно, тоже.

Сегодня которая-то годовщина смерти Шевченко, поэтому украинцы везде повесили свои желтые и голубые тряпки,* надели такие же ленты и значки и празднуют. Хотя у них теперь каждый день праздник.

---

*) Цвета украинской республики: золотое солнце и голубое небо Украины. (Прим. 1982г.).

Все то, что касается Украины и украинцев, мне противно в высшей степени! Я их не считаю за граждан настоящей державы, а за последних подлецов, продавших свою родину Австрии. Поэтому я их ненавижу и презираю! К несчастью, им нет дела до моего презрения. Но я надеюсь, они когда-нибудь пожнут плоды своего хамства и подлости.

27 февраля (12 марта) 1918.

Проклятое число! Еще много поколений русских будут вспоминать его с ненавистью и проклятиями. И есть отчего: пока будет жить на свете хоть один русский, он будет помнить, что 27 февраля 1917 года русские погубили Россию!

. . . .

Сегодняшний день мы провели даже спокойнее других. С утра я встала мрачная, но все были веселы, солнце светило так ярко. Все как будто сговорились и почти не вспоминали все то, что связано с этим днем. Мы как-то особенно дружно принялись за "очередные дела". Папа, Боба и Андрей строили курятник на "черном дворе", мы с Татьяной и Ольгой пололи парники и сажали огромные корни "рабарберов". На солнце было просто жарко. Я была в полотняной рубашке и панаме; все были в одних платьях. Изредка громкие выстрелы напоминали нам, что сегодня знаменитая годовщина.

Наша работа была настолько трудна и утомительна, что, вернувшись домой уже после заката солнца, мы с немалым удовольствием уселись по мягким креслам. Зато настроение было какое-то особенно хорошее. Физическая усталость прогоняет усталость моральную. День прошел мирно. Что-то переживали сегодня несчастные москвичи и вообще все те, которые живут в местностях, не занятых немцами? Мы пока верим в то, что нас не убьют, а они ближе к опасности, чем когда-нибудь.

1 (14) марта 1918.

Конечно, то хорошее настроение не могло долго продолжаться. Вчера пришла "Киевская мысль", которую довольно только увидеть, чтобы почувствовать себя плохо. Кажется, пора бы привыкнуть, но прочитанное нами условие мирного договора между Россией и Центральными державами произвело удручающее впечатление. Мы знали,

что лучше это не кончится, но все-таки все были ошеломлены. Эти кошмарные условия, потом сообщения о близкой оккупации Сибири нашими прежними союзниками и все эти истерические выкрики и безмозглые кривляния этой подлой Украины – все это больше, чем можно вынести!..

11 (24) марта 1918.

Все это время мне не было никакой охоты что-нибудь писать. Надо бы было слишком долго останавливаться и думать о том, что происходит, а я малодушно боялась этого. Записывать здесь свои мысли и анализировать свои чувства – невозможно. Я в этом давно убедилась: все выходит как-то неестественно и не так, как я бы хотела, чтобы оно выходило. /.../

Зачем же я взялась сейчас писать? Должно быть, просто по привычке.

Сегодня первый раз, что я сижу днем в комнате, не занимаюсь одним из бесконечных "очередных дел": всю эту неделю все члены нашей семьи приходили только к repas и вечером, когда темнело. День проводили в саду. Наш рабочий день нередко превышает восьмичасовую норму. Мы задались целью превратить наш запущенный сад в культурный оазис. Это будет очень трудно, так как делать приходится все самим.

Как-нибудь другой раз напишу еще. Я повредила средний палец правой руки и он нарывает, так что писать очень трудно и больно.

13 (26) марта 1918.

Ездила в земскую больницу, где Екатерина Ивановна прочла мне лекцию о том, что с непривычными руками нельзя работать, как мы делаем, и вдобавок вскрыла нарыв на пальце пинцетом, что было не очень приятно. К тому же у меня сильный насморк. Жаль, что я совсем не могу писать: есть о чем, а потом будет досадно, что не писала. Но рука болит, а в голове какой-то сумбур. Как-нибудь в другой раз.

25 марта (7 апреля) 1918.

Пока наша жизнь утвердилась и, кажется, прочно вошла в колею. Должно случиться что-нибудь очень серьезное, чтобы нарушить ее однообразное течение.

Время идет очень быстро, потому что мы все заняты с утра до вечера. Целыми днями все работают, делая самые разнообразные вещи, не брезгая ничем; к вечеру устают так, что с трудом добираются до кресел. Это делается и силою необходимости, и по собственному желанию. Ведь недаром Толстой говорил, что счастлив тот, кто устает физически и за этой усталостью забывает страдания нравственные. Я теперь на деле вижу, что это лучшее средство, чтобы забыть все, что творится кругом.

Теперь я не боюсь никакого дела; я почти что отучилась от того чувства, столь знакомого прежде, когда все бывало "лень". Если бы тогда предсказать всю программу нынешних дней, это показалось бы чем-то убийственно утомительным и скучным. Но зато результат нашей теперешней жизни налицо: меньше чем месяц тому назад я чуть не сошла с ума. Если и не совсем так, то все-таки в голове у меня что-то повредилось: я не могла ни на чем сосредоточиться, ни о чем думать, сейчас же являлось ужасное чувство, которое я называю "усталостью мозга", когда самый процесс мышления является мучительной пыткой, когда все противно, все тяжело, все утомляет. /.../ Если сейчас мне лучше, я более здорова нравственно, чем было еще недавно, это можно приписать только благотворному влиянию физического труда и усиленному избеганию чтения газет.

Я и сейчас их почти не читаю и не пишу о политике здесь, хотя это богатая тема для дневника. А писать теперь обо все усиливающихся и увеличивающихся подлостях и гадостях украинцев, об уничтожении стольких несчастных людей в Крыму, в Киеве, Москве, Ростове-на-Дону, только за то, что они "интеллигенты" и "буржуи", о самоубийстве Каледина, о терроре и анархии в центре России, об оккупации стольких областей германо-австрийскими войсками, о поражении союзников на Западном фронте (или, вернее, бывших союзников) – писать обо всем этом и многом другом подобном я, право, не могу! Когда я только думаю обо всем этом, у меня что-то портится в мозгу.

Мы все так же сидим безвыходно за оградой нашей усадьбы, никуда не выходя и никого не видя, кроме друг друга. Сегодня в первый раз с тех пор, как мы тут живем, мы прошлись по нашей Садовой улице. Неприятно. Все кажется, что на нас смотрят с любопытством и насмешкой. Да и правда, на нас смотрят, как на диких

зверей. Внутри нашей ограды чувствуешь себя, как в крепости, – безопасно.

Иногда я мечтаю: как было бы хорошо уехать куда-нибудь подальше, куда-нибудь, где нас никто не знает. Хотя мы сравнительно и счастливы и уж конечно счастливее многих нам подобных, но все-таки жить так долго было бы трудно.

4 (17) апреля 1918.

Раньше никогда не бывало, что писать некогда, что изо дня в день нет ни одной свободной минуты сесть и писать. С утра и до вечера мы на ногах, исполняем все работы, для которых раньше было несколько человек прислуги; садимся только во время разных repas; после ужина, часов в восемь, все наконец добираются до мягких кресел. Тут уж не до дневника. Руки, ноги и спина тупо болят, мозг работает плохо; единственное, что возможно делать, это свернуться в кожаном кресле и читать что-нибудь вроде "Lady Betty across the water" или "Katherine the arrogant".

А писать есть о чем. Уж не говоря о том, что описание нашей теперешней жизни будет со временем интересно – конечно, если эта жизнь не будет продолжаться, а переменится к лучшему, к чему я не вижу никакой возможности. Мы уже давно привыкли только к худшему. /.../

14 (27) апреля 1918.

Конечно, есть о чем писать, но почему-то я совсем не могу. Целыми днями занимаюсь "очередными делами" и стараюсь о другом не думать. Газеты, т.е. отвратительную "Киевскую мысль", читаю мало. Нового ничего не прочтешь: все то же, мерзкое то же.

Совсем непонятно поведение австрийцев и немцев: в оккупированных ими местностях (чуть ли не половина бывшей России) они ничем не проявляются; везде то же безобразие и анархия, что и раньше; те же комитеты, комиссары и советы. Оккупационные отряды ни во что не вмешиваются. Мужики, поджавшие вначале хвосты, опять показывают когти. Недалеко от Могилева два раза были беспорядки; австрийцы ходили туда и два раза были прогнаны.

Вообще их пассивность и неудачи совсем подорвали их авторитет. Тут уже ходят слухи, что уничтожение польских легионов около Немирова – это только начало.

22 апреля (5 мая) 1918.
Первый день Пасхи.

За эти несколько дней все перевернулось для многих, и для нас в том числе. Мы, наше сословие, из людей, находящихся вне закона, вдруг, в один день, опять стали тем же, что были раньше. Мы, которые целый год не могли ручаться, что на следующий день будем живы, мы, которые могли надеяться только на помощь Господа Бога да на свои револьверы с таким маленьким запасом патронов, мы, которые были разорены, втоптаны в грязь, мы, на которых было возведено столько гнусных обвинений и оскорблений в газетах, в речах и на митингах, – мы вдруг стали такими же людьми, как все, т.е. можем надеяться на справедливость, защиту и закон. Все равно, что эта защита и закон исходят от австрийского военно-полевого суда и что пока только они носители порядка и законности. Мы радуемся, что нашелся хоть кто-нибудь, кто взялся защищать нас. Справедливость же заключается в том, что *19 апреля (2 мая) право собственности восстановлено полностью*, т.е. мы вместо разоренных "помещиков", которым скоро пришлось бы голодать, опять превратились в обладателей трех имений, т.е. капитала около 4 миллионов рублей.

Важно даже не это. Это было последнее, что пришло в голову; первое же было то, что и на нашей улице настал праздник, что и мы наконец взяли верх, что наконец-то все перевернулось! Все это интересно, и я постараюсь рассказать по порядку все то, что произошло за это последнее время.

18 февраля мы будем долго помнить: в этот день для нас кончилась революция и началась новая эпоха нашей жизни. Будет ли она лучше или хуже того, что мы уже пережили, – это покажет будущее. Тогда мы, конечно, думали, что пережитое так ужасно, что лучше все что угодно, только чтобы вырваться из этой страшной трясины, на дне которой была верная смерть. С первого дня прихода австрийских войск мы стали надеяться, что все переменится, что настанет порядок, такой "порядок", какого желали мы сами. Мы все ждали, что австрийцы наконец будут выступать активно и прекратят те безобразия, которые творятся кругом. Но время шло, а австрийцы

ничего не предпринимали и ни во что не вмешивались. Комитеты, комиссары, Рада и тому подобные учреждения спокойно продолжали развивать анархию в крае; всякие "вільні козакі", "гайдамакі", "січевые стрельці" и тому подобная рвань все так же "охраняла порядок", как раньше. Ни один приказ не исходил от австро-германских властей; все делалось от имени Центральной Рады, Малой Рады и тысяч других Рад; австрийские части стояли на Украине скорее на положении гостей, а не победителей и завоевателей. Казалось, они умышленно закрывали глаза на все то, что делалось кругом.

Здесь в Могилеве (теперь вообще можно знать хорошо только то, что творится в том городе, в котором ты живешь) скопилось довольно много частей. На улицах, бывало, видно больше австрийских солдат и офицеров, чем местных жителей; на многих домах были вывешены аккуратные дощечки с надписями *«K. und K.»** и т.д., другие – с именами командиров разных частей; по улицам ходили патрули и стояли часовые. А все-таки австрийцы ничего не предпринимали.

Когда я сейчас пишу все это и стараюсь анализировать, что мы тогда чувствовали и чего мы тогда желали, я прихожу к печальному заключению, что все мы очень переменились: весь тот идеализм, который я могу найти на любой странице этой тетради и который жил в сердцах если не всех, то многих членов нашей семьи, кажется, почти совсем умер в нас. Или нет, не умер, потому что иногда, редко, он просыпается с новой силой, но тогда причиняет такие страдания, что я стараюсь, чтобы он лучше умер. Мы слишком много пережили. За такой короткий срок, как три с половиной года, все наше сознание переменилось так, как будто его вывернули наизнанку. Пережить в 1914 году энтузиазм "délirant" патриотического подъема, который к 1915-му и 1916-му году вылился в спокойную, но сильную и горячую любовь к родине, гордость за нее, веру в нее, для того, чтобы пережить 1917 год, с его слабыми надеждами и безграничным отчаянием, и теперь иметь перед глазами картину событий 1918 года, – всего этого слишком много для жизни человека! А мы пережили это в три с половиной года, пережили сознательно, болезненно! Это исковеркало нас, наши души, так же, как большие колебания температуры изводят больного. У меня в голове и в сердце такой хаос, такое разнообразие и противоречие чувств и мыслей, что

---

*) "Kaiserlich und königlich". (Прим. авт.).

я не в силах разобраться в них... Я, которая недавно писала о всепрощении, — я теперь ненавижу, и с радостью буду смотреть, как люди, которых раньше я ненавидела больше всего, — враги моей бывшей родины, — будут давить под своим сапогом тех, которых теперь я больше всего ненавижу и презираю, — моих бывших соотечественников, а теперь еще худших врагов моей бывшей родины. То, что заодно они будут давить тем же сапогом и меня и мне подобных, — это даже не кажется таким важным. Когда что-нибудь болит, тупо, неотступно, тогда хочется трогать больное место, теребить его, как будто этой болью заглушить ту боль. Чем хуже — тем лучше. Я не знаю, испытывают ли другие то же самое? Думаю, что да. Все озлоблены. Все переменились и все желают худшего. Все то, что мы пережили, не могло пройти даром.

. . . .

Я очень отклонилась от того, о чем стала писать. Уж очень скверно на сердце, когда начинаешь думать обо всем этом. Буду писать дальше.

Мы все давно знали, что оккупация неизбежна. Недаром же, еще и до войны, Боба и мы с Татьяной всегда очень интересовались политикой и (иногда и контрабандой) читали газеты. Знаменитый "Украинский вопрос", о котором немало писало "Новое время" и особенно М.О. Меньшиков, конечно, не мог не интересовать нас. Выдуманное австрийской дипломатией движение, которое тогда называлось "мазепинством" и которое имело много приверженцев в Галиции, тогда не возбуждало особенного беспокойства в России. Я до сих пор не верю, чтобы тогда, так же, как и теперь, было хоть несколько идейных украинцев, считавших Россию за врага и желавших слияния с Австрией. Так думали только австрийские агенты. Мы всегда терпеть не могли Австрию и ее политику, слегка смеялись над нею, но зато горячо сочувствовали чехам и так называемым "москофилам" — чехам и галичанам. Имена графа Андрея Шептицкого, Крамаржа и Клофача были нам уже тогда известны. Нет ничего изумительного, что с первой минуты, как заговорили об "самостийной Украiнi", мы увидели, откуда ветер дует. Мы ни минуты не были в числе тех доверчивых людей, которые верили в идейность Грушевского и ему подобных, в то, что Центральные Державы явились на Украине с целью спасти ее от большевиков, облагодетельствовать ее и скромно вернуться обратно домой. С той минуты, как венгерская пионерская рота вошла в Могилев (раньше все еще верилось в возможность чего-то), мы все были уверены, что теперь неизбежна

оккупация, а впоследствии – аннексия. Да, аннексия, это страшное слово, но все данные и логика говорили, что это неизбежно.

Когда 18-го пришли венгры, мы думали, что они наведут порядок; когда "селяне" и вообще "громадяне" испугались, – мы были рады и с нетерпением стали ждать энергичных мер для подавления анархии. С того дня, как прекратилась стрельба на улицах, мы, после режима "Ревкома" и большевиков, вздохнули спокойно. Первое время мы только наслаждались воцарившимся сравнительным спокойствием, наслаждались чувством безопасности, от которого так давно отвыкли. Но скоро этого стало недостаточно. Теперь мы хотели отомстить, или, скорее, чтобы другие отомстили за нас. Мы надеялись, что теперь мы перестанем быть гонимыми и сделаемся тем, чем были раньше. Инертность австрийцев сердила нас. Их разговорам, что они пришли как друзья для того, чтобы насадить культуру и способствовать счастью Украины, мы, конечно, не верили и поэтому приписывали их пассивность недостатку сил.

Первый приказ фельдмаршала Эйхгорна, вызвавший протест Центр. Рады и неисполненный, еще больше убедил нас в этом. Мы изумлялись их глупости, их неумению поддержать свой авторитет, их бесконечному продвижению вперед, когда в тылу оставался целый огромный край в состоянии анархии. Этому последнему мы и радовались, и нет. Опять просыпалось что-то вроде старой надежды, что они зарвутся, что наступит отрезвление, что их заставят отступить; с другой стороны, приходило в голову, что они наши единственные защитники, что, уйди они, нас, все тех же ненавистных панов, повесят на первом дереве.

Когда 17 апреля мы прочли два приказа фельдмаршала Эйхгорна (о слабости власти Рады, о введении германского военного суда за выступления против войск Центр. держав и за уголовные преступления, о запрещении митингов, сборищ, пропаганды и т.д.), мы все обрадовались. Все нормальные люди изголодались по твердой власти, по порядку, будь это хоть власть Эйхгорна. За таким приказом должны были наступить крупные события.

На другой день не пришли газеты, и к вечеру прошли слухи, что Рада арестована германскими войсками. Можно легко себе представить, как заволновались "они" и как злорадствовали "мы". Теперь эти два различные понятия идут по двум параллелям, которые никогда не сойдутся. Что хорошо "им" – плохо "нам", и наоборот. Так будет до тех пор, пока то огромное бедствие, которое маячит пока только на горизонте, поглотит нас всех, заставит забыть

вражду, признать ошибки и покаяться. Имя этому угрожающему бедствию – аннексия.

19 апреля было радостным днем. Мы все были в разных концах нашего сада, когда в него чуть ли не бегом ворвался Крупко, поляк-помещик Хотинского уезда (Бессарабия), с которым папа почти не был знаком. Он нес в руках газету, и все, почуяв хорошие новости, устремились к нему. Татьяны и Ольги не было в саду, но папа, мама, Боба и я окружили его на площадке, усадили и слушали.

Новости правда были хорошие. Волнуясь, дрожащим голосом, старый бедный Крупко переводил прямо с листа польской газеты. Тут мы впервые узнали о съезде хлеборобов, об избрании гетмана, об его грамоте о восстановлении наших прав; впервые за столько месяцев услышали правду из речей тех же хлеборобов о комитетах, выборах в Учр. собр., о милиции, о погромах, о социализации, и т.д. Мы так обрадовались, что забыли главное: что за гетманом стоит Эйхгорн, что есть гетман, избранный хлеборобами, но есть и "дружественные Центральные Державы". Весь день мы все были точно в чаду. Настроение подскочило так высоко, как никогда. Опять готовы были видеть все в лучшем свете. Мама и мы с Ольгой видели в выступлении "хлеборобов" хороший признак отрезвления лучших частей населения. Этот день мы прозвали "праздником 2 мая" (по новому стилю). Вчера, 1-го, праздновали "они", а сегодня – "мы". Rira bien qui rira le dernier.

Вечером того же дня неприятная действительность напомнила о себе самым неожиданным образом, но об этом напишу позже. Во всякое другое время выступление Скоропадского вызвало бы с нашей стороны только насмешки, но теперь? Лучше гетман, чем Рада, лучше генерал-лейтенант Скоропадский, чем Грушевский, лучше диктатор, чем куклы-министры. Тот, который теперь носит громкое название "ясновельможного гетмана всея Украины", бывший Павел Петрович Скоропадский, а теперь Павло Скоропадський, бывший Бобин полковой, потом дивизионный и, наконец, корпусный командир, воспитанник Пажеского корпуса, богатый помещик Волынского уезда. Он "наш". Он, кажется, не особенно умен, но храбрый боевой генерал, имеет все военные награды и к тому же страдает в огромной дозе "mania grandiosa". С каждым повышением в чине он становится все недоступнее; будучи комкором, он был уже что-то вроде китайского богдыхана. После социалистов, Рады и т.д. это будет приятная перемена, и так как власть у него неограниченного самодержца, эта перемена будет не только на словах, но и на деле.

Кто дал ему эту власть и эти права? Вот вопрос, который лучше себе не задавать, если хочется оставаться в хорошем настроении. Может быть это немножко смешно, что Скоропадский, или "Пидзе", стал чем-то вроде нашего самодержца? Раньше это было бы смешно, глупо, гадко, все что угодно, теперь же нет. Я готова признать его за гетмана всея Украины, слушать, как в церкви его поминают на ектенье, и считать его правителем, несмотря на то, что он просто Пидзе. Так хочется, чтобы был приличный правитель, со свитой, со двором, с разными чинами, хотя они и носят украинские названия.

А где же мои украинофобские идеи? – спросили бы услышавшие это. Когда-то я считала самой великой идею всеславянского единства под мощным покровительством России. Когда пришлось отказаться думать о гегемонии славянства над всей Европой, я могла еще утешаться мыслью о мощи и великой будущности одной России. Теперь же не существует не только всеславянская идея, но и сама Россия, "единая и неделимая". Если она когда-нибудь и возродится (что когда-нибудь да будет, хотя я с трудом в это верю) – сейчас ее нет. У меня нет родины. Я говорю это так же, как сироты говорят: "у меня нет матери". Она была и умерла, и самая горячая любовь не воскрешает дорогих покойников. /.../ С`тех пор, как нет России, мне все все равно. С тех пор, как я не русская, мне все равно, чьей быть подданной: украинской, австрийской, или хотя бы китайской. У меня нет родины и никогда больше не будет.

23 апреля (6 мая) 1918.

Что делать? Как жить дальше? Ведь гетман и восстановление земельной собственности – это только временное облегчение. Они не радуют больше одного дня. Как жить после всего того, что мы потеряли? Все старое, все устои, которые казались нам крепкими, а которые на самом деле так ветхи и гнилы, теперь рухнули. Мы остались ни при чем. Мы видим, что были неправы, что старое не годилось, что надо создать новое. Но что новое, и как его создать? Мы бродили в потемках, или по болоту, думая, что идем по богатому лугу; но настал день, мы увидели свою роковую ошибку, увидели, что исправить ее нельзя, что кругом топко, а под ногами смерть. Мы думаем развлечься красивыми цветами, надеемся на постороннюю помощь, но убеждаемся, что гибель все так же неизбежна.

Что осталось нам в жизни? Забота о собственной выгоде? Месть тем, которые сделали нас несчастными? Многие думают так.

Кара за проступки многих поколений наших предков-дворян, за пороки нашего сословия и всего нашего народа, мало-помалу накоплявшиеся, наконец разразилась над нашими головами, снеся все, оставив нас беззащитными и беспомощными. Что можем мы делать против такого бедствия? Как можем мы выйти из создавшегося положения? Шульгин говорил: "Есть положения, из которых нельзя спастись, но из которых всегда можно выйти с честью". Как выйти с честью из нынешнего положения?

Теперь можно, забыв все, спокойно смотреть, как Австрия и Германия поделят то, что раньше я считала моей родиной, сделают ее своей рабой, или еще хуже. Я же буду думать только о своей выгоде, сделаюсь тоже рабой, если это будет мне удобно. Это один исход, только не с честью. Другой – бросить все, семью, которая не переживет этого, бежать в Россию... Зачем? Разве я, я, какая я есть, могу что-нибудь сделать? А если бы и могла, разве кто-нибудь хочет спасения России? Третий исход, это кончить самоубийством, т.е. убить маму и может быть еще кого-нибудь. Будет ли это честный выход из положения?

Я не очень боюсь смерти. Но так же, как больной, которому все дальше откладывают операцию и который от этого все больше боится ее, я теперь больше боюсь смерти, чем тогда, когда она была ближе. Теперь много говорят о том, что каждый обещал (или поклялся) убить своего помещика, чтобы совсем искоренить панов и панство. Будет ли нас кто-нибудь защищать (если и будут, то только те же немцы), или /.../

25 апреля (8 мая) 1918.

На Страстной неделе, в четверг, мы с Татьяной пошли в собор на чтение Двенадцати Евангелий. Мы думали, что всенощная начнется в 6 часов, но опоздали и дошли до собора не раньше трех четвертей седьмого. Войдя, мы были изумлены, что служба еще не началась и вся церковь полна австрийскими солдатами. Мы сели в сторонке и ждали начала. Пришло еще несколько офицеров, между которыми один удивил меня своим странным поведением: это был небольшой человечек в сером кителе, длинных "шассёрах" и с тремя ленточками от медалей; он громко говорил что-то солдатам, ходя между ними, потом прошел в алтарь. Скоро начали собираться прихожане и

началась всенощная. Я совсем забыла про беспокойного офицера, как вдруг получила такой шок, что, наверно, чуть подскочила на месте: перед чтением Первого Евангелия вышел о Василий, за ним другой священник и третий, в нерусском облачении, бритый. Это был тот беспокойный офицер. Мы с Татьяной переглянулись с изумлением. Неправославный священник в нашем соборе? Австриец? Униат? Кто же он мог быть, как не униатский священник, посланный сюда с какими-нибудь целями?

Мне сейчас же пришло в голову про будущую диктатуру Австрии, стремление присоединить Украину к униатской Церкви, и т.д. Самые нехристианские мысли вертелись у меня в голове против этого австрийца.

Первое Евангелие читал о. Василий, второе – маленький черный священник, потом вышел австриец с красным Евангелием в руках. Прихожане переглядывались, даже иногда перешептывались, но вели себя чинно. Униат читал на каком-то совсем непонятном языке; его сильный, высокий тенор, с непривычными для нашего уха фиоритурами, после спокойного голоса о. Василия неприятно действовал на нервы. Физиономия униата, как будто торжествующая и вызывающая, еще больше усугубляла неприятное впечатление. Мы с Татьяной вернулись поздно, всецело под этим впечатлением.

Гетман в своей грамоте говорит, что Церковь на Украине будет православная, хотя и разрешаются все вероисповедания и богослужения. Это, конечно, хорошо, но гетман не вечен, а за его плечами стоит Австрия и Германия. А почему бы за ними не стоять графу Шептицкому? Мне вспомнилась статья в *"Neue Freie Presse"*: "Die ukrainische Frage", которую мы на днях читали, где между прочим было сказано, что единственное, что соединяет Украину с Россией (с Московией, как там говорится), – это религия. Может быть, господа австрийцы постараются разорвать эту последнюю (по их мнению) связь? "Это не может быть, мы не живем во времена Игнатия Лойолы", – говорила на другой день Татьяна. "Да, но мы живем во времена Андрея Шептицкого", – отвечала ей я. Правда, почему бы австрийцам не прислать его в Киев вместо митрополита? Ведь толпа, – быдло, – ничего не заметит.

В субботу на обедне "австрийский поп" был опять, но уже в нашем облачении. (Около нас стояли две древние старухи. Одна сказала другой: "Чи ви бачили австрийского попа?" Оказалось, что вторая не "бачила". Если униат стал бы совершать богослужение один, она бы тоже не "бачила").

К Светлой Заутрене пошли мы все, кроме папы и мамы. И опять униат служил вместе с о. Василием. Первый и второй раз, как я его видела, церковь была полна почти одними австрийцами. Можно было подумать, что он служил для них, хотя это уже довольно странно. На заутрене было всего несколько человек австрийцев, так что при чем тут был "австрийский поп"?

Вчера Красовский говорил, что это хорватский священник, православный. Насколько мне известно, хорваты католики; потом этот крестится двумя пальцами. Наконец, это странно, чтобы православный священник ходил одетый, как австрийский офицер, с короткими волосами, в серой кепке и кителе.* Не думаю, конечно, что нас уже сейчас стараются перевести в унию, но впоследствии – это более чем вероятно. Я не симпатизирую австрийскому священнику, потому что он напоминает мне статью *"Neue Freie Presse"*, Шептицкого, унию и вообще австрийское засилье. Все-таки меня очень интересует, кто этот австриец и зачем он здесь. Пойду нарочно в следующее воскресенье в собор посмотреть, как is progressing уния.

29 апреля (12 мая) 1918.

Вчера досужие обыватели распустили слух, что австрийцы совсем уходят из Могилева; кроны никто не хотел принимать. Потом стали говорить, что австрийцы уйдут, а на их место придут немцы. Мы, вместо того, чтобы верить глупым бабьим сплетням, узнали новости из более верного источника. Андрей пошел поговорить с фельдфебелем, который живет у нас на соседнем дворе с тремя солдатами. Этот "пан Домбровский" (как его называют солдаты), старший райткнехт какого-то Oberst'a живет с нами в самых добрососедских отношениях. Через него Боба и Андрей узнают разные новости. Домбровский сказал, что они, т.е. стоявшая здесь бригада, уходят, а на днях приедет дивизия. Вместо "Landsturm'a" приедет "Standmilitar". Конечно, про немцев – это все глупости. Я надеюсь, что новая дивизия приедет скоро и мы не останемся совсем без никого. Это наводит меня на мысль, что наш никудышный "Landsturm" избавил нас от неприятных переживаний: "курени" (отряды) "вільніх козаків" решили устроить в ночь под Пасху Варфоломеев-

---

*) Как потом оказалось, это был "Feldkurat", т.е. полковой священник. (Прим. 1982г.).

скую ночь (для буржуев, конечно), но поспешили, что и испортило все дело. В пятницу курени "Ивана Мазепы" и "Гетмана Сагайдачного" устроили сборище с целью протеста против избрания гетмана. Тогда австрийские части окружили их и обезоружили. В ночь с субботы на воскресение эти "мазепы" хотели нас перерезать. Еще раз спасибо австрийцам. А все-таки неприятно подумать, что мы ходим по такому вулкану.

Сегодня, когда мы с Татьяной возвращались из собора, опять видели на улице эту "Lumpenreiterei" (хорошее название, данное Домбровским). Надо надеяться, что они не надумают опять нас резать.

Сегодня за обедней не было унии, что очень приятно.

. . . .

Что-то за последние дни опять кто-то и где-то стреляет из винтовок. Это немножко напоминает все прежнее. Когда я подумаю о том, чтобы пережить это опять, – даже в спине делается холодно.

. . . .

В сегодняшней газете сказано, что Корнилов убит. Мне кажется, что это неправда. Сколько раз писали про него всякие глупости, а потом опровергали. Теперь что ни прочтешь, первое, что делаешь, – это не верить. А если и поверишь, то не удивишься. Теперь ничего не удивляет. Если Корнилов убит, то последний русский человек, который мог что-нибудь сделать для России, погиб. Или нет, не мог. Разве кто-нибудь мог не только спасти, но даже немножко помочь России? Теперешняя Россия не нуждается в Корнилове.

2(15) мая 1918.

Корнилов правда убит. В Киеве служили панихиду по генералам Корнилову, Каледину и Духонину, "за честь родины живот свой положивших". Это была панихида и по всей России, по ее чести. Теперешняя Россия не нуждалась в таких людях, как эти три убитые генерала. Им не было места среди сыновей своей родины. Они не могли больше жить, чтобы пережить весь тот позор, который обрушился на нашу голову. Они умерли, и им можно только завидовать. Они "вышли с честью", как говорит Шульгин. Если когда-нибудь опять будет Россия, в ее истории имя генерала Корнилова будет самым славным именем. Потомки будут помнить его с уважением и восхищением. Современники втоптали его в грязь, потом убили

его, видя, что и в этой грязи он чист, как прежде. Горе этим современникам, горе нам всем! Недалеко то время, когда его убийцы первые будут простирать руки хотя бы к его призраку, к призраку его имени, будут призывать его, чтобы он пришел и спас их. Но будет поздно.

6 (19) мая 1918.

Какое-то странное, несуразное положение! После реформы 1-го мая казалось, что все должно перемениться, а фактически почти то же. Гетман ничего не предпринимает; новые министры – личности, совсем не внушающие доверия; их программа – какая-то путаница. На местах "громадяне" волнуются, громко поговаривают о свержении гетмана, об уничтожении нас всех как "врагов свободы", и т.д.; по деревням усиленно работают целые армии агитаторов, натравливающие мужиков на панов, на гетмана и на контрреволюционное правительство. А тем временем немцы и австрийцы все так же держатся в стороне от всего, ничего не предпринимают и будто бы ничего не замечают. Я говорю "будто бы", потому что все-таки не могу себе представить, чтобы они были на самом деле так глупы.

Нечего доказывать, что почти все понимают: Украина оккупируется (хотя это не называется оккупацией) не для спасения "громадян" от большевиков и не для насаждения культуры. Когда-то Босния и Герцеговина были "временно" оккупированы Австрией для "повышения их культурности". Всем понятно, что Рада была посажена и так долго держалась австрийцами только для бо́льшего беспорядка в крае. Им надо было доказать, что Рада не может навести порядок, не может быть той властью, которую желали многие; социализация земли (как мы и предвидели еще несколько месяцев тому назад) вызвала общее неудовольствие среди крестьян-собственников (а в Малороссии нет общинного владения) и вконец подорвала авторитет Рады. При таких условиях переворот был неминуем, а австрийцы сказали, что их "хата с краю" и что гетмана выбрал сам народ. Рада была первой ступенью, гетман и министры-кадеты будут второю. Теперь австрийцы доказывают нам неспособность нового правительства восстановить порядок, так же, как доказывали неспособность старого сделать то же самое. Не естественный ли вывод, что третьей ступенью будет оккупация (ведь порядка все равно не будет), и четвертой – аннексия? Должно случиться чудо, чтобы предотвратить этот конец.

Но почему же теперь австрийцы так инертны? Почему они позволяют анархическую пропаганду, позволяют крестьянам уничтожать посевы (зимние посевы, которые сеяли помещики, очень хорошие в этом году. Яровые же, сеянные "трудовым народом", никуда не годятся. Причина этому – засуха, или то, что сеяли послед, а хорошее зерно гнали на самогонку. Когда мужики прослышали, что земля "вертается до панів", они стали пасти скот на нашей пшенице), позволяют всем носить оружие, позволяют разным мерзким газеткам открыто призывать к восстанию. Может быть, их игра очень тонка, но ведь "где тонко, там и рвется". Наверно, ведя такую тяжелую войну на Западном фронте, они не могут прислать сюда необходимых сил. А может быть также, они не решаются на такой важный шаг, как аннексия такой огромной области? Отсюда те странные действия, та неуверенность, которая сбивает всех с толку и только усиливает беспорядок в стране.

11 (24) мая 1918.

Бедные украинские аграрии! Их настроения колеблются, как огонь при сильном ветре. После неожиданной радости, вызванной грамотой гетмана, еще сильнее чувствуются новые заботы и страхи. Последние несколько дней настроение особенно нервное: все волнуются ужасно. Причиной к этому служит то тяжелое положение, в котором мы все находимся. Никто ничего точно не знает; каждый рассказывает что-нибудь новое от себя, но ничего наверно. В такой обстановке, где все бродят ощупью, наугад, особенно легко распространяются панические слухи. Один расскажет хорошо, а другой еще лучше. Все только расстраивают себя и друг друга. В общем – настроение у всех подавленное.

Вот какая теперь создалась обстановка: те, которые рассчитывали или надеялись, что новое правительство и гетман хоть что-нибудь могут сделать (конечно, с точки зрения приличных людей, а не пролетариев!), водворить хоть какой-нибудь порядок и справедливость, – те жестоко ошиблись. Эти новые люди, как и те первые, оказались или бессильными, или неспособными, или негодяями. Если когда-нибудь были идейные украинцы (чему я не верю), они должны очень страдать теперь: Украина фактически не существует. Это говорят сами министры, гетман и все. Всем заправляют немцы. (Сегодня из Киева вернулся Красовский, и это все его новости). И гетман, и министры сейчас только куклы в руках барона

Мумма, т.е. германского правительства. Без барона Мумма ничего не делается на Украине: Мумм назначает на должности, кого ему угодно; Мумм ведет переговоры с Россией; Мумм диктует законопроекты. ”Да ведь это не новость, – скажет всякий. – Не дальше как на предыдущей странице говорится об аннексии”. Да, это правда, не новость, но тут дело касается не аннексии. Немцы ничего не делают, чтобы восстановить порядок в крае. Напротив, они как будто все делают, чтобы его подорвать. На места назначают лиц с очень нехорошей репутацией (вроде Чарторижского губернским старостой в Киев). Лучшие, более сознательные круги населения волнуются и недовольны, но на это никто не обращает внимания. Все растущую анархию по деревням не прекращают, пропаганда и призывы к большевизму все растут, крестьянам раздается оружие. А немцы как будто поощряют и это, или по крайней мере смотрят на это сквозь пальцы. Министрам даются директивы не отклоняться вправо, а тянуть в левую сторону.

Ходят слухи, что барон Мумм принадлежит к социалистической партии, поэтому и придерживается такой странной программы. Этот последний слух настолько неправдоподобен, что никто ему не может верить. Неужели правительство императорской Германии выбрало бы на такой ответственный пост социалиста? Это, конечно, вздор.

Дальше, Красовский рассказывает, что пока немцы хоть и хозяева положения, но можно подумать, что они долго таковыми не останутся. Они уже ссорятся с Австрией из-за ее слишком самостоятельных действий; хотят прогнать австрийцев из Одессы и южных губерний, а в общем, вследствие поражений на Западном фронте, должны будут уйти с Украины, еще увеличив в ней беспорядки, и предоставить ее власти анархии. В этом всем ясно обозначаются все страхи и ожидания людей нашего круга. Они и злы на немцев за вмешательство в дела даже ненавистной Украины (ведь несмотря на все, к этому еще не привыкли), но они и боятся ухода этих самых немцев. И правда, что будет с нами и нам подобными, если немцы принуждены будут уйти? Агитация против нас ведется с каждым днем энергичнее, значит, с каждым днем мы подвергаемся все большей опасности. Уйди австрийцы хоть на один день из Могилева, не знаю, остались ли бы мы живы. Как ни вертись, тут есть над чем призадуматься. Особенно людям с нервами, измотанными революцией. Ведь все-таки не хочется пройти опять через все то, что уже было, или даже еще худшее. Одним словом, мы не можем желать ухода немцев.

15 (28) мая 1918.

Здешние аграрии вдруг проявили некоторую деятельность: в один день устроили общество "хлеборобов" (идиотское украинское название); съезд хлеборобов выбрал гетмана в Киеве и трех делегатов в Киев (нашу "державную столицу"). Члены этой организации имеют право быть выбранными в будущие "земельные комиссии", которые будут проводить на местах будущий земельный закон. Правда, кажется, никто не верит, что все это "будущее" когда-нибудь будет приведено в исполнение. Правительство ломает комедию, чтобы как-нибудь провести время.

Могилевские аграрии ужасные рамолики: инертность и отсутствие инициативы – прямо изумительны. Единственный энергичный человек – бывший Илья Эдуардович Лисснер, а теперь Doktor Elias Lissner, – проявляет кипучую деятельность. Он вечно проводит время среди австрийских офицеров, наверно, выдает себя за немца и очень ловко устраивает свои дела. Наши хлеборобы очень хотели, чтобы делегатом на съезд ехал папа, и когда он отказался, стали просить Бобу. Но и он тоже отказался. Кроме всего остального, глупо ехать в Киев и ломать из себя какого-то украинца, говорить речи вроде барона Мумма, про "юную украинскую державу", про "великое будущее Украины и ее высокоталантливого народа", и т.д.

Заседания аграриев злят местных пролетариев, что хорошо, и заставляют всех помещиков делиться новостями, что еще лучше. Оттуда мы узнаем подпольные известия, которые, конечно, не попадут в доблестную "Киевскую мысль". Все говорят, что оккупация будет на днях. Я не знаю, как называлось до сих пор пребывание в пределах "Украіньской державі" наших новых друзей (у нас уже давно все только "друзья" и "товарищи"). Если это официально не называется оккупацией, то на деле это оккупация в силе, по крайней мере в тех районах, где стоят германские, а не австрийские войска.

Конечно, если смотреть на дело с точки зрения речей барона Мумма, все может казаться великолепным, но на то и существуют умные люди и дипломатия, чтобы говорить одно, а думать и делать как раз обратное. Немцы и австрийцы с каждым днем ведут себя увереннее и нахальнее. Да и как может быть иначе в завоеванной стране?

На днях тут был крупный скандал: около Ямполя (30 верст от Могилева), в селе Качковке, мужики решили обезоружить австрийцев. Собралось 4 деревни, которые пригласили еще жителей Бессарабии из-за Днестра; весь этот сброд, вооруженный пулеметами и, кажется, одним орудием, пошел на Ямполь. Австрийский гарнизон

дал знать властям в Бессарабии, указывая на выступление румынских подданных. Румыны выставили батарею, обстреляли Качковку с той стороны Днестра, после чего австрийцы разогнали качковцев и подожгли деревню; в Качковке сгорело 150 дворов; в других меньше; пострадала и Дзиговка, имение Ярошинского.

Вся эта история – последствие пропаганды, которая ведется против помещиков и их защитников – австрийцев. Бывший министр внутр. дел (из Рады) Ковалевский недаром унес с собой 5.000.000 рублей на пропаганду. В соседних селах вся эта история произвела должное впечатление: "громадяне" немного поджали хвосты. Предполагавшееся такое же выступление в Шаргороде, против Могилева, не состоялось. Третьего дня тут расклеили объявление австрийского коменданта приблизительно такого содержания: скот, пасущийся на посевах, – реквизируется; тот, кому он принадлежит, пойманный на месте – расстреливается; если хозяин скота скроется, и будет доказано, что скот принадлежит ему, его посылают на каторгу (куда? разве только на принудительные работы в Германию?).

Этот приказ слишком энергичный и, конечно, исполняться не будет.

Нас все пугают, что в Австрии не сегодня-завтра вспыхнет революция. Не знаю, можно ли этому верить. Вот было бы удовольствие пережить вторую революцию!

19 мая (1 июня) 1918.

Хотелось бы писать почаще, но нет ни минуты свободного времени. Надо будет хоть раз описать день из жизни опальных аграриев в "реакционной Украине". Правда, они скоро перестанут быть опальными. Недаром "Киевская мысль" вопит каждый день (в каждом номере бывает одна, или иногда даже две статьи, все об одном и том же вопросе), что контрреволюция в лице земельных собственников, промышленников и хлеборобов угрожает пролетариату и всем "завоеваниям революции". Забыли только такой модный несколько месяцев тому назад "нож в спину революции". "Киевская мысль" имеет основание беспокоиться: буржуи правда подняли голову. Из всего кабинета министров одним из самых деятельных оказался министр земледелия – Колокольцев. Он хоть кое-что делает: устраивает "земельные комиссии", проводит законы о посевах, арендах и т.д. Пока его меры для нас удобны, а это, конечно, злит товарищей. В министерстве бастовали все служащие, за что 200 человек

были уволены со службы. Озимые посевы, которые сеяли мы, – все наши; яровые – их, или пополам, за возмещение убытков; подати, за это время, платят они. Тут уже пущен слух, что на днях в Могилев прибудет специальная австрийская комиссия, с генералом или полковником во главе, которая будет водворять по местам помещиков, а противящихся этому крестьян судить военно-полевым судом. Правда, это слух Федосея Ильича Богудского, значит, к нему надо отнестись осторожно.

21 мая (3 июня) 1918.

На днях отряд австрийцев оцепил Броницу и Катериновку, с целью отобрать оружие. Обыскивали, кажется, не очень энергично, но все-таки "громадяне" испугались и даже перестали пасти скот в парке, на время, конечно.

Хотели обезоружить не только одну Броницу, конечно; по словам здешних аграриев, такие же отряды были и в других деревнях. Три дня тому назад и здесь, в Могилеве, по нашему кварталу ходили австрийские солдаты и говорили, что к 9-ти часам утра (у нас они были в 7 часов) все должны сдавать оружие в комендатуру. Не знаю, сделал ли это хоть один обладатель винтовки или револьвера. Если и сделал, то должен был очень торопиться. Мы узнали об этом распоряжении только часам к десяти; потом чуть ли не весь день прошел в спорах: что предпринимать? У нас в доме много оружия: два австрийских карабина по новейшей системе и 6 револьверов разных фабрик и калибров. Отдавать их мы, конечно, и не думали. С другой стороны, если предупредили о сдаче, за этим последует обыск, это ясно. Спрятать оружие и рисковать, что его найдут, было бы более чем глупо. Разрешений от местных украинских властей мы не брали, да может быть комендант Вовк и не дал бы разрешения князю-помещику. А никому так не надо оружие, как помещику, который каждый день может ждать к себе толпу своих соседей-крестьян, совершенно обезумевших от усиленной пропаганды последних времен. Боба усиленно ратовал за то, чтобы пойти к австрийскому коменданту, рассказать, в каком положении мы находимся, и просить разрешения на оружие. Мама стояла за это, и мы тоже, но молча. Один папа был страшно против этого плана. Правда, что этот план был единственной возможностью. К этому заключению и пришли, и в 5 часов Боба с Андреем пошли к коменданту.

Их принял какой-то Hauptmann, хотя и вежливо, но очень холодно и официально; говорил, что разрешений на оружие они не выдают, что надо обратиться к украинским властям, и т.д. Наши объяснили, почему они этого не могут сделать. Когда они назвали свою фамилию, обращение австрийцев изменилось: они стали любезны в высшей степени. Один Ober-Leutnant совсем очаровал их своей любезностью и готовностью, с которой бегал из комендатуры (в гостинице "Бристоль" на Владимирской) к коменданту бригады (генералу Meisel' ю на Армянскую), чтобы устроить им эти бумажки. Пока они сидели у этого лейтенанта (его фамилия Klimm), принесли бумагу из Броницы (там есть пост из шести Feldgendarm' ов) с известием о каком-то очередном скандале: два еврея хотели застрелить третьего. Боба между прочим сказал, что Броница – имение его отца. Андрей и Боба вернулись совсем довольные: после стольких месяцев было очень приятно иметь дело с приличными европейцами.

Разрешение на оружие выдали временное, т.к. все-таки надо ломать комедию с комендантом Вовком. Австрийцы говорят о нем с презрительной улыбкой (он просто солдат), но утверждают, что они здесь "als Gäste". Чтобы нашим не надо было ходить к этому "товарищу коменданту", австрийская комендатура от себя пошлет к нему предложение выдать разрешение таким-то, потом эту бумажку подпишет тот австрийский чин, который этим заведует (без такой подписи бумажка недействительна), и разрешение, совсем готовое, будет передано Андрею и Бобе.

25 мая (7 июня) 1918.

Я сегодня на привилегированном положении: вчера еле ползала весь день, но так как болеть теперь нельзя, – все руки на учете, – я все-таки гладила белье и доила коров; вечером мне сделалось совсем нехорошо: озноб, жар, ужасная головная боль. Сегодня у меня ноги и руки совсем слабые. Делать все равно ничего не могу; поэтому сейчас – хотя 12 часов, самое время для "очередных дел" – я сижу, как подобает "проклятой буржуйке", в беседке, на нашем хорошем плетеном кресле из Rheinfelden' а, и ничего не делаю, т.е. пишу дневник. Последнее время у нас один за другим заболевает такой инфлуэнцей. Хотя это и крайне безобидная форма, но все-таки чувствуешь себя скверно. Теперь особенно неприятны разные заболевания, потому что в городе страшно усиливается эпидемия тифа, брюшного и, главным образом, сыпного. Можно

подумать, мы живем в какой-нибудь готтентотии, где еще возможны эпидемии такой болезни, как сыпной тиф.

Австрийское командование устроило санитарную комиссию для оздоровления города, но городская Дума очень на это обиделась (такие меры, как чистка улиц и усадеб, оскорбляют граждан) и решила протестовать. Не думаю, что на этот протест кто-нибудь обратит внимание.

. . . .

Если официально еще не была объявлена оккупация, практически она уже существует. В Киев прибывают все новые чины высшего германо-австрийского командованья; гетман и министры все больше отходят на задний план. В Одессе назначен генерал-губернатор фон Бельц. Хотя еще вчера мерзкая газетишка "Подольская мысль", которая недавно стала издаваться в Могилеве, писала, что фон Бельц только генерал-губернатор для войск (чин и звание, придуманные "Подольской мыслью"), но сегодня опубликован приказ генерал-губернатора, который разочарует г.г. редакторов и сотрудников этой достойной газеты. Приказ этот "гражданскому населению Подольской и Херсонской губернии и города Одессы" гласит, что преступления (следует длинный перечень) вроде убийств, поджогов, порчи чужого имущества, растрат и т.п. – подлежат наказанию императорско-королевским австро-венгерским военно-полевым судом. Украинский же суд будет ведать проступками, не входящими в этот список (украинскому суду остается не очень широкая деятельность). Этот приказ очень касается и нас: мы укрываем у себя, под видом швейцарских подданных, двух немецких солдат, эльзасцев: наших Edmond и Edouard. Они ненавидят "les boches" и гордятся тем, что они дезертиры; они не сомневаются, что Эльзас и Лотарингия отойдут к Франции и что Германия будет разбита. Edmond хорошо говорит по-французски, а Edouard знает только несколько слов. С ним надо объясняться по-немецки. "Ich kenne nicht die Sprache, doch bin ich französisch gesint", – говорит он. Это народ, который имеет будущее. Сколько бед придется пережить Украине, чтобы ее население стало такими же сознательными патриотами. Через сколько-то десятков лет украинцы будут говорить: "Ich kenne nicht die Sprache, doch bin ich russisch gesint"?

31 мая (13 июня) 1918.

Сегодня праздник — Вознесение, поэтому мы сидим по удобным креслам и делаем, что кому нравится. Я сижу в нашей с Ольгой "буржуазной" спальне и пишу. Уже несколько раз я писала, что писать часто у меня нет времени, но ни разу не написала, как проходит мое время, как мы живем с тех пор, как попали в Могилев, т.е. эти последние пять с половиной месяцев. Мне хочется написать об этом теперь. Ведь о жизни французских дворян во время революции пишут целые книги. Если наш образ жизни когда-нибудь переменится к лучшему, воспоминания об этих месяцах будут скорее забавными.

. . . .

Первые дни после нашего переезда из Броницы на Садовой ул. №16 был ужасный хаос. Усадьба, купленная папой за 5 месяцев до разгрома Броницы, или, вернее, две смежные усадьбы, соединенные в одно, представляла собой около десятины земли с большим каменным двухэтажным домом (один из самых хороших домов в Могилеве), каменным флигелем и прекрасными каменными надворными постройками. В июле прошлого года еще не было модно, чтобы все окрестные помещики покупали дома в Могилеве. Все более или менее спокойно сидели по имениям, или не веря в возможность погрома, или, как фаталисты, спокойно ожидая его. Я помню тогдашнее настроение: мы знали, что нас разгромят, знали, что это неизбежно, но все казалось, что это будет не сейчас. В теории мы ждали погрома, а на практике не верили в возможность его. И оставались спокойны.

Когда папа говорил о необходимости купить дом в Могилеве, чтобы "на всякий случай" иметь пристанище, нам казалось, что жить в этом доме не будет необходимости.

В течение одного месяца папа купил и перепродал несколько усадеб, пока, после разных трудных комбинаций, не остановился на этой. Что цены тогда были сравнительно умеренные, видно из того, что эта усадьба стоила 48 тысяч. Теперь ее оценивают в 200. Тогда все продающие сразу спохватились: уж если кн. В. из Броницы покупает дом, значит, тут можно нажиться. С тех пор цены росли не по дням, а по часам, тем более, что все помещики бросились покупать дома. Мы еще жили в Бронице, когда Крупенский из Бессарабии предлагал папе продать усадьбу за 80 и даже 100 тысяч.

Перед тем, как мы должны были переехать, дом был необитаем: в верхнем этаже жил вот уже три года некий судебный пристав,

Полиевкт Модестович Звоницкий. Если в Могилеве произнести это имя, вам скажут: "Это тот, который..." – и расскажут что-нибудь неприятное. Его знали все как самого несимпатичного и неприятного человека. Я не буду о нем распространяться. Скажу только, что он нас возненавидел. (Кажется, он сам хотел купить этот дом). Он делал все возможные неприятности. Разговаривать с ним было нельзя: он сейчас же начинал говорить грубости. Три года он жил полным хозяином усадьбы, не платя ни гроша за квартиру; никакая прислуга не жила у него больше нескольких дней; кроме других качеств – скупость его отличительная черта. Вот с каким квартирантом мы купили дом.

По закону Временного правительства, домовладелец не может выселить квартиронанимателя. Таким образом, весь верхний этаж, 5 больших комнат и кухня, был для нас недосягаем. Нижний был в ужасном виде: квартиру занимал др. Пинкославский, который три года тому назад запер и уехал в Киев. Весь нижний этаж заражен злокачественным грибком, который совсем уничтожает дерево. Можно себе представить, в каком виде были полы, когда после усиленной переписки с доктором открыли его квартиру. Вместо полов были одни развалины, хорошие паркеты были совсем уничтожены, мебель, даже двери, – все было подъедено.

Папа энергично принялся за дело: из Броницы приехали австрийцы-плотники, тогда еще военнопленные. Они перенесли вещи доктора в одну комнату и принялись чинить другие. Остатки досок сдирались, настилались новые, вершковые, и сверху накрывались линолеумом из Броницы. Начали эти работы за неделю до нашего переезда. В вечер нашего бегства были готовы две комнаты; на другой день кончили третью. Таким образом, в нашем распоряжении было три комнаты с новыми полами, в которых поместились папа с мамой в одной, Татьяна с Нудичкой в другой, а мы с Ольгой в третьей; две с более или менее сносными полами (несколько раз приходилось чинить все растущие дыры), в одной из которых мы сложили вещи, привезенные из Броницы, а в другой (бывшей кухне) устроили столовую; наконец, флигель, где в двух верхних комнатах поселились Боба и Андрей. В двух нижних устроили кладовую и поместили прислугу. В такой тесноте мы прожили 5 месяцев.

Неделю тому назад папе удалось столковаться с приставом, дать ему 2000 с лишним и выселить его из верхнего этажа. Теперь мы заняли весь дом, кроме двух комнат, которые тот же пристав сдал одному бессарабскому помещику, Крупко, которого мы, как нашего брата-"буржуя", не хотим трогать и предоставляем ему

пользоваться нашими комнатами. Теперь мы устроились с такими удобствами, от которых уже почти отвыкли. Эти 5 месяцев мы только мечтали о возможности занять весь дом и все надворные постройки, не видеть пристава, его жену, корову, кур и мальчишку Дениса, который особенно намозолил нам глаза; не видеть разных темных личностей, которые все время таскались по делам к приставу; наконец, поселиться в больших, светлых верхних комнатах с таким хорошим паркетом.

Три дня тому назад наши мечты осуществились. Выпроводив пристава, мы, боясь реквизиции пустых комнат австрийцами, в тот же вечер перенесли часть вещей и заняли квартиру. Сейчас я сижу в лучшей из комнат, нашей с Ольгой спальне, и с большим удовольствием смотрю на ее приличный вид.

3 (16) июня 1918.

Вчера в Могилеве был 1-ый съезд хлеборобов, с участием помещиков и крестьян, конечно. Все последнее время наши "хлеборобы" (т.е. несколько помещиков, которые под предводительством Лисснера собирались в "буржуазной" цукерне) были очень деятельны. Я почти не знаю помещиков нашей губернии, но по рассказам других могу судить, что это за мрачная компания. В ней преобладают поляки, а так как всем известно, что славяне никак не могут столковаться между собой, среди помещиков идут бесконечные споры, а дела они почти никакого не делают. Вот уже почти месяц, что существует общество хлеборобов, а в сущности ничего не сделано. Если бы не наш Василий Владимирович Красовский, пожалуй, ничего бы не вышло из хлеборобов. Он человек энергичный, живой, деятельный и, главное, интересующийся этим делом. Из других только папа и барон Притвиц — настоящие паны. Если бы папа захотел, он смог бы устроить там по-своему, что было бы очень хорошо. Правда, что папа действует в полном контакте с Красовским, что бесит Лисснера и Богудского (который просто разбогатевший мужик, темная личность и, кажется, глуп).

26 июня (9 июля) 1918.

"Пойди посиди в беседке! Полежи на диване! Не уставай! Отдохни! Выпей молока! Прими облатку! Не делай этого, тебе нельзя..." – и многое другое в том же роде Татьяна и я слышим каждую минуту в течение дня. Да, за этот промежуток, пока я не писала, многое переменилось. Еще несколько дней тому назад я была тем же, что и раньше: работала целыми днями, все делала. Теперь я ничего не могу делать.

Начала Татьяна. Уже давно она кисла, страшно похудела и ослабела. Нас и раньше было мало работников по дому: Ольга уже давно готовится к экзаменам и не может нам помочь. Осталась мама, которая так переутомилась, что еле ходит; Нудичка, которая была больна и долго была так слаба, что я думала – она сляжет; я, которая уже давно делаю все через силу. Когда Татьяна слегла, я уставала еще больше, но не обращала на это никакого внимания, по старой привычке будучи уверена, что со мной ничего дурного случиться не может. (Эта так называемая "моя система" в ходу у меня уже три года. Она заключается в том, чтобы не обращать внимания на мелкие болести и говорить себе, что я не могу ничем серьезно заболеть. Эта "система" оказалась великолепной: с тех пор, как я ее придерживаюсь, я ни разу не была больна). Когда наконец мама позвала к Татьяне доктора, он сказал, что "есть небольшой процесс в правом легком".

Бедная мамулечка! Мудрено ли, что и она, и папа, и я, и Нудичка пришли в ужас. С тех пор, как заболела Наташа, и после ее смерти, т.е. вот уже 14 лет, над нами как проклятие тяготеет страх перед каким бы то ни было легочным заболеванием. Об этом у нас никогда не говорят, но разве я не знаю, что Татьяна, а отчасти и я, – это вечный страх для бедной мамулечки. Ведь кроме всего остального, у нас почти все родственники, с папиной и маминой стороны, умерли от туберкулеза.

Татьяну положили в постель, стали усиленно кормить всем чем могли повкуснее, стали делать впрыскивания мышьяка. А тем временем я чувствовала себя все хуже: с утра я вставала усталой, с повышенной температурой; днем с трудом заставляла себя двигаться, и оживала только к вечеру, когда небольшой жар поддавал мне энергии и силы. Через несколько дней приехавший к Татьяне доктор выслушал и меня и нашел катаральное состояние обоих легких и худшее состояние их, чем у Татьяны. "Вам надо больше беречься, чем вашей сестре", – говорил он мне.

Это известие меня не огорчило, а наоборот, скорее обрадовало: с той минуты, как я узнала, что у меня не только то же самое, что у Татьяны, но еще хуже, я перестала бояться за нее. То, что я чувствую, – не страшно. Пока я думала, что я здорова, я боялась туберкулеза Татьяны. Для меня я не верила в возможность получить эту болезнь, потому что "а мне-то что делается?" – как я всегда отвечала на все предупреждения. Наконец, "катаральное состояние легких" не есть обязательно туберкулез. Может быть, не пройдет и месяца, как мы будем здоровы. У нас на эти темы не разговаривают, как я сказала уже раньше, поэтому я рада, что могу хоть здесь поговорить об этом. Может быть 23.6.1918 года все изменилось для меня и для Татьяны. Пока я этому не верю.

1 (14) июля 1918.

А ведь я была бы рада, если кто-нибудь сказал бы мне, что скоро я умру. (Только не насильственной смертью, конечно). В жизни ничего не интересно, все противно. Жить дальше не хочется. Ничего больше не радует и не печалит.

Сегодня мы узнали о страшном поражении австрийцев на Пиаве и в Албании, об уводе эшелонов войск с Украины, о революционном брожении в Австрии, о реакционном движении в Москве, о воззвании Гучкова. Слухи обо всем этом ходят уже давно, но наверно мы ничего не знали. Киевские газеты закрыты уже давно, австрийские же мы еще не выписали. Сегодня все эти известия подтвердились. Казалось бы, какую волну радости, надежд и беспокойства должны были они всколыхнуть, хотя бы в нашей семье?.. Пробуждение России, восстановление монархии, разве это не наши же собственные дорогие мечты? Почему же никто не встряхнулся от радости при этом известии, никто не вспомнил свои былые лучезарные мечты? Потому ли, что мы отвыкли верить во что-нибудь хорошее, потому ли, наконец, что это известие, этот плюс уничтожается другим минусом, который слишком близок, чтобы не произвести своего неизбежного впечатления? Австрийцы уводят с Украины войска, т.е. "мы" остаемся без единственной защиты, за которой мы прожили в безопасности четыре с половиной месяца. Пребывание или уход австрийцев – это почти наверно вопрос жизни и смерти для нас. Наше положение здесь, вследствие возвращения нам земель, т.е. огромной ненависти против нас крестьян, ненависти, разожженной бессовестной агитацией, будет совсем невозможным, если

единственное сдерживающее начало этой ненависти – австрийцы – уйдут из Могилева. Если раньше, при режиме немцев, могли случаться такие вещи, как восстание в Звенигородском и Таращанском уездах (Киевской губ.), что же будет тогда?

Плохо ли с моей стороны уделять больше внимания второму вопросу, чем первому? Сегодня Ольга яростно нападала на меня, громя за отсутствие патриотизма. Я говорила, что не чувствую теперь ничего кроме ненависти к русскому народу, к моим соотечественникам, за то, что они уничтожили бывшую великую Россию, ту Россию, которую я любила и которая была моей родиной; к теперешней России, опозоренной, осмеянной и презираемой всем миром, я не могу чувствовать любви; пускай мне вернут ту Россию, которую я любила, тогда я буду считать ее опять моей родиной. Ольга возражает что-то о том, что она не верит в мой патриотизм, что это во мне говорят мои собственные затронутые интересы, "дом на Садовой", и что-то еще запутанное и несуразное. Андрей, такой скрытный, изумил меня своими спокойными, сдержанными, но видимо глубоко прочувственными словами о своей готовности отдать все и самого себя на создание прежней России. Он упорнейший из нас всех монархист и консерватор; он не сделает ни на шаг уступки влево. Но я рада видеть, что при этом он и патриот. В этом отношении мы все так еще мало знаем Андрея.

Что касается до меня – революция меня доконала: нравственно я стала каким-то уродом, которому все равно, что кругом делается; физически... ну, да, это, впрочем, не так важно. Меня больше огорчает то странное состояние апатии и равнодушия ко всему, в котором я сейчас нахожусь. Это что-то ненормальное и уродливое. Утешать себя тем, что это пройдет, что потом можно начать жить сначала? Да разве это утешение, когда я не верю в возможность этого нового начала? Да я и не хочу этого начала. Я не хочу жить. Жизнь мне противна и неинтересна. Я уже и сейчас так устала! Я ничего особенного не требую от жизни. Ни особенного счастья, ни веселья, которым так широко пользовались девушки нашего круга до революции и войны; ни богатства, ни роскоши, – ничего того, что должно было мне дать раньше мое положение в обществе. Я хочу только заслужить право со спокойной совестью уйти из этой жизни, к которой сейчас я чувствую только отвращение. Я не хочу жить. Да простят мне те, которые меня любят и которые когда-нибудь могут прочесть это здесь. Сейчас я хочу отдыха и покоя. Покоя тоже нравственного. Как мне найти опять ту радость жизни духовной, которая всецело владела моей душой несколько месяцев тому назад? Где он, этот

Свет Незримый, к которому сейчас так безудержно рвется мое сердце? Ощутить Его в себе, как раньше, осветить, согреть свою душу и сердце, мне больше ничего не нужно. Я так устала!

2 (15) июля 1918.

Это скверный эгоизм, что я написала выше. Временное нездоровье и слабость приводят меня к таким мыслям. Я хочу умереть, но я искренне упрекаю себя за это. Конечно, кто умер, тот счастлив, но каково остающимся? Я не знаю, чего мне хотеть. Все так сложно и тяжело теперь.

. . . .

Теперь, если собираются несколько членов нашей семьи и начинают говорить серьезно на злободневные вопросы, всегда кончается разногласием. Как, например, сегодня вечером. Мы сидели в беседке в темноте и разговаривали: папа, мама, Татьяна, Андрей и я. Боба уехал в Умань по делам Коржевого Кута, а Ольга зубрит наверху. У нас разговор зашел о Бронице, о нашей будущей жизни; обсуждали вопрос, возможно ли будет в скором времени вернуться в Броницу, отстроить дом и вообще зажить по-старому. Папа страшно озлоблен против мужиков и не допускает и возможности вернуться в Броницу и жить там, как прежде. По его мнению, Броница, Старостинцы и Кут – это отныне только способ к добыванию средств для жизни, а не те имения, в которых так хорошо жилось прежде. Жить же надо подальше от всего этого, ”у теплого моря” или в ”интересных городах, где можно посещать театры, лекции, видеть людей”, и вообще выбрать жизнь по своему вкусу. Наконец, можно иметь и собственный кусок земли где-нибудь в более культурных странах и устроиться там так, как того просят наши земледельческие привычки. Одним словом, свет не сошелся клином на Подольской и Киевской губерниях. Это все теория папы, энергично поддержанная Андреем и, кажется, Бобой. Мама очень против этого. Оставить Броницу *навсегда*, совсем отказаться от мысли жить там – это невозможно. Жить всегда за границей, не иметь родины, не иметь своего родного, любимого угла, – так не проживешь всю жизнь. Мамулечка находит, что надо сделать все возможное, чтобы завоевать обратно Броницу и возможность жить там по-прежнему. Мы с Татьяной за это же. Разве Ривьера или Италия заменят нам Броницу?

Конечно, все эти разговоры и предположения ничего не значат. Разве человек может загадывать надолго вперед? Я почему-то ничего не могу принимать горячо к сердцу сейчас. Только иногда мною овладевает такое чувство – не горя, не скуки, а чего-то другого, так что даже душа болит почти физической болью. Это похоже на предчувствие чего-то плохого. Человеку всегда грустно, если неминуемая судьба заставляет его бесповоротно перевернуть страницу в его жизни. Один раз мы уже перевернули страницу, 27 февраля 1917 года, и это было тяжело, а второй раз перевернули ее 16 декабря того же 1917 года, и это было больно. Но только теперь мы начинаем сознавать всю тяжесть этой перемены. Вот почему у меня сердце сжимается каждый раз, когда разговор заходит о планах нашей будущей жизни.

4 (17) июля 1918.

Так как мы с Татьяной находимся теперь на положении больных, то должны целыми днями пить молоко и после обеда лежать по два часа в кровати. Сейчас я лежу, а рядом на своей кровати прикорнула бедная Ольга, которая совсем умаялась со своими приготовлениями к экзаменам. Мне очень мешает писать австрийский оркестр, который целыми днями играет против нашей усадьбы на другой стороне речки. Теперь он начинает в 8 часов утра и играет с перерывами практически до одиннадцати; продолжает от двух до четырех и раза три в неделю играет для увеселения публики в городском саду, (который тоже против нас через речку), от половины восьмого до половины девятого вечера. Таким образом, мы его слышим целыми днями и так к этому привыкли, что, если идет дождь, или по другой какой-нибудь причине оркестр не играет, нам кажется, что чего-то недостает. Оркестр очень хороший и играет много серьезных вещей, даже Листа и Вагнера.

Вообще, как мирно мы живем по сравнению с другими нашими соотечественниками. Хотя все "буржуи" ходят последние дни мрачные и рассказывают друг другу, что в Австрии уже революция и что отсюда уходят войска, но потом развеселяются, потому что стали получать кое-какие деньги, от чего люди, нам подобные, отучились за последние полтора года. Мы получаем деньги за те участки земли, которые папа продал крестьянам в Старостинцах еще до революции. Аграрии встречаются в банке, куда несут свои деньги, и советуются, что лучше: переводить за границу, или там, т.е. в Австрии, тоже опасно?

Здешние аграрии в общем ужасные паникеры и крайне несимпатичные личности. В так называемом "обществе хлеборобов" верховодят всем темные элементы вроде Лисснера; занимаются больше интригами, чем делом. Всячески стараются вытеснить из общества Красовского, хотя он единственный симпатичный человек из них всех.

Вчера тут был немец, который дает уроки нам всем, и Андрей спросил его, не слыхал ли он чего-нибудь об уходе австрийцев? Тот сказал, что только что говорил об этом с одним офицером, который клянется, что как бы плохи ни были дела австрийцев на фронте, они не уйдут с Украины, потому что это будет значить голод для Австрии, а они рассчитывают пробыть здесь минимум шесть лет. Почему уж не сказать сразу 12 или 20 лет? Сейчас дела Австрии настолько пошатнулись, что уж лучше ей не загадывать вперед хотя бы на 6 лет. После жестоких сражений в самой Вене, начавшихся на почве голода и приведших, как всегда, к критике правительства, — как бы после всех этих неприятностей Австрии ни пойти по нашим блистательным стопам.

А тем временем на востоке и севере совершаются события немалой важности: англичане, французы, сербы и японцы высаживаются на Мурмане, с твердой решимостью не дать Россию в лапы немцев (и взять ее в свои? Не знаю, что будет лучше). В Сибири, на Дону идет отрезвление от преступной красной горячки большевизма. Может быть, мы еще увидим, как сами русские, а не державы Согласия или Союза коронуют себе монарха и создадут новое государство? Если вообще стоит жить на белом свете, то только в ожидании этого момента.

17 (30) июля 1918.

Только сегодня я встала после неприятной дозы "испанки". Андрей и Ольга еще лежат. 11 июля, день Татьяниного рождения и Ольгиных именин (наш главный летний праздник), мы позвали гостей и устроили парадный чай. Были Красовские и М.М. Крупко со своим Никодимом и Стеней. Чай прошел слишком оживленно: все так громко разговаривали, что у меня страшно разболелась голова. После чая все солидные люди ушли в беседку, а мы пошли гулять на Шаргородскую гору. Лезли напрямик по склону; с горы такой красивый вид на долину Днестра и на Могилев. Вернулись около восьми, хотя и усталые немного, но веселые.

В тот же вечер я заболела, потом через два дня Ольга, а вчера и Андрей. Сама болезнь очень была неприятная: высокая температура, сильное горлоболие, а теперь страшная слабость. Правда, я не обращаю на это внимания, поэтому оделась и хочу идти вниз. Сейчас Татьяна для нашего увеселения накручивает граммофон у Крупок, открыв к нам дверь. Я пишу под звуки "Aufzug der Gäste auf Wartburg" из Тангейзер'а, II Венгерской рапсодии Листа и других вещей. Это очень приятно.

На днях в Григоровку поставили отряд из 22 австрийцев под командой прапорщика. Они охраняют 5 сел: Броницу, Григоровку, Ротмистровку, Грушку и Слободку; охраняют посевы и то, что осталось от панских усадеб. Прапорщик симпатичный и деятельный: каждый день ездит на Марушке (старой белой кобылке, которую ему дал папа) в парк Липники (это наш лес), гоняет оттуда скот и стращает аборигенов. Они теперь еще больше чем когда-нибудь желают отправить нас на тот свет за то, что мы привели туда австрийцев. Мне все равно. Ведь как ни старайся, не убедишь их, что это не помещики позвали австро-немецкие войска на Украину.

Последние дни тут особенно усиленно толкуют о скором нападении крестьян на город. Бедная Крупко, которая вообще трусиха ужасная, трясется и совсем несчастная от страха. У австрийцев тут есть всего 4 тысячи человек, из которых одна часть разбросана по уезду, другая часть днем ходит патрулями вне города и возвращается на ночь; и 2 тысячи постоянно сидят в городе. Конечно, это совсем ничтожное количество. Беспорядки предполагаются в связи с железнодорожной забастовкой, которая длится уже около двух недель. Вообще, настроение напряженное. Все выдумывают страхи и пугают друг друга. У нас глупым слухам не верят и смеются над страхами. Не стоит обращать внимания на слухи могилевской фабрикации. Ведь рассказали же на днях, что папа убит в Бронице (хотя он туда не поехал), и два дня звонили нам по телефону, соболезнующе спрашивая: "У вас ничего не случилось?" Приходил даже репортер из местной газеты; потом все поздравляли папу на улице. Могилевские слухи равносильны этому. А все-таки иногда спрашиваешь: "А правда ли для нас кончена революция, или еще много будет переживаний впереди?"

Это покажет будущее.

25 июля (7 августа) 1918.

Вчера наконец вернулся Боба. Забастовка застала его в Умани, где он должен был оставаться без дела около двух недель. Наконец, не в силах этого терпеть, он пришел со своей визитной карточкой (напечатанной по-немецки) к немецкому вокзальному коменданту (Bahnhofskommando), который сейчас же дал ему пропуск на Киев. Там он пробыл несколько дней, делал разные дела и приехал к нам после месяца отсутствия. Привез, конечно, много новостей. Киевляне – странные люди. Правда, что теперь киевский "монд" сильно разбавлен петроградским. Боба встретил там несколько бывших однополчан и знакомых. /.../

26 июля (8 августа) 1918.

Завтра утром уезжаем в Черновицы. Едем: Таня, Боба и я. Пропуски выдали без всяких затруднений.

27 июля (9 августа) 1918.
Черновицы, Hôtel «Bristol».

Этот Hôtel – ужасная дыра, хотя и считается здесь лучшей гостиницей. Но мы рады, что нашли себе номера. Ехали с приключениями, конечно. Иначе теперь не ездят. Зато почувствовали себя в Европе, когда в Новоселице сели в вагон 1-го класса. Сейчас нет времени писать, надо делать дела, которых нам поручили массу. Напишу потом.

Черновицы, 28 июля (10 августа) 1918.

Сегодня воскресенье, поэтому мы гуляем. Утром в 9 часов мы с Татьяной были в униатской церкви, потом с Бобой гуляли по городу до обеда. После поехали в *Residenz* и были даже внутри; потом были на католическом отпевании; потом пили кофе; потом пошли в кинематограф и, кажется, все. Разнообразно, не правда ли? В общем Черновицы очень славный городок, но найти все трудно, а цены почти не меньше, чем у нас в Могилеве. *Residenz* произвела на меня большое впечатление. Неприятно подумать, что все это было наше и все это даром отдали. Ну, да что вспоминать!

Могилев, 1 (14) августа 1918.

Никогда не думала, что за три дня так соскучусь по всем нашим, по этому дому и саду, по "дому". А мы так были рады подъехать к нашему европейскому мостику, войти в знакомую переднюю и найти все по-старому. Я не могу описать то чувство счастья, когда поцеловала Ольгу и обняла мою золотую мамулечку. Папа, бедный, встретил нас у ворот, несмотря на то, что было только 6 часов утра.

. . . .

В скобках скажу, что сегодня начались крупные беспорядки около Могилева. Несколько сел, между которыми Лучинец, Татариски и другие, взбунтовались. Крестьяне убили помещика, начальника уездной казармы и какого-то управляющего или эконома одной из соседних усадеб. Все это происходит около Олгадаева, около тридцати с лишним верст отсюда. Тут, конечно, опасаются нападения на город. Австрийцы пошли, чтобы предпринять что-нибудь, но смогут ли они что-нибудь сделать, это весьма сомнительно. Их тут мало, и солдаты-русины настроены весьма сочувственно к мужикам. Наверно наша Григоровка с огромным удовольствием примет участие в такой авантюре. Сегодня Андрей хотел достать пропуск в Черновицы, но ему не дали, говоря, что на несколько дней прекращена выдача пропусков в Австрию. Может быть, это в связи с этим движением. Хотят подвезти войска? Да откуда их подвозить, когда и австрийцев, и немцев бьют на Западном фронте и в Италии. Посмотрим, что из этого выйдет. Примет ли движение размеры Качковки или "Свободной Таращании"? (В Таращанском уезде продолжают уничтожать всех отдельных немцев и "интеллигентов", которых могут поймать, за что немцы тоже не остаются в долгу и жгут деревни).

. . . .

Теперь буду рассказывать про поездку в Черновицы.

Выехали из Могилева в 10 часов с минутами утра. Устроились очень хорошо (по нынешним временам) в 3-м классе, на двух маленьких скамейках около окна. Рядом на больших скамейках сидели австрийские офицеры, которые были в очень веселом настроении и с места в карьер принялись ухаживать за какой-то старой сестрой милосердия и двумя странными девицами. Австрийцы совсем особенные люди в этом отношении: они ни минуты не могут прожить без ухаживанья за девицами. Когда Боба вышел на станцию, они попробовали было привязаться и к нам с Татьяной, но мы смотрели через окошко и делали вид, что их не видим.

Этот поезд должен был идти до самой Новоселицы, куда мы рассчитывали приехать задолго до отхода поезда на Черновицы, который уходит в половине одиннадцатого вечера. Это было очень удобно и просто, и Татьяна даже говорила, что наше путешествие будет лишено всяких приключений и неудобств, что очень несовременно. Но мы ошиблись в своих расчетах. Поезд пришел в Окницу (35 верст от Могилева) к двум часам и застрял. Мы долго ждали, чтобы он повез нас дальше, но наконец пришел австрийский железнодорожный чин и сказал, что "Alle müssen aussteigen!", что поезд дальше не пойдет. Все были злы и протестовали, но все-таки вышли и устроились на вокзале кто как мог. Мы расставили чемоданы на перроне и уселись на них. Железнодорожные чины утешали, что через два часа придет поезд из Жмеринки и повезет нас дальше. Мы сидели на перроне до тех пор, пока не пошел дождь и пришлось спастись в Wartesaal, где мы смирно стали пить чай и разговаривали с австрийским Hauptmann'ом. Скоро мы узнали, что жмеринский поезд опоздает еще на два или три часа, или даже не придет совсем. Тогда мы впали в уныние. Застрять в 35-ти верстах от Могилева – это было бы слишком глупо.

Наконец, пришел еще один австриец и сказал, что в Окнице будет формироваться военный поезд, который увезет всех австрийцев и оставит всех "Zivilisten". Это было еще неприятнее. Наш розовый Hauptmann предложил выдать Таню и меня за офицерских жен и таким образом нам уехать тоже. Но мы не согласились: во-первых, могли попросить документы, а во-вторых, куда же бы мы девали Бобу? Тогда наш Hauptmann пошел к коменданту станции попросить, чтобы нас взяли, но тот отказал очень грубо. Тогда пошел Боба, но он опять отказал. Наконец, когда поезд уже подали, оказалось, что прицепили два вагона для штатских, один 3-го класса, а другой товарный, куда все и набились, как сельди в бочку. Мы с Татьяной получили места только благодаря любезности ж.д. чиновника, который усадил нас на свое место. Поезд отошел только после шести часов, так что оставалось очень мало надежды поймать черновицкий поезд в Новоселице.

Этот переезд был не забавный: шесть часов просидеть почти без движенья, потому что из-за тесноты даже ноги нельзя было поставить удобно. Мы с Таней очень устали, но духом не падали: ведь впереди маячила перспектива попасть в Европу.

Когда после двенадцати ночи мы наконец приехали в Новоселицу, черновицкий поезд, конечно, ушел и нам предстояла ночь на станции или в отвратительном еврейском заезде в местечке

Новоселицы. Боба вышел посмотреть, где устроиться на ночь, и возвратился с неутешительным известием, что от вокзала остались только четыре стены, что буфета нет, что придется всю ночь сидеть на стуле. Тут одному из наших сопутников пришла блестящая мысль: он предложил остаться на ночь тут же в вагоне, благо этот поезд уйдет на другой день только в 10 часов. Так как большая часть пассажиров устроилась куда-то, в вагоне остались только мы трое, наш сосед, который выдумал тут спать, два австрийца-железнодорожника, один австрийский офицер и несколько солдат. Мы подняли верхние полки и легли; свечки не было, поэтому все угомонились и заснули очень скоро. Я в первый раз спала на голой доске, но спала крепко до четырех часов. В пять нам предложили выбираться на станцию, что мы и сделали, довольные поразмять руки и ноги, болевшие от лежания на твердых скамейках. Попробовали сидеть на перроне, но было так холодно, что пришлось спрятаться в комнату, где была устроена австрийская книжная лавочка и другая, со съестными припасами. Вторая была еще закрыта, и мы с нетерпением поглядывали на ее закрытую стойку. В 7 часов она открылась, и мы купили какую-то ужасную колбасу (из собаки, наверно), которую съели с жадностью.

Около десяти подали поезд, и мы сели в купе 1-го класса. Мы были одни, что было особенно приятно после вчерашней толкотни. Сначала мы с Татьяной смотрели на дома, разрушенные артиллерийским огнем, на бывшую позицию, на одинокие могилы. Грустно было думать, что в этих окопах сидели русские победоносные войска, что столько тут погибло и столько пролито русской крови, и зачем? Наконец, усталость взяла свое, и сначала я, а потом и Татьяна с Бобой мирно заснули под однообразный стук колес. Боба разбудил меня, когда Черновицы, раскинутые на высоком холме, уже были перед нами.

Черновицы очень красивы с этой стороны. Город кажется совсем не разрушенным, со своими красивыми домами, ратушей и большой белой церковью. Немного издали, окруженный деревьями, виднелся огромный дворец митрополита, который я сейчас же узнала по фотографиям, напечатанным в "Новом времени" еще в 1915 году.

Мы недолго стояли на станции *Vorstadt Zuczka* (Жучка), переехали через Прут по мосту, который был четыре раза взорван, а теперь цел как новый, и подъехали к вокзалу. Странно было, проезжая по городу, видеть дома, разрушенные артиллерией, взорванную водокачку, испорченный сад. Это следы наших революционных товарищей, которые оставили по себе нехорошую память.

Мы приехали в Hôtel "Bristol", где нам сейчас же отвели номера. На наши вопросы, почему нет штор, почему мебель сломана и все грязно, нам ответили, что "die Russen haben das gemacht!" Все имело далеко не европейский вид, но с этим пришлось помириться. Умывшись, мы пообедали и сейчас же принялись гулять по городу, чтобы узнать, есть ли в магазинах то, что нам было нужно. Мы рассчитывали на сравнительную дешевизну, но сильно в этом ошиблись. Цены хотя и меньше наших, но все-таки очень высокие. Башмаков и чулок нет и в помине. Башмаки есть только на деревянной подошве.

В этот день мы ничего особенного не делали, а вернулись в Hôtel и залегли спать. На другой день было воскресенье, и мы предполагали осмотреть город. С утра мы с Таней пошли в униатскую церковь, потому что нам уже давно хотелось посмотреть их богослужение и сравнить с нашим. Впечатление получается неприятное. И наше, и не наше. Как будто хотят обмануть кого-то. Вернувшись из церкви, мы пошли гулять. Черновицы – очень маленький, но хорошенький городок. Везде чисто и симпатично. Нарочно мы пошли посмотреть дом, где жил ген. Корнилов, тогда еще (1917 г.) командующий ЧП армией. Это тяжелые воспоминания. Потом набрели на улицу, носящую имя нашего австрийского дедушки: "Prinz Hohenlohe Gasse".

После обеда мы наняли извозчика и поехали в Residenz, т.е. дворец митрополита. Это мое самое приятное воспоминание о Черновицах. Мы решили осмотреть это грандиозное здание снаружи, потом Татьяна предложила попробовать пойти внутрь. Portier повел нас и одного австрийского офицера по огромной мраморной лестнице на второй этаж. Одну за другой мы осмотрели длинную анфиладу роскошных огромных комнат, столовую на несколько сотен человек, всю расписанную фресками в византийском стиле, три гостиные, библиотеку, маленькую часовню митрополита, напоминающую мне почему-то кремлевские соборы в миниатюре. В такой часовне должны забываться житейские дрязги и на душе должно быть хорошо и спокойно. Потом мы прошли в знаменитую мраморную залу, где раз в семь лет митрополит и три другие епископа заседают по делам Церкви. Эта зала (и часовня) – лучшая часть всего здания. Она очень велика; вся из белого и черного резного мрамора, в готическом стиле. Мы пробыли там очень недолго, а можно бы было целый день осматривать эту комнату и не соскучиться. Следующая зала – это место заседаний синода. Она тоже очень роскошная; посредине стоят два огромных стола, окруженных

резными стульями с высокими спинками. На стенах висят портреты прежних митрополитов и теперешнего – Владимира Репты, который еще в 1916 году, когда русские первый раз заняли Черновицы, бежал в Вену и живет там до сих пор.

7 (20) августа 1918.
Моя комната, 7 часов утра.

Можно записать несколько интересных переживаний. Прежнее, такое знакомое, но уже несколько забытое настроение большевистского времени: слухи, то плохие, то успокоительные, нервное настроение одних и оптимистическое других, – одним словом, картина, сильно напоминающая декабрьские и февральские дни.

Вот уже несколько дней, как кругом Могилева беспорядки. Я и раньше писала об этом, но тогда это было только начало, а когда еще будет конец, одному Богу известно. Жаль, что я не писала изо дня в день, с 1-го числа. Сейчас уже не опишешь это растущее беспокойство (среди бедных "буржуев"), которое с каждым новым известием становилось все основательнее, а сейчас, наверно, достигло больших размеров. Беспорядки в селах вспыхнули сразу в нескольких местах, и очень энергично: на второй же день была убита помещица-сербка, Ракуза, которая еще неделю тому назад была здесь и, неизвестно зачем, жила несколько дней в имении. Правда, последнее время было совсем спокойно. Какой-то мужик спрятал ее в шалаше на поле, а потом пошел и выдал ее тайно убийцам. Этот мужик застрелен. Другой ее убийца и убийца ее сына (тот убит еще в начале революции) – повешен. В тот же день был убит родственник Грязевича, помещика из [?], который был у нее управляющим. Его привезли хоронить сюда, и это была целая драма. Потом убиты будто бы еще несколько управляющих (в таких случаях всегда преувеличивают число); священник, ксендз, какие-то писари, какие-то служащие, один австрийский офицер и несколько солдат. Этих последних очень торжественно хоронили здесь с музыкой.

Австрийцы ходили наводить порядок; около села Куковки и около Бендичан были форменные бои (так рассказывали). Ходили смутные слухи о сожженных деревнях, но точно никто ничего не знал. Наконец, стали поговаривать о беспорядках в городе. В лавках не хватало хлеба, на этой почве все беспорядки особенно скоро развиваются. Тут только спохватились, что бывший большевистский комендант Вовк продолжает сидеть на своем месте и иметь в своих

руках целый отряд "вільніх козаків", состоящий из каторжников и уголовных. Тут будто бы ходит по рукам список помещиков и других лиц, которых надо уничтожить. Ведь не разубедить же всю эту компанию в укоренившемся мнении (укоренившемся путем пропаганды), что помещики привели австрийцев с целью обижать пролетариат и селян. К дополнению картины беспокойства в городе присоединились волнения в австрийских частях, которые отказываются садиться в вагоны, чтобы ехать на итальянский фронт. Бригада, стоящая здесь уже три месяца, должна была смениться другой, которая пришла из Ямполя. Часть ее уже ушла, но часть отказалась и стала сопротивляться с оружием в руках. Из этого и вышел сегодняшний переполох, взволновавший и без того взволнованный Могилев.

Сегодня в 4 часа утра мы проснулись от оглушительной трескотни пулеметов. Звук был так силен, что можно было предположить, что стреляют очень близко. При первой же ленте мы вскочили и (прежняя привычка к ночным тревогам) через какие-нибудь пять минут были одеты и умыты. Хотя у нас никто не трус, эта минута была неприятная. Слишком много говорили о настроениях наших демократов и о сочувствии им австрийцев-русинов, чтобы такие звуки не произвели тяжелого впечатления. Мы старались угадать: или организованная толпа мужиков напала на город (как было в Таращанах и Сквире) и австрийцы отстреливаются, или выступление "варты" с Вовком во главе, или австрийские части бунтуют и сцепились между собой. Если последнее, то к мятежникам примкнут "демократы" и будут крупные неприятности.

Мама пошла разбудить папу и Надю, которые спят в нижнем этаже с закрытыми окнами. Боба и Андрей вскочили сейчас же. Мы втроем сидели наверху, каждый имел в руках или в кармане револьвер, на всякий случай. Так прошло довольно много времени. Пришел папа, пришли Крупки, которые очень "метушатся" во время переполохов. Треск пулеметов и винтовок, взрывы ручных гранат не прекращались ни на минуту. Наконец, после долгих и многократных усилий добиться телефонной станции, удалось соединиться. Оттуда нам сказали, что части 20-го стрелкового полка отказались ехать на фронт, что они заперлись в здании гимназии на Пушкинской улице, где их окружили и обстреливают мадьяры. Это известие не понравилось: все казалось, что в ответ на это будут беспорядки и в городе. Правда, что, когда прошло волнение первых минут, все стали спокойны и чуть ли не веселы. К семи часам устроили себе самовар и пили чай под те же звуки пулеметов. Сейчас выстрелы прекратились и мы хотим лечь спать.

7 часов вечера.

Из разных источников получаем известия о сегодняшних событиях. К 8-и часам утра бунтовавшие батальоны были обезоружены. В городе есть много убитых и раненых мирных жителей, не считая австрийцев, будто бы убито несколько офицеров. Больше всего пострадали дома на Греческой улице, туда все время летели пули, и, кроме того, там сожжено два дома, в которых засели австрийцы. Говорят, что разоружено 500 человек, а 300 еще осталось в каком-то доме, который сейчас окружен мадьярами. Если до завтра те не сдадутся, то ночью опять будет тревога. Хорошо, что тогда мы будем знать, в чем дело, и не надо будет особенно тревожиться.

9 часов вечера.

Не знаю, можно ли будет не тревожиться. Недавно вернулся из города Крупко (старый Никодзя) и рассказал новые слухи. Теперь известна подкладка всей этой истории: бунт австрийцев был подготовлен заранее в союзе с окрестными мужиками и могилевскими мещанами. Австрийцы ждали помощи мужиков и мещан, которые, однако, предпочли издали посмотреть, чья возьмет, раньше чем ввязываться в дело. На одной из дальних улиц собралась толпа мещан, готовая идти бесчинствовать по городу, если бунтовщики возьмут верх. Австрийцы приглашали идти с собой "делать общее дело" и вовковскую банду разбойников, именуемую "державной вартой". Но вартовики разбежались от первого выстрела. Они приглашали и отряд Толстикова. (Отряд организован и содержится на частные средства помещиков. Он подобран из приличных людей. Большей частью поляков. Мы их называем нашими опричниками. Этот отряд, когда варта удрала, пришел охранять старосту, почту и даже разные пункты на улицах). Говорят, что в этом деле виноваты офицеры. Еще несколько дней тому назад, когда посылали австрийский отряд в Кукавку, он только издали посмотрел на село, но ничего там не предпринял и ушел обратно. На Бендичанском заводе разоружили всех служащих и не тронули бунтующих крестьян. Все изумлялись такому странному поведению австрийцев, но теперь это понятно. Если австрийцы сами не прекратят такие странности, придется плохо и им и нам.

8 (21) августа 1918.

Те 300 бунтовщиков по-видимому сдались без дальнейших принуждений со стороны мадьяр. Никаких выстрелов больше не было слышно. Сегодня приходил Толстиков, начальник "конной сотни державной варты", иначе говоря – наших опричников, и говорил, что мы все (не демократы Могилева) висели на волоске вчера ночью. Все хорошо, что хорошо кончается, хотя я и не верю, что это конец. Теперь в городе некоторое время будет тихо, а в деревне недовольство и волнение растут с каждым днем. Никогда еще не было такого возбуждения против помещиков, такой ненависти к ним. А почему? Я не знаю. Пускай это будет на совести разных агитаторов и других темных личностей, которые разжигали и теперь продолжают разжигать эту ненависть. Мне приходит в голову, что мы что-то стараемся делать, строим планы на будущее, а ведь это напрасно: это будущее немыслимо. Возможность существования этого будущего исключается этой ненавистью. Их много, а нас мало – естественно, что в конце концов они уничтожат нас. Ни защититься от них, ни победить их, ни уговорить их и убедить, что мы перед ними не виноваты, – мы не можем. К чему же тогда жить, когда сама жизнь будет скоро для нас немыслима?

14 (27) августа 1918.

Как мне жить? Что мне делать? Ведь если продолжать жить так, как я сейчас живу, можно перестать быть живым человеком, можно совсем опуститься и Бог знает до чего дойти. Несколько месяцев тому назад я была другим человеком. Что такое произошло, что подействовало на меня так? Неужели я теперь останусь такой навсегда, или хотя бы надолго?

В чем сейчас проходит моя жизнь? Целыми днями я стараюсь сделать так, чтобы ничего не делать, сесть поудобнее и отдохнуть. Отдохнуть от чего? От ничегонеделания? Может быть, этому желанию способствует физическая слабость, которая продолжает надоедать мне. Теперь во мне нет ни тени прежней энергии, желания что-нибудь делать, работать. Тогда тоже была слабость и усталость, но она не мешала. Теперь все противно, все скучно, все трудно. Все то, что *нужно* делать, мне уже в тягость, и я этого не делаю. Так продолжать нельзя. Надо как-нибудь встряхнуться и выйти из такого состояния. Ведь впереди жизнь, вся жизнь, которую я еще почти не использовала, которую я почти не знаю, но которой я боюсь

и которую я ненавижу. Зачем она мне, эта жизнь? Жить, как я живу теперь, даже если это и будет возможно, – я не хочу. Жить, как живут все люди, все скверные, ничтожные, несчастные люди, – я не хочу, я боюсь этого! А чем я лучше их? Жить, как я хочу, как я себе смутно представляю счастливую жизнь, – это невозможно для меня. У меня есть свое представление о счастье. Два раза я испытала это счастье. Я слишком плохо владею своими мыслями, чтобы описать это здесь. Могу только сказать, что это счастье духовное, далекое от того, что принято называть "счастливой жизнью". Я не хочу сидеть на диване, я хочу что-нибудь делать, делать не для себя, а для других. Я хочу это делать незаметно, чтобы никто этого не видел; я хочу "пострадать", как сказано в "Преступлении и наказании". Жить, как все люди, только думать и заботиться об эгоистических ежедневных дрязгах, – да стоит ли жить для этого? Сделать что-нибудь, что-нибудь маленькое, только чтобы удовлетворить свою совесть, которая все чего-то просит, – я этого хочу.

Я "хочу" много, но ничего не "могу". Мне кажется, я в огромной дозе принадлежу к категории людей, много пробующих, но ничего не доводящих до конца. Я за всю свою жизнь не помню, чтобы я хоть что-нибудь кончила, что начинала. До сих пор это были мелочи, но так будет и во всем. Чего-то не хватает. Достоевский в своем описании людей "обыкновенных" ("Идиот") говорит, что "нет ничего досаднее", как быть таким "обыкновенным" человеком. Но Достоевский забыл, что людей необыкновенных почти не было в его время, а теперь их еще меньше. Все люди есть обыкновенные люди. Тогда эти люди все (или почти все) считали себя все-таки чем-то необыкновенным и пробовали что-то особенное делать. Теперь же люди, кажется, поскромнее (или может быть я совсем не знаю людей?): они ничем особенным себя не воображают, но ничем не интересуются и ничего не хотят делать того, что выходит из сферы их личных дел. Теперешние "обыкновенные" люди еще хуже прежних. Я "обыкновенный" человек и никогда не сделаюсь "необыкновенным". Может быть, это печальная мысль, но у меня нет желания и энергии думать иначе.

6 (19) сентября 1918.

Можно бы было много написать, чтобы потом "вспоминать в старости", но я не буду писать. Не хочется; тяжело и страшно, хотя и не случилось ничего особенного.

Если бы на душе было спокойно, я бы описала хотя бы, как мы ездили в Броницу, в первый раз после того знаменитого 10-го декабря. Это тема интересная для дневника: помещик приезжает навестить свое разоренное гнездо, развалины своей усадьбы. Тема вполне современная. Я вернусь к ней как-нибудь в другой раз.

10 (23) сентября 1918.

Голова усталая. Еще месяц тому назад я бы сама не поверила, если бы кто-нибудь сказал, что я буду по пять часов в сутки зубрить арифметику. Пока делаю это храбро. Все смотрят на меня (мне так кажется) с удивлением и будто соболезнованием, но пока ничего не спрашивают. Только Ольге я пока сказала мои планы (не только Ольге!), и она хоть и сочувственно, но все-таки покровительственно смотрит на меня с высоты своего величия гимназистки 8-го класса.

На меня, "чудило": глупую, недоучившуюся, недоразвитую, дилетантку! Я потому не говорю никому о моих планах, что они слишком обширны, а я, зная себе цену, так мало надеюсь на свои силы. Я знаю, что никогда в жизни у меня не хватало энергии кончить то, что я начинала. Так неужели я смогу довести до конца такое трудное дело?

Я хочу подготовиться за зиму и держать экзамен весной при здешней гимназии. Не за все 8 классов, конечно! Дай Бог, чтобы хоть за 4 или 5. Это ближайшая цель. Если это удастся, почему бы за лето не приготовиться и сдать за 6-й? Экзамен на аттестат зрелости кажется чем-то таким далеким, невозможным и заманчивым, что я стараюсь об этом не думать. Потом, где-то совсем далеко, мерещится университет, медицинский факультет. Но это уж так далеко, что и говорить об этом пока не стоит. Иногда, когда я принимаюсь мечтать (вечером, лежа в кровати), я представляю себе мою будущую деятельность как доктора, в клинике для туберкулезных, в такой палате, как рассказывала Нюра Львова, или в Давосе, или быть заместителем врача, или поехать "на холеру". Это мое призвание. Но все это еще так далеко, и надо подумать о ближайших задачах.

Я за всю мою жизнь нигде не держала экзаменов и никогда не училась последовательно. Значит, теперь мне надо начать все сначала. Это трудно. Особенно трудно потому, что я не умею заниматься. Вот и сейчас у меня сильно болит голова, хотя я занималась только вчера, немного, и сегодня. Плохо то, что я не могу свободно располагать своим временем. Надо все так же кормить зайцев, мыть чашки, накрывать на стол. Это скучно и занимает столько времени. Все-таки надо пробовать, надо стараться! Сейчас это отвлекает все мои мысли, и мне это очень важно. Я рада, что у меня отдельная комната: сегодня я встала в 7 часов, что было бы немыслимо при Татьяне. Вообще это одна из моих "буржуазных" привычек: я ненавижу спать с кем-нибудь в одной комнате! Я написала все это, чтобы развлечь свои мысли и освежить голову, но голова не хочет освежаться и болит. Пойду готовить чай, может быть это поможет.

На днях Ольга выдержала свой последний экзамен в 8-м классе и сейчас почивает на лаврах. Читает "Преступление и наказание" и ходит обалделая. За последний год я ей так много говорила о Достоевском (у меня не было другого слушателя), что она воспринимает чтение на вполне готовую почву. Когда у меня есть свободное время (было много), я с головой погружаюсь в Достоевского. Это для меня "ключ воды живой".

22 сентября (5 октября) 1918.

Каждый день собираюсь писать, но времени не хватает. Очень уж я деятельно стала проводить время после последних месяцев сравнительного безделья. Вот как проходит мой день:

Я, которая раньше вставала никогда не раньше 9-и часов и еще считала, что это очень рано, просыпаюсь теперь каждый день в 7 часов. (Как будто что-то под бок толкает. Никогда не просыпаю). Встаю, надеваю халат и сажусь за стол учиться. Делаю это как можно тише, чтобы не слышали соседи – мамулечка и Татьяна. Правда, что со стороны Татьяны мало опасности быть услышанной. Конечно, в этом нет ничего дурного, но я не хочу, чтобы пошли разговоры, что я устаю, и т.д. Около половины девятого или в девять я одеваюсь, стелю кровать, мою, потом мамулечкину, если она встала (ведь у нас опять нет горничной, по-революционному); потом спешу вниз по нашей уютной внутренней лестнице, которую мы себе недавно устроили; если все внизу готово (по утрам все устраивает Нудичка: варит кофе, накрывает на стол), я пью кофе; если нет, накрываю на

стол. Теперь, когда Ольга начала ходить в гимназию, кофе рано бывает сварен, так что ждать не приходится. Я пью в компании Андрея, который тоже размеряет свое время по часам, так как усиленно готовится к экзамену на аттестат зрелости.

Пока мы пьем, приходит мамулечка, потом папа, который встает очень рано, приходит выпить свою вторую порцию чая. Я кончаю и мою чашки, стаканы и тарелки, прячу все в шкап и несусь кормить зайцев. Это длинная и кропотливая работа. К 11 часам я, наспех управившись с этим делом, спешу к себе наверх, чтобы опять приняться за зубрение, когда Татьяна только еле сползает вниз пить кофе. Я зубрю усиленно до тех пор, когда опять пора бежать накрывать на стол к обеду. Раньше я не раз ждала, чтобы этот ненавистный стол "сам накрылся", т.е., вернее, чтобы его накрыл кто-нибудь другой без меня, но так как это никогда не случалось, теперь я не жду, а без десяти час бегу вниз и устраиваю все для обеда. Если обед готов вовремя (что бывает довольно редко), мы обедаем в час. После обеда надо опять прибрать со стола, потом я кормлю собак и опять несусь наверх. В половине третьего приходит моя Марья Федотовна (кончила Бестужевские курсы; очень симпатичная). Перед ее приходом надо повторить кое-что. Занимаюсь с ней почти до четырех; потом опять иду готовить чай. К пяти все собираются пить. Потом я опять мою чашки, убираю посуду и к шести иду заниматься с Ольгой арифметикой. В семь или после семи накрываю стол для ужина, потом ужинаем, прибираем посуду, и, наконец, я спасаюсь в мою комнату и не мою чашек! Сижу наверху и не хожу пить чай. Тогда моет Нудичка. Иногда я все-таки хожу, тогда опять мою чашки. Вечером пока еще не ушла, потому что все эти дни была съедаема испанской болезнью и каждый вечер должна была лежать в кровати с ужасной головной болью. Весь этот режим был довольно труден эти дни, потому что чувствовала себя совсем нездоровой. Сегодня первый день, что я опять такая, как раньше. Сегодня суббота, а завтра я может быть не встану так рано, хотя у меня очень много дела. Хотя сейчас только самое начало двенадцатого часа, я лягу, чтобы беречь свой порох.

23 сентября (6 октября) 1918.

Я ничего не писала это время "о событиях", а столько случилось за последнее время! Мы, кажется, накануне окончания великой всемирной войны и накануне начала не менее великих всемирных революций. Германия, терпевшая столько времени такие страшные поражения, теперь просит мира, соглашаясь на все условия Вильсона: очищение России, отдача Эльзаса и Лотарингии, восстановление Бельгии и Сербии, и т.д. Конечно, раз начались неудачи, в стране подняли голову социалисты. Сейчас это господствующая партия в Германии; даже кабинет министров составлен из социалистов. Германия идет по опасной дороге. Про Австрию и говорить нечего: там революция начнется в самом ближайшем времени.

А у нас начинается реакция. На Дону формируются три армии, которые пойдут освобождать Россию от большевиков. Недовольство все растет, ненависть и озлобление тоже, но все-таки Россия воскреснет и возродится. Правда, что она возродится только омытая кровью своих сынов, так как моря крови прольются в этой решительной последней борьбе, но если иначе нельзя, да будет так.

Еще недавно мы все с ужасом думали о том времени, когда австрийцы уйдут из пределов России. Теперь кажется, что что-то случилось, какой-то поворот к лучшему, после которого невозможно ничего очень плохого. Хочется скорее не видеть надоевшие австрийские кепки. Еще недавно я ничего против них не имела, а теперь они мне противны. А все-таки, когда они уйдут, будет плохо. Почти наверно можно сказать, что зарежут, если мы не уедем. Но так как ехать некуда – везде могут убить, – то и думать об этом нечего.

Сегодня совсем нечаянно узнали, что мы все-таки приписаны к украинскому подданству. Тут призывают Андреев год (1898), и папа наводил справки, что нужно делать, чтобы не идти в "сердюки" или еще что-нибудь в этом роде. Если бы раньше подали заявление, он мог бы сказаться иностранцем, но теперь поздно. Пока решили просто приписать его к местной гимназии (он готовится к экзамену на аттестат зрелости).

Раньше меня бы огорчило и возмутило, что я украинская подданная. Теперь все равно. От этого я не сделаюсь менее русской. Да и знаменитая Украина дышит на ладан. Говорят, сам Павло не на шутку подумывает разыграть роль Богдана Хмельницкого.

Очень хочется знать, что будет через год. Если не зарежут, все-таки интересно жить на свете.

25 сентября (8 октября) 1918.

Немцы сдаются на милость победителей и отдают не только Эльзас-Лотарингию, но и Познань. Как рассказывают в Киеве, прибавляя такие неправдоподобные подробности, что английский флот прошел через Дарданеллы и обстреливает Одессу. В Киеве немцы имеют очень кислый вид, и все того и ждут, что они совсем уйдут с Украины. Поэтому в Киеве почти паника: уезжают кто куда может. Киев вообще панический город, да и жители его очень напуганы, но бежать сейчас куда-то – имеет ли это смысл? Ведь немцы уйдут со всей Украины, значит прятаться от опасности некуда. Не бежать же в Совдепию! Остается Австрия, где скоро будет так же опасно, и Дон. Сейчас кажется, что это самое безопасное место из всей России.

Боба только вчера вернулся из Киева. Он еле уехал; на вокзале делается что-то несуразное. Он приехал без билета и не смог взять багаж. Сам он совсем больной, потому что в Киеве заболел "испанской болезнью" в сильной форме. Он лежал совсем один, без всякой помощи, и было бы совсем плохо, если бы его не разыскал С. Крупко, который и доктора достал, и сидел с ним. Вообще, если теперь встречаются малознакомые люди и не знают, о чем говорить, сейчас же выплывает на сцену знаменитая "испанка". Раньше ту же роль играла дороговизна, но к ней теперь так привыкли, что уже не удивляются, что нанять квартиру в Киеве стоит 300.000 в год (из шести дрянных комнат), что мужской костюм из дрянной материи стоит 3500 р., что самая простая дамская шляпа стоит 300 р., пара башмаков от 200 до 600 р., и т.д. На рубли теперь никто не считает, а только на сотни и тысячи. Но к этому правда все привыкли, так что если называется какая-нибудь несуразная цена, никто не изумляется.

Теперь некоторое впечатление производит "испанка". Только и слышно, что тот заболел, тот умер, а тот поправляется; у одного "испанка" с воспалением легких, у другого с воспалением мозга, у третьего что-то очень плохое с кишечником, и т.д. Заразительна эта болезнь очень. Все города и села чуть ли не по всей Европе заражены ею. У нас уже были больны все, кроме Татьяны и папы. Теперь у нас поочередно заболевает вся дворня.

Сегодня праздник, и поэтому я не встала в 7 часов и сейчас сижу в кровати и пишу, хотя уже пора вставать. Сейчас половина девятого. Никогда в своей жизни не праздновала Иоанна Богослова, но так как это праздник всех учащихся, а я на старости лет приписалась к ним, то и с удовольствием констатирую тот факт, что этот праздник существует. Поэтому пойду сегодня на базар с Ольгой и Нудичкой, чтобы покупать миски для зайцев, а к вечеру пойду к старой

Крупко сказать ей, как ее любимый Стеня спасал Бобу в Киеве. Это доставит ей удовольствие, если она не умрет от ужаса, что он там заразился от Бобы и теперь лежит больной.

25 вечером.

Исполнила всю программу: утром была с Ольгой на базаре и купила 10 мисок для зайцев, одну большую красивую для себя, 2 деревянные ложки и фунт свечей (за 16 р.). Вечером мы с Татьяной были у старой Крупко, рассказали ей про ее Стеню; старушка нас очень любит и очень бывает рада нас видеть. Мы с Татьяной хотим учиться польскому языку; у нас все больше появляется знакомых поляков, а так как польские дамы не говорят по-русски (кроме Крупко), надо говорить по-французски. Целый день ничего не учила. Завтра опять будет горячее.

12 (25) октября 1918.

Когда нельзя писать, всегда хочется. Сегодня суббота, встать завтра можно не очень рано, поэтому могу писать сейчас вечером.

Сейчас самая злоба дня – это близкий мир, поражение Германии, распад Австрии и революция в ней, приход английской эскадры в Черное море и т.д. Я не буду писать обо всем этом: политика и все, что ее напоминает, теперь мне противно. Мы прежде, давно, так ждали этих событий, так были уверены, что они наступят; теперь, когда на самом деле наступил день победы над Германией и развал Австрии, – этот день нерадостный. Если бы Россия имела сейчас свое место среди держав-победительниц, как бы это было все иначе! Я могу себе представить энтузиазм, радость, упоение англичан, французов, бельгийцев, сербов! Нам же нет места среди общей радости.

. . . .

Мы продолжаем предпринимать всякие шаги, чтобы достать заграничные паспорта. Это более чем вероятно, что австрийцы уйдут отсюда, а тогда оставаться здесь, под защитой одной Украинской Державной Варты, – небезопасно. За эти 8 месяцев, прожитых спокойно, мы так привыкли к безопасности, что очутиться опять предоставленными только своим силам будет очень неприятно. Мы решили "на всякий случай" достать заграничные паспорта. Это очень трудно. Во-первых, вопрос, куда ехать? В Австрии – анархия,

в Германии – голод, и если нет анархии, то будет, без сомнения. Остается Швейцария, которую мы с самого начала выбрали, но куда труднее всего попасть. Швейцария, из всех стран, где мы были, пользуется среди нас наибольшей симпатией, если не сказать любовью. Мы там прожили 5 лет. Моя личная мечта – попасть куда-нибудь в Швейцарию, в Davos. Беда в том, что туда пускают только очень больных. Для того, чтобы получить паспорт в швейцарском консульстве и пропуски через Австрию, надо здесь получить удостоверение от доктора (засвидетельствованное нотариусом), что вы настолько больны, что нуждаетесь в выезде за границу. Надо, чтобы эти свидетельства были настолько убедительны, чтобы разные власти сочли необходимым этот выезд. Нам в одном случае легче, чем другим: мы жили 5 лет в Давосе, курорт слишком хорошо известный, чтобы его имя не произвело известного действия. Легко сказать, что так как один член семьи лечился от туберкулеза в Давосе и там умер, то другие могут нуждаться в том же. Наш милый доктор Чахурский не задумался написать свидетельство для всех членов семьи: у мамы подагра, больное сердце; нуждается в климатическом лечении. У Татьяны "хронический процесс" в верхушке левого легкого, у меня то же самое в правом, лихорадка, кашель, и т.д... У Андрея плохо развитая грудная клетка, анемия и неврастения в высшей степени. У папы тоже несколько ужасных сердечных болезней, у Нудички – туберкулез. Нечего и говорить, что почти все эти свидетельства сплошная выдумка. У мамы, конечно, подагра и слабое сердце, и ей будет полезно уехать и отдохнуть; у папы может быть есть артериосклероз, но это не лечат в климатических курортах. Глядя на Андрея, прекрасное сложение которого трудно не заметить, никто не скажет, что у него слабо развитая грудь. У Нудички нет туберкулеза, так же, как нет его у нас с Татьяной. Татьяна говорит, что у нее никогда больше не болит бок, как тогда летом. Вообще она, кажется, здорова. У меня бок болит постоянно с тех пор, как осень, холодно и сыро, но у меня нет "постоянной лихорадки, ночных потов, потери аппетита" и т.д., как написано в бумажке. В Инсбруке нас посадят на карантин на 10 дней, но надеюсь – нас не будут слушать и осматривать. Тогда могут отправить всех обратно. В консульстве не захотят пропустить такую больную семью (ведь это странно, что в семье, где все больны разными болезнями, все хотят лечиться в Давосе); или не захотят пустить с нами Ольгу, которая имеет настолько здоровый вид, что ей не придумаешь никакой болезни.

Я ни минуты не верю, что мы отсюда правда уедем и попадем в Швейцарию. Уезжать отсюда мне жалко: уж очень мы сжились

с этим домом и усадьбой. Бросить всех наших животных, все хозяйство, мои занятия – очень уж жалко. С другой стороны, уехать из этой дыры Могилева, попасть в Швейцарию было бы очень приятно. Потом, я теперь не совсем уверена, что если я, а может быть и Татьяна, перезимуем здесь, все то, что написано в бумажке доктора Чахурского, не стало бы правдой.

Сегодня Боба уезжает в Одессу с полным портфелем доверенностей, "Fragebogen'ов" и т.д. Если ему удастся все сделать, мы получим паспорта не раньше, как через месяц или два. До тех пор многое выяснится.

16 (29) октября 1918.

Странно читать в газетах о кавардаке, который сейчас в Австрии. Там катятся по тем же рельсам, как и мы катились полгода тому назад; или, вернее, без всяких рельсов валятся в пропасть. Пока что им еще ново, интересно: всеобщее благо, народный совет, "четыреххвостка",* демократия и т.д. Мы это все знаем как свои пять пальцев. Они тоже с первых же дней принялись ликвидировать свою Австрию, как мы старались развалить Россию. Пускай попробуют. Пускай пройдут через все мытарства, как прошли через них мы. Я не социалистка, но, право, была бы рада, если бы все другие державы пошли по стопам России. Хоть не будет этого гнетущего стыда перед всем миром, которого не может не испытывать каждый русский.

Я не понимаю, как это австрийские части, которые стоят здесь, еще не прониклись социалистическими идеями настолько, чтобы начать убивать своих офицеров и бежать по домам. Без сомнения, это случится очень скоро. Вот тогда поднимутся тут неприятности! Раньше одна такая мысль показалась бы чудовищной, хотя все знают, что это может случиться. Видеть не только свою, но и чужую революцию, мы этого всегда боялись. Теперь это не кажется так страшно. Даже их ухода все ждут спокойно. Даже кажется, что мужиков нечего бояться. Люди вообще странные: то, что вчера казалось пугалом, сегодня уже кажется безобидным и даже естественным. Ко всему можно привыкнуть. А все-таки хорошо бы было "на всякий случай" иметь заграничные паспорта. Мы иногда делаем

*) Всеобщее голосование: "всеобщее, прямое, равное и тайное". (Прим. 1982г.).

удачно некоторые вещи "на всякий случай". Этот дом, где мы сейчас живем, тоже был куплен "на всякий случай". Нам тогда как-то казалось невероятным, что мы будем жить в нем.

Если мы даже и получим паспорта, то, пожалуй, не сможем ими воспользоваться. Если это будет месяца через два, в Австрии будет уже делаться такое, что мы не проедем. Боба что-то молчит; мы ничего не знаем о его шагах в Одессе.

Здесь уже все знают, что мы уезжаем в Швейцарию. Спрашивают, правда ли это? Когда спросишь, откуда они знают, говорят, что рассказал Афеньев. Это местный нотариус, старожил и, конечно, ходячая газета.

Поздняя осень наступила как-то вдруг. Дождь льет сегодня целый день, страшный ветер сразу оголил фруктовые деревья, стало холодно. Наверно, не сегодня-завтра будет первый мороз. Я ненавижу осень: в доме холодно, неуютно, комната у меня большая, самая холодная из всего дома. Какое это неприятное чувство – целый день мерзнуть. Все-таки хорошо бы уехать в Давос, погреться на тамошнем благодатном солнце, полежать на кушетке на балконе и знать, что не надо ни бежать кормить зайцев под дождем, ни накрывать на стол, ни думать о разных хозяйственных заботах вроде того, что коров австрийцы выбросили на дождь, а на их место поставили своих лошадей; что дождь мочит незакрытый кагат бураков; что морковь померзнет, если ночью будет мороз; что нет кухарки и некому варить обед; что не из чего сварить собакам, и т.д., и т.д. Я люблю моих зайцев и Рекса и коров, но хотела бы хоть месяц ничего не делать. Хотя я не могу без горя подумать, что если мы уедем, то придется бросить Рекса и зайцев без всякого присмотра.

Мой бок что-то не болит больше. Наверно тоже приспособился, привык к плохой погоде, как и мы привыкли ко многому неприятному. Наверно, он очень хорошо проживет в Могилеве и поездки за границу для него слишком жирны. Лучше буду сидеть здесь, продолжать свои занятия и не выдумывать для себя какую-то сверхъестественную участь. Чем меньше желать, тем больше будет. Хотя, с одной стороны (как на это посмотреть), я желаю очень малого, и может быть не все пожелали бы того же.

20 октября (2 ноября) 1918.

Послезавтра все австрийцы уйдут из Могилева. В Австрии революция идет полным ходом. Вчера убили графа Тиссу; все как по нотам, все то же. Здесь все почему-то забыли прежние страхи и очень рады, что австрийцы уходят. Я тоже очень этому рада. Почему-то кажется, что особенно дурного теперь не может быть. Не знаю, откуда могла взяться такая глупая мысль. Правда, что те самые австрийцы скоро будут такими же большевиками, как и наши демократы, и уж конечно не будут защищать нас от разных случайностей.

В общем настроение аграриев бодрое. Только некоторые более робкие рассказывают, что "говорят" – в уезде все растет анархия и что селяне ждут не дождутся ухода австрийцев, чтобы расправиться с помещиками. Эти робкие голоса пугливых аграриев не очень слушаются. Все равно мы ничего не можем сделать. Ехать некуда, защититься невозможно. Увидим, что будет. Ведь от своей судьбы не уйдешь: если суждено умереть своей смертью, товарищи не зарежут, и наоборот.

Австрийцы были здесь 8 месяцев. Интересно, что будет еще через 8 месяцев?

22 октября (4 ноября) 1918.

Сегодня день неприятных переживаний: австрийцы ушли все из Могилева. Уходя, они безобразничают в городах и на вокзалах. Такой пример, конечно, очень соблазнителен для наших демократов. Вообще настроение натянутое и тревожное.

Сегодня из Одессы вернулся Боба и привез нам заграничные паспорта. Воспользоваться ими мы уже не можем: проехать сейчас через Австрию уже невозможно. Австрия разваливается не по дням, а по часам. Армия бежит из России так же, как некогда наши товарищи бежали из Галиции. Одессу занял германский корпус, который, будто бы, будет ждать прихода англичан. Этих последних ждут в Одессе с часу на час. Их ждут, как манну небесную. Бедные мирные жители терроризированы уходом австрийцев. Ждут с ужасом беспорядков. Конечно, селяне и прочая демократия с восторгом ждут, чтобы ушли все австрийцы, чтобы опять приняться за то же, что и раньше.

Боба приехал в очень пессимистическом настроении: из Могилева все ушли и никто не пришел, железные дороги могут стать; нас здесь знают все, до последнего еврея; надо уехать завтра в Одессу и ждать там англичан. Все его доводы были настолько правдоподобны и справедливы, что мы совсем упали духом. Бросить здесь все; ехать без ничего в Одессу, где нельзя найти не только квартиру, но даже дрянную комнату – все это уж очень неприятно. Наконец, эта знакомая атмосфера совещаний во время опасности, вопросы о спасении жизни, и т.д., все это так тяжело теперь, так неприятно, что, кажется, я бы многое отдала, чтобы попасть в такое место, где не будет таких случайностей. Папа сейчас же поехал по здешним властям узнать новости. Приехав к генералу Ильчанинову, он узнал новость, с которой поспешил вернуться к нам: говорят, сюда завтра придут немцы. У нас отлегло от сердца. Сразу все повеселели. Ведь приход немцев гарантирует нам безопасность хоть на несколько дней. Можно будет одуматься и что-нибудь предпринять. Так мрачно начатый вечер прошел спокойно. Теперь все с нетерпением ждут немцев, а пока у меня под подушкой лежит револьвер "на всякий случай".

24 октября (6 ноября) 1918.

Сегодня немцы не пришли, но это не мешает тому, что все совсем спокойны. Об отъезде и думать забыли. Все идет по-старому. Не верится, что что-нибудь может случиться.

25 октября (7 ноября) 1918.

Утром распространился слух, что немцы заняли Жмеринку; все очень рады. Тем временем организованная охранная дружина энергично охраняет город. Боба должен был уехать в Киев, но не смог, т.к. все поезда наводнены возвращающимися из Австрии пленными, которые целыми толпами куда-то стремятся и безобразничают в пути. Разграбили Проскуров. С завтрашнего дня пассажирские поезда не будут ходить через Жмеринку. Может быть, это передвигаются немецкие эшелоны.

В 9 часов позвонил по телефону староста и сказал, что немцы придут через 4 часа. Это очень хорошо: все-таки будет спокойнее.

Интересно будет завтра посмотреть на немцев, но, конечно, с условием, чтобы они не лезли к нам жить и не тащили все из Броницы. По-видимому, нам еще суждено пожить на свете.

26 октября (8 ноября) 1918.

Староста оказался плохо осведомлен: никаких немцев нет и не будет, а придет международный отряд из англичан, американцев и французов. Это еще лучше. Мы давно хотели увидеть бывших союзников. Не знаю только, какие будут их отношения к нам; наверно не очень хорошие.

Сегодня расклеено объявление нашего "полицмейстера" Марданова о приходе "через день или два" отряда. Население приглашается соблюдать спокойствие, встретить отряд гостеприимно и готовить квартиры. Если наши местные власти печатают такие объявления, этот отряд наверно правда существует и не есть плод их воображения. Поживем – увидим.

Какой удивительный кавардак происходит сейчас в Австрии. Она валится и рушится еще скорее, чем валилась Россия. Хуже всего, кажется, в Венгрии, которую все считали скорее оплотом монархизма. В Болгарии та же история: новоиспеченный царь Борис бежал в Вену, а Болгария объявила себя республикой. Как уберегутся от этой гангрены другие страны, сохранившие еще свой приличный облик?

А все-таки теперь не так обидно будет перед союзниками, потому что не только у нас делаются такие гадости.

27 октября (9 ноября) 1918.

Какое сегодня было хорошее утро! Пришли газеты, после трех дней перерыва, и принесли много хороших известий. Английская эскадра из 40 вымпелов прошла Босфор и пришла в Новороссийск. Союзники еще с пути телеграфировали по радио Добровольческой армии, спрашивали список всего необходимого. У Добр. армии не хватало оружия, снаряжения и всего необходимого для борьбы с большевиками, а теперь им на помощь идут союзники и везут всего вдоволь. В газете сказано, что дух армии очень воспрянул после радиограммы союзников.

Один крейсер с делегацией от союзников прибыл и в Одессу. Его встречали одесские власти и чины германского штаба. Каково должно быть торжество англичан, и как тяжело это немцам. Одесситы встречали союзников по-праздничному, бросали им цветы. В общем, я представляю себе их радость. Теперь вопрос только в том, как ответят на это англичане. Если они будут держать себя, как завоеватели, смотреть на нас, как на существа низшие, это будет слишком тяжело. Кажется, ясно хоть то, что они пришли помочь нам в борьбе против большевиков, может быть помочь спасти Россию, а за это я готова любить их, быть им благодарной, простить им их презрение к нам. Мы не виноваты в том, что Россия вышла так позорно из рядов союзников и предпочла сама погубить себя. Пускай они теперь отомстят за это тем, которые в этом виноваты. Ну да, это теперь в сторону. На душе еще осталось столько горького, что невольно оно выходит наружу. Забыть бы теперь это, зажить новой жизнью, полной надежд, желаний, энергии. Если бы нам в этом помогли союзники!

Теперь необходимо организовать общий фронт с Доном и Кубанью для борьбы против большевиков. Надо наконец вспомнить, что Украина – это только часть России, "единой и неделимой" России! Украина сыграла свою роль: в ней был относительный порядок тогда, когда вся остальная Россия погибала от анархии. Теперь с Украины и с Дона может начаться движение, которое спасет Россию.

2 (15) ноября 1918.

Опять была больна испанкой, но, к счастью, на этот раз никого не заразила. Все-таки испанка не может вцепиться в меня по-настоящему: лежала всего три дня с очень высокой температурой; теперь чувствую себя, конечно, еще скверно, потому что температура все еще держится, а я не хочу обращать на это внимания. Плохо то, что эта quasi болезнь выбила меня из колеи: вот уже целая неделя, что я не брала уроков, голова пустая, заниматься трудно. Нужно взять себя в руки.

Атаки, 11 (24) ноября 1918.

За эти дни случилось так много, что для того, чтобы написать все по порядку, я буду писать по дням и числам. Постараюсь вспомнить все главное, все подробности последних дней, и описать поподробнее эту авантюру, которая будет занимать одно из первых мест среди наших других революционных авантюр.

(Могилев, 6 ноября) – В городе с каждым днем становится беспокойнее: с тех пор, как ушли австрийцы, жители Могилева нервничают, пугают друг друга паническими слухами. Правда, беспокоиться есть из-за чего: стоящий в Могилеве украинский "загін" начинает безобразничать; сегодня хотел разоружить нашу сотню ("опричников") и взять власть в свои руки. Староста получил анонимное письмо, в котором сказано, что его убьют, а за ним и всех помещиков. Вообще в воздухе пахнет неприятностями. Аграрии спокойны. Кажется, никто особенно не верит в опасность.

(Могилев, 7 ноября) – Политический переворот: староста свергнут, ген. Ильчанинов тоже; власть в руках большевика Кириенко и украинского "загіна". Они самостийники, обиделись на гетмана за его грамоту о единой России и решили под шумок устроить такую самостийную Украину, как им нравится: с террором, беспорядками и прочим. До трех часов дня мы ничего не знали. Вдруг пришел старый Крупко и с убитым видом сообщил эти новости. Мы все собрались в моей комнате; все были ошеломлены. В это время папу вызвал к себе генерал Ильчанинов; Крупко ушел, говоря, что зайдет еще вечером узнать новости. Пришла Ярошинская, с которой мы за последнее время подружились. Конечно, рассказали и ей неприятные новости и стали совещаться: что делать? Решили ждать папиного прихода и новостей, которые он расскажет. Скоро папа вернулся, но известия, которые он принес, были неутешительные.

Ген. Ильчанинов подтвердил все рассказы Крупко, сказал, что Кириенко и его помощники выпускают воззвание к крестьянам с призывом к анархии, грабежам и погромам; эта бумажка будет опубликована завтра утром. Ильчанинов сказал папе, что ему может угрожать арест, и посоветовал скрыться. Что надо было делать? Вести были очень плохи; железные дороги не ходят; эта прокламация – как искра в солому: по деревням опять захватят землю, растащат все, что есть, да еще придут и сделают нам массу неприятностей. Для спасения от самостийников и мужиков нам оставался один путь: перейти через Днестр. Так как вся Бессарабия оккупи-

рована румынами, там нам не будут страшны украинские большевики.

Ярошинская ушла домой, чтобы скорее предпринять шаги ввиду сложившихся обстоятельств, а мы собрались на совет и решили приготовиться к бегству. Это было часов около пяти. Мы сейчас же принялись укладываться, шить потайные карманы, зашивать деньги, собирать все необходимое. Боба, не теряя ни минуты, пошел за пропуском через мост. Хорошо, что у нас никто никогда не теряется, а спокойно каждый делает свое дело. Правда, что у нас уже есть навык, и когда что-нибудь случается, все остаются спокойны и хладнокровны, как будто ничего не было. Так было и теперь.

Так как бежать должны были мы все, а на какой срок – неизвестно, надо было собрать порядочно вещей, необходимых для житья в таком отвратительном местечке, как Атаки. Около часу все было готово; вещи уложены, план действия разработан, и все легли спать. Вставать надо было рано, чтобы успеть скорее попасть на мост.

(8 ноября, Атаки, местечко против Могилева) – Сегодня был трудный день. Первый раз в жизни мы ушли из дома, не зная, где приютиться. Ушли, спасаясь от опасности быть пойманными нашими врагами. Правда, мы и раньше бегали, но это было не то.*

В 8 часов все были готовы. Пили кофе, собирали последние вещи и не очень спешили покинуть нашу Садовую 16. В 10 часов двинулись в путь. Было грустное чувство, что мы надолго покидаем нашу усадьбу, что без нас тут случится что-нибудь скверное. Вообще, какие могут быть думы у людей, которым надо бежать из дома и бросать его на милость своих врагов. Нудичка провожала нас. Она осталась, чтобы сохранить все в прежнем виде до тех пор, как это будет возможно. Ее меньше знают, чем нас, а в случае опасности она должна была скрыться у соседей.

Мы двинулись в следующем порядке: мама и я в "пироге" (это наш старый фаэтон, который все еще у нас был в Могилеве)

---

*) О сборах к бегству помню мало. Каждый взял, что хотел иметь при себе: наверно, немножко белья, мыла и т.д. Ведь Могилев и Садовая ул. 16 были еще на месте, ведь мы очень скоро вернемся, ведь революция скоро кончится! Каждый из нас взял маленький чемоданчик (или узел?) – то, что сам мог унести. Я знаю только, что взяла мой дневник. Мне кажется, что не взяли никаких съестных припасов. Сели, перекрестились и пошли. (Прим. 1982г.).

и Ольга на козлах; остальные пешком; сзади подвода с вещами. Мороза не было; грязь была такая, что "пирог" скользил, и я, зная, что мама боится, выскочила и пошла пешком. Мои резиновые боты не боятся грязи, а Ольга и Татьяна были в сапогах. Мы избрали кратчайший, но худший путь: по боковой, немощеной улице, которая ведет к вокзалу. Сначала мама и Ольга ехали, а мы шлепали по грязи; потом мы с папой нашли извозчика, а Татьяна, Андрей и Боба сели на подводу и поехали все.

По дороге наткнулись на тяжелую картину. Вот уже несколько дней, как в Могилев прибывают сотни и даже тысячи наших пленных из Австрии. Все почти что больны тифом всех сортов, дизентерией, туберкулезом в последней степени. Трудно себе представить картину ужаснее той, которую можно было наблюдать в эти дни на вокзале: все эти люди, полуодетые, не евшие по несколько суток, наводнили вокзал. Почти все настолько слабы, что лежат, где упали, не могут даже ползать; больные и умирающие, живые и мертвые, – все перемешалось. Люди, так долго страдавшие в плену, которых там нарочно морили голодом и работой, чтобы побольше их не вернулось на родину, теперь еще доползли до Могилева, чтобы умереть там. Другие дотянутся до других, таких же чужих им мест. Страшно подумать, сколько кругом страдания и несчастья! Что такое наши неприятности рядом с этим?

Мы ехали по Пушкинской улице, мимо городского кладбища. Еще издали я заметила небольшую кучку любопытных, стоящих около ограды, и подумала, что, наверно, хоронят военнопленных. Подъехав к кладбищу, мы увидели грустную и страшную картину: вдоль ограды, плечом к плечу, лежали покойники; бесконечный (человек 300 или больше) ряд уныло светлел среди серой, высохшей травы кладбища; небольшая кучка людей, по-видимому носильщиков, ходили между трупами и несколькими подводами, стоящими около ворот. Из-под брезентов, закрывающих подводы, торчали ноги и огромные руки, сжатые в кулаки. На кладбище не было ни священника, ни людей, пришедших из участья к этим несчастным. Была только кучка ребят, смотревших с равнодушным любопытством, да носильщики, исполняющие эту работу лениво и с неудовольствием, – как будто они не исполняли святое дело предания земле умерших, а трудную и скучную работу. И сами мертвецы имели заброшенный, покинутый вид, как будто бы весь мир забыл об их существовании и нет на свете живого существа, которое поплакало бы над их безымянной могилой.

Эта картина быстро мелькнула передо мной, оставив на душе тяжелое, незабываемое впечатление. Через несколько минут мы уже ехали мимо нескольких десятков походных кухонь и кипятильников, вокруг которых толпилось целое море людей, одетых самым фантастическим образом. Среди них шныряли гимназисты и другие добровольцы с чайниками, котелками, хлебом. Питательный пункт работал не покладая рук. На большом пространстве были разбиты палатки, трещали костры; на большом пакгаузе развивался флаг Красного Креста. Грустно было смотреть на этих людей, ходящих, сидящих, лежащих, из которых еще много попадет на подводы, покрытые брезентом, – а потом на одинокое кладбище, в безымянную братскую могилу.

Мы быстро проехали мимо вокзала и, отпустив извозчика, пошли потихоньку к мосту. Другие отстали, и мы с папой стали ходить медленно взад и вперед в ожидании их. Мимо, через мост, какие-то люди несли на носилках тех из прибывающих в Атаки пленных, которые не могут уже сделать ни одного шага. Говорят, румыны им не дают поездов, а заставляют этих несчастных идти пешком. Трудно себе представить, как они доходят до Могилева и сколько их остается умирать по дороге.

Мы с папой успели уже немножко замерзнуть, дожидаясь; хотя мороза не было, дул сильнейший ветер и было очень холодно. Наконец подъехали все наши и вещи; мы пошли к мосту. Это было около одиннадцати часов, и с этой минуты начались наши злоключения.

Около моста уже столпилась кучка людей, которые, когда мы подошли, сказали, что через мост никого не пускают. Мы с вещами остались ждать, а Боба пошел узнавать. Ждали довольно долго, потом взяли вещи и пошли на мост. За нами двинулась толпа промерзших евреев и несколько гимназистов и гимназисток. Несколько солдат из украинского "загіна" устремилось на нас с криками, потом согласились пустить нас, но хотели задержать вещи. Особенно им не понравилась корзина, которую несли наши Григорий и Данило. Они пристали, что нужно ее осматривать, но, получив от папы некоторую мзду (10 рублей, потом с каждым днем цена становилась все выше), оставили нас в покое.

Мы пошли дальше. Посередине моста лежит рельс – граница между Украиной и Румынией. Тут нас встретили румынские солдаты. Это люди не такие, как все остальные: они не понимают никакого языка, кроме своего; заставить себя понять невозможно. Грубы они до того, что я еще не видела других им подобных: в этом они перещеголяли даже нашу революционную демократию.

Плохо нам пришлось на мосту: в продолжение трех с лишним часов нас не пускали пройти. То говорили, что можно, то гнали снова назад. Наконец мы так замерзли и измучились этим сидением, что стали поговаривать о том, чтобы идти домой. Это было после двух часов ожидания. Тогда папа сказал нам про пункт большевистской прокламации, которого мы еще не знали. В нем было сказано, что всех помещиков надо арестовать, а семьи их не выпускать из города. Конечно, папа, как самый известный помещик уезда, должен был быть арестован. Оказалось, что за несколько минут до нашего бегства к папе прибегали два еврея, принесли прокламацию и умоляли скрыться.

После того, как нам стал известен этот параграф, думать о возвращении было нечего. Мы остались ждать на мосту. Было страшно холодно. Мимо нас каждую минуту несли на носилках умирающих пленных; погода серая, пасмурная. Сидя на мосту на моем чемодане, пронизываемая ледяным ветром, я в первый раз ясно почувствовала, что у меня нет приюта, нет крыши, под которой я могу укрыться. Все это производило тяжелое, гнетущее впечатление. Татьяна, Ольга, Андрей, даже мама ходили взад и вперед, стараясь согреться. Я сидела на чемоданчике, или стояла, опираясь о решетку, и не могла заставить себя сдвинуться с места. На душе было тяжело, а холод сделал меня совсем твердой. Время тянулось страшно медленно. Наконец, всем моим существом овладела такая апатия, что все казалось все равно. Под нашими ногами, на большой глубине, величественно и мощно бурлил между быками холодный, зеленый Днестр. Его движение действовало как-то успокаивающе на нервы.*

Наконец на мосту произошло движение. Маленький румынский солдатишка, говоривший по-немецки, бывший с нами любезней, в надежде получить взятку, подскочил к нам и сказал, что идет майор, комендант моста. Все как будто приободрились. Комендант, неинтеллигентный на вид, в шутовской ярко-голубой форме человек, вел под руку какую-то даму. Он довел ее до границы-рельса,

---

*) Сидя над мутным, зеленым, холодным Днестром – это чистейшая правда – я думала: только один маленький толчок, почти незаметное движение, и этот родной, холодный Днестр, видевший столько счастливых, солнечных, жарких дней нашего детства и юности, – этот мой Днестр покроет *навсегда* все беды, все безвыходные положения, весь беспроглядный мрак наступающего будущего. И при этом мысль: а мама? а другие? что это значит для них? Когда я об этом думаю, я знаю, что эта так часто встречавшаяся и описанная мною мысль о смерти как спасении от жизни пришла мне тогда *в последний раз*. (Прим. 1982г.).

галантно поцеловал ей руку и обернулся к нам. Мама заговорила с ним по-французски, объясняя наше положение: надо перейти мост, ждем три часа, все окоченели, и т.д. Тот начал ломаться, говорил, что граница закрыта, что пройти невозможно; наконец, с трагическим жестом, разводя руками, он сказал: "Eh bien, pour vous, Madame, je ferme les yeux!" – фраза, которую он, наверно, говорил всем приличным на вид людям. Тут Татьяна заговорила с румынским солдатом по-итальянски (румынский язык очень похож на итальянский). Комендант подскочил как на рессорах и заболтал по-итальянски: рассказал, что учился в Италии, любит ее, расспрашивал нас. Словом, la glace était rompue. Под его болтовню мы перешли мост, отпустили служащих и вздохнули свободнее. В ту минуту, как мы садились на извозчиков, через мост перешли Красовский, Лисснер и директор Бендичанского завода. "Здравствуйте, князь! Вот мы и за границей!" – крикнул Красовский. Мы сейчас же почувствовали себя лучше. Смеясь и шутя, все поздоровались. Теперь, в компании, эта авантюра казалась скорее забавным похождением, которое не может продолжаться больше двух-трех дней.

Красовский рассказал, что ему передали о существовании списка, по которому папа, он и Лисснер должны были быть арестованы сегодня же. Посмеявшись над неудавшимся планом товарищей, мы отправились искать квартиру. Мы прямо поехали к местному священнику, рассказали ему наше положение и попросили гостеприимства на день. Тут нас встретил неожиданный прием: нас не только согрели, приютили, но и накормили необыкновенным обедом, напоили чаем с вареньем и пирогами с яблоками и предложили комнату на ночь. Мы были очень тронуты добротой батюшки и матушки. Мама, Татьяна, Ольга, Андрей и я провели у них остаток дня: тем временем папа и Боба нашли квартиру у нотариуса, лучшую во всех Атаках. Красовский тоже нашел себе три крошечные комнаты; Лисснер, по обыкновению, исчез.

Вечером мы еле добрались до дома нотариуса. Атаки совсем не освещаются, улица немощеная. В совершенных потемках и сверхъестественной грязи мы добрались до цели. Здесь нас тоже встретили необыкновенно радушно: хозяйка уступила нам даже свою спальню, т.к. одна из предназначенных нам комнат была нетопленная. Кое-как мы устроились на необыкновенно неудобных ложах. Ольга должна была лечь на матраце на пол. Новая революционная авантюра перестала казаться забавной; теперь в голове была только одна мысль, только одно желание: поскорее вернуться в Могилев.

Папа и Андрей устроились у батюшки, Боба в маленькой комнатке около Красовских. Так мы провели первый день нашего беженства.

Атаки, 20 ноября (3 декабря) 1918.

Сегодня ровно две недели, что мы в Атаках. Не думали мы, что так долго продолжится это сидение, эта комедия, которая кончилась так трагически. Правда, она еще не кончилась, но после 17-го все упали духом; кажется, что уже ничего хорошего быть не может. Правда, "rira bien qui rira le dernier", но теперь кажется, что даже смеяться не будет энергии. Постараюсь описать подробно и по порядку все то, что было. Конечно, эти недели будут одним из самых памятных для нас воспоминаний. События, разыгравшиеся здесь эти последние дни, тоже не лишены известной важности. Мы не знаем, местное ли это только брожение, взрыв анархии, или происходит это по всей Малороссии? Мы уже давно отрезаны от всего мира и знаем только то, что творится в пределах нашего уезда, да и то неточно. Сейчас мы отрезаны даже от Могилева.

Так вот что произошло. На другой же день после нашей переправы через мост начали появляться в Атаках группы "беглых буржуев" – помещиков и других "из интеллигенции", которые, как и мы, попали в список лиц, подлежащих искоренению и решивших скрыться "за границу". Мы были хорошо осведомлены о том, что делается в Могилеве: чуть ли не у каждого "пана" был свой еврей, то и дело шмыгавший по мосту с письмами в Могилев и с письмами и посылками из Могилева. Таким образом мы знали все новости, все действия нового "правительства" – комиссара, народного совета и других тому подобных учреждений. Эти действия возбуждали немало смеха среди нашего кружка. Вместе с рассказами о том, как кто проходил мост (у каждого была своя эпопея), передавали слухи из Могилева. По рукам ходили прокламации, "объяви", "обавязьвы" и другие глупости. За день до нашего бегства была издана длиннейшая "відозва" совсем большевистского содержания. Один из пунктов гласил о том, что нужно "нечайно арестувати усих помещіків и тремати их до суда над німі. Семейства их не випускати з міста". В этот день главные помещики скрылись.

На другой день выпустили новое объявление, гласившее следующее: если помещики не окажутся на местах – брать заложниками их семьи. На другой день после этого выпустили приказание: никого не

пускать через мост. Несмотря на это, каждый день в Атаках появлялись все новые и новые беженцы. При переходе через мост они претерпевали разные неприятности, платили с каждым днем все большие взятки, но все-таки переходили. И румыны, и украинцы сделали себе из этого доходную статью.

Тем временем наши беглые хлеборобы не спали. Каждый день собиралось несколько человек и обсуждали события. Было всем ясно, что та власть, которая теперь правит в Могилеве, – не может быть долговременной властью. Уж очень глупыми были ее действия. Тогда все очень интересовались отношением к делу крестьян: если они откликнутся на прокламацию, сформируют банды и пойдут поддерживать большевиков в Могилеве – дела обстоят плохо. Если же нет, весь "переворот" ликвидируется сам собой.

Последствий прокламации ждали три дня, а потом решили сами ликвидировать эту авантюру, т.е. устроить другой переворот. Это возможно было сделать, так как в сущности в Могилеве у нас была реальная сила в лице хлеборобской сотни (наших "опричников"), которая не сдала оружие по требованию большевиков и не признала их власти. Если бы не позорное поведение нашего старосты, который предпочел удрать, сдаться, вместо того, чтобы, оперевшись на сотню, сохранить порядок, – всей этой авантюры могло бы и не быть вовсе. Убегая в Атаки, он послал приказ сотне разоружиться, чего она не сделала под предлогом, что, так как староста сдался и бежал, – он больше не староста и его приказания недействительны. Таким образом у хлеборобов были верные и храбрые люди (они это доказали потом) в Могилеве, при помощи которых можно было сделать переворот. Нашли и руководителя этого переворота, – некоего полковника Пущина, который раньше вербовал офицеров в Добровольческую армию. Он должен был переправиться в Могилев, объявить себя командующим... чего? И взять власть в свои руки.

Мы, конечно, знали, что будет переворот. Все хлеборобы очень волновались. Ведь от успеха этого дела зависело многое. То казалось, что дело это не удастся, то опять надежды росли. В общем, настроение скакало вверх и вниз, как температура тифозного больного. Все старались подбодрить себя слухами о скором приходе союзников. Все почему-то были уверены, что они близко, что они придут и спасут Могилев и всех нас. Ведь спасли же нас в феврале австрийцы. Почему же не быть второму чуду?

Переворот совершился в ночь на 11 ноября. Пущин перешел через мост ночью и явился в штаб добровольческой офицерской дружины, где тогда было только 4 человека. Эта дружина во время

захвата власти большевиками не расформировалась, говоря комиссару Юнкевичу, что офицеры не будут воевать против них, если они стоят за порядок. Их почему-то оставили в покое. После большевистской прокламации "Народной Рады", конечно, стало ясно, что новая власть за порядок не стоит.

Когда к офицерам явился полковник Пущин с бумажкою от старосты (о передаче Пущину всей полноты власти), офицеры сейчас же признали его своим начальником. Первым их шагом было арестовать главарей. Три офицера арестовали Кириенко, потом доктора Казина, Юнкевича, Силькова и нескольких других. Извещенная сотня сейчас же примкнула к Пущину. Она же разоружила спящий "загін". Пущин оповестил коменданта Вознесенского полка, полковника Любимова, и командира бывшего Одесского (теперь Могилевского) полка, который был активно на стороне большевиков, а теперь так же спокойно перешел на сторону "добровольцев". Переворот был совершен без малейшего кровопролития.

Переворот был совершен именем генерала Деникина. В приказе полковника Пущина было сказано, что генерал Деникин – верховный главнокомандующий всех русских войск, не исключая и тех, которые на Украине. Он, полковник Пущин, объявил себя представителем Добровольческой армии и взял на себя власть командующего гарнизоном Могилева. До сих пор никто кроме посвященных не знает, кем был совершен переворот. Кажется, все уверены, что откуда-то пришел отряд из добровольцев и взял власть в свои руки. Другие поговаривали, что, кажется, тут дело не обошлось без хлеборобов. Если бы они знали, что это было задумано здесь, в Атаках, что главный инициатор этого всем известный Василий Владимирович Красовский, что полковник Пущин не приехал из Киева с важными полномочиями, а перешел мост из Атак, все были бы, наверно, разочарованы.

Теперь я сама не знаю, принес ли этот переворот пользу или вред. Это скажет будущее. Известно только то, что в ночь на 11-е должен был быть расстрелян полковник Любимов, командир Вознесенского полка, – за ним и другие. Когда был арестован доктор Казин (санитарный врач, еврей, провокатор, большевик, известный своей жестокостью), на нем был найден список 60-ти лиц, приговоренных к смертной казни. Этот список носил название "списка №1". Вслед за ним должен был последовать №2, потом №3? В нем стояли имена хлеборобов и офицеров. Если бы в ту же ночь Пущин не арестовал всю эту компанию террористов, было бы совер-

шено не одно преступление. С тех пор было несколько жертв, но по-видимому это было необходимо.

Атаки, 21 ноября (4 декабря) 1918.

Прерываю на время мой рассказ для того, чтобы описать сегодняшний день, как пример нашей жизни в Атаках.

Последние два дня – тяжелые для нас дни. Мамулечка заболела, и настолько серьезно, что мы все это время вне себя от страха. По-видимому, это испанка, но в какой-то загадочной и серьезной форме. Горло страшно болит и опухло, температура сегодня с утра 39,8.

Сегодня с утра мы встали рано и только и думали о том, как раздобыть доктора, как послать в аптеку. Все это так трудно здесь: вот уже около недели, что нет мороза и идет дождь; грязь такая, что пройти очень трудно, даже в высоких сапогах; доктор живет за 4 версты, и невозможно найти лошадь, чтобы послать к нему. С утра Татьяна пошла за папой, который живет с Андреем довольно далеко. Вернувшись, она принесла разные вести и слухи. Встретила по дороге Малиновскую, которая рассказала, что сестра ее, Валевская, переправилась сегодня ночью, одна, на лодке, на эту сторону Днестра. Еще вчера в городе было сравнительно спокойно; было только ограблено магазинов двадцать на Киевской и Владимирской улице. Сегодня же ночью начались грабежи и погромы частных домов. Татьяна встретила Красовского, к которому сегодня как-то переправился кто-то. Его дом и, будто бы, наш пока целы; дом Ярошинских – разграблен. По городу разыскивают оставшихся "врагов революции". Значит, там плохо, если Зося Валевская, всем известная трусиха, рискнула переправиться сюда на лодке. Ведь румыны этого не позволяют и по таким лодкам стреляют. Не знаю, что сталось с бедной Ярошинской? Муж ее здесь, маленький Антося где-то спрятан, она сама тоже где-то скрывается. Где-то моя бедная Нудичка? Меня совесть мучает при мысли, что она осталась, чтобы охранять наше имущество. Если город грабят, наш дом не может уцелеть, все знают, кому он принадлежит. Следовательно, это только вопрос не дней даже, а часов.

Ко всем этим приятным известиям Лисснер прибавил свое: будто бы грабители Могилева (др. Казин?) требуют от румын выдачи всех скрывшихся из Могилева. Этому никто особенно не верит, как вообще всем слухам Лисснера. Если же это правда, разве можно

поручиться за румын? Это такой народ, который за взятку или просто под угрозой сделает что угодно.

Мы обсуждали потихоньку события, чтобы мамулечка не слышала, и говорили, что если это окажется правдой, нашим мужчинам придется уехать. Румыны не пускают дальше Окницы (30 верст отсюда). В сущности, это то же, что и Атаки. Если мужчин не будет, может быть румыны посовестятся выдать одних женщин и детей? Хотя с румын и это станется. Понятно, что все эти известия не были такого рода, чтобы поднять наше настроение.

Если наш дом разграблен (что, наверно, уже сделано), мы останемся совершенно без ничего. С тем, что у нас здесь, в Атаках, – в том платье, что на нас надето, почти без белья, с одной подушкой и одним одеялом на брата. Больше ничего. В дом на Садовой мы свезли все, что у нас оставалось. Теперь будем, как нищие, ехать будет некуда.

Через какие-нибудь полчаса после первого слуха приехал полковник Юргенс из Окницы, где сейчас сгруппирован отряд из офицеров, спасшихся из Могилева. Они хотели ехать в Бельцы, там ждать французов и с ними вернуться отбирать Могилев. Но румыны их обезоружили, обокрали, поснимали револьверы, бинокли и все это продали тут же в Атаках. Этим занимались румынские офицеры. Они сморкаются в пальцы и так поступают с офицерами не враждебной им страны. По-моему, комментарии излишни! Наших не пустили дальше Окницы и будто бы интернировали их там. Сегодня разнесся слух, что их опять отправят обратно в Атаки. Зачем? Невольно приходит в голову: уж не для того ли, чтобы выдать др. Казину?

Правда, через какой-нибудь час этот слух был опровергнут. Полковник Юргенс рассказал, что они послали какую-то ловкую личность в Киев и Одессу, разузнать новости. Ведь мы ничего точного не знаем, телеграф не работает.

Эта личность узнала, что в Одессе высадился корпус союзников; в Севастополе тоже. Киев вовсе не в руках большевиков, как тут говорили, а держится, благодаря Добровольческой армии. В общем положение совсем не такое безнадежное, как это думают здесь. Отряд офицеров остается пока в Окнице и будет ждать французов; прибывают значительные подкрепления румын. Настроение поднялось опять.

Сейчас только час дня. День может принести еще столько разнообразных известий.

Пока продолжаю начатый рассказ:

Когда мы проснулись 11-го утром и вышли пить кофе, к нам забежал начальник вокзальной варты Гричевич и рассказал новости: то, что я уже писала, о действиях полковника Пущина. В это утро все хлеборобы были в страшном восторге. Мы сейчас же пошли к Красовским; там уже сидел Рафальский, весь надутый от гордости. Вообще наш староста очень милый и симпатичный человек, но il n'a pas inventé la poudre; глуп он, кажется, очень, не может сделать ни шагу без Красовского, но считает себя необыкновенно талантливым человеком. И теперь он все приписывает себе и не может удержаться от рассказов на каждом шагу о том, какой опасности он подвергался, как его хотели убить и как теперь он эффектно сделал политический переворот. Его никто особенно не слушал: все были слишком веселы и довольны. И правда, ведь это первый раз с начала революции, что у нас есть *наш* отряд, защищающий *наши* интересы и дорогие нам интересы России, а не бутафорской Украины. Красовский принес бутылку наливки и коньяку и все выпили за "единую и неделимую" Россию. В первый раз с начала революции эти слова приобрели для нас как бы значение чего-то действительного, существующего. Это была хорошая минута. Все были счастливы.

В тот день много говорили о близости французов, о нашем скором возвращении. Мы решили подождать день (понедельник 12-го), а во вторник вернуться в Могилев. Хотя нас и отговаривали от этого плана, мы упорствовали и даже написали в этом духе письмо Нудичке, заказав себе лошадей на 2 часа во вторник.

Раньше поговаривали о том, что необходимо послать кого-нибудь в Яссы, к союзникам, просить помощи, но тут, на радостях, отложили об этом думать. Так прошел этот день.

С тех пор каждый день приходили все разные вести из Могилева. Хлеборобы ходили друг к другу и передавали то бодрые, то разочарованные вести. Иногда говорили, что отряд все растет, что сил довольно, что бояться нечего; потом говорили, что вокруг Могилева собираются все больше вооруженные банды крестьян, что они готовят нападение на город, что нужно поспешить попросить помощи. Через два дня после переворота Красовский перешел мост и проведал Пущина. Тогда было уже решено, что делегация поедет в Яссы. Пущин упрекал Красовского за промедление, говорил, что их мало, что банды растут, что в случае нападения нельзя ручаться за исход. В заключение он просил Красовского поторопиться с поездкой в Яссы. Они поехали в тот же день: Рафальский, Красовский,

ген. Ильчанинов и Боба. Староста – представитель штатской власти (sic!), Красовский – нянька старосты, ген. Ильчанинов – представитель военной власти, и Боба – переводчик.

Это было 13-го. В тот день все беженцы ходили грустные, под впечатлением этих неприятных слухов. В тот же день получили известие о смерти поручика Спивачевского. Это был лучший офицер всей сотни, фактически командир и душа ее. Мы его знали мало. У него было странное лицо, с глазами мученика, мы его называли "нестеровский тип". Сотня каждый день ходила на разведку в ближайшие деревни. Они разбивали банды и наводили страх на крестьян. Им дали знать, что на станции Сулатецкой (следующая за Могилевом) собрались банды. Они напали на них и разогнали. Во время этой схватки был убит Спивачевский. Это произвело тяжелое впечатление здесь. Почему-то казалось, что все это не довольно серьезно, чтобы из-за этого убивали людей.

Тем временем сюда все прибывали беженцы, большей частью офицерские жены. Мужья их спровадили, чтобы легче было драться, если понадобится.

14-го весь день был спокойный, хотя и знали, что вокруг Могилева собираются все большие банды, что город со всех сторон обложен. В этот день некоторые наши хлеборобы переправились и заночевали в Могилеве, в том числе Дембицкий и Лисснер.

15-го днем все было спокойно. Вечером, часов в пять, к нам пришла жена полковника Любимова передать папе просьбу своего мужа: полковник просил сходить к румынскому коменданту и попросить его дать человек 100 солдат; они не были нужны для боя, а только чтобы прошлись по городу с пулеметами; это бы произвело хорошее впечатление на большевистски настроенных граждан Могилева. Полковник передавал, что настроение у них бодрое, что в подкреплении они не нуждаются. Любимова принесла с собой как бы волну бодрости. Все оживились и повеселели. Конечно, она передала нам одно из тех ложных известий о приближении союзников, которых было так много и которым все все-таки продолжали верить, несмотря на то, что уже столько раз ошибались. Нам уже раньше в этот день передали вздорную телеграмму о том, что англичане в Рохнах, что французы в Раздельной и что в Одессе высадилось 100.000 человек. Конечно, мы не верили вполне всем этим слухам, но все-таки они помогали нам сохранить надежду на скорый благополучный исход дела.

. . . .

Опять прерываю, чтобы сказать, что сегодняшние известия еще не кончены. В 3 часа из Могилева переправился сын здешнего священника, который живет у нас в доме на Садовой. Это первая весточка, которую мы получили от Нудички после 16-го. Этот мальчик как-то умеет говорить с часовыми на мосту и всегда мог переправляться. Теперь он пришел проведать мать. Конечно, вести, которые он принес, – скверные вести. Хорошо только то, что Нудичка цела и здорова.

Сегодня начался грабеж нашего дома: начали с того, что увели лошадей, увезли запасы пшеницы, овса, бочки подсолнечного масла, добрались и до шкапов с платьем. Нудичка и батюшка храбро защищают, что могут, но, конечно, сделать ничего невозможно. Сегодня это только начало; раз грабеж начался, остановить его уже нельзя; хорошо еще, если дом оставят в жилом виде. Конечно, это было неизбежно. Но теперь, как подумаешь о разных подробностях, любимых вещах, животных, о всем том, что составляет неразрывное целое с нашим спокойным, счастливым житьем дома... Дома! У нас теперь нет такого места, которое мы бы могли назвать нашим домом!

Я не хочу распространяться на эту тему. Слишком становится горько, как подумаешь обо всем, что там осталось и погибло для нас. Почему-то только нет злобы против тех людей, которые пришли и ограбили наш дом. Мы, кажется, ко всему привыкли.

Что если бы в мирное время с кем-нибудь случилась хоть половина тех несчастий, которые преследуют нас теперь? Этот человек наверно сошел бы с ума от злости и горя.

Кроме нас, разграбили Ярошинских, Богудских и Валевских, – все самые крупные аграрии. Богудского раз арестовали, потом выпустили, потом опять арестовали. Теперь он сидит в тюрьме. Ярошинский здесь и Валевский тоже.

Атаки, 22 ноября (5 декабря) 1918.

Мамулечкина испанка все еще не сдает. Температура очень высокая, страшно опухли гланды. Вчера вечером был доктор и сказал, что мы все тоже заразимся. У Татьяны еще не было испанки, у папы тоже, у Бобы и Ольги была несколько месяцев тому назад; у Андрея была раньше и теперь тоже. Он только сегодня встал. У меня уже была два раза. Тут все беженцы очень болеют испанкой.

Сегодня мы узнали подробности налетов на наш дом. Все это вовсе не так страшно, как описывает Боба. Он вообще очень любит преувеличивать.

Из самого дома ничего не утащили, кроме случайно попавших под руку вещей: одеяла, кое-что из платья. Увели всех лошадей и украли весь запас зерна, ограбили баню, где правда было много хороших вещей: садовые инструменты, три или четыре двенадцатипудовые бочки с маслом (целый капитал) и много разных других предметов. Нудичка и батюшка храбро воюют с бандами хулиганья и пока довольно успешно их отваживают. Эти банды приходили и за нами, говоря, что князь и его семья уже вернулись. Они искали нас везде, даже на чердаке и в башенке. Не знаю, что бы они сделали, если бы нашли. Я все-таки рада, что нас там не было.

Броница ведет себя необыкновенно тихо: собрали сход и постановили, что все должно быть цело. Не тронули ни магазина, ни завода, ни парка. Мы уже поставили крест на урожае нынешнего года, так что это нам приятный сюрприз. Что это правда, мы можем верить: к Нудичке приходил какой-то мужик и сказал ей это. Крестьяне поумнели за это время; они видят, что грабить нельзя безнаказанно. Рано или поздно, а надо будет отвечать. Такое протрезвление – очень отрадное явление. В нем кроется залог будущей реакции, на нем построишь будущее, более разумную жизнь государства. Эти одумавшиеся крестьяне будут со временем более опасными "контрреволюционерами", чем офицеры и помещики. Правда, Броница довольно смирное село; не то что Григоровка, которая принимала самое деятельное участие в организации банд, как сказал нам полковник Юргенс. Хорошо еще, что в Григоровке* нечего уничтожать, а то ничего бы не осталось. Они присвоят себе нашу кукурузу и подсолнечник, а больше красть нечего.

. . . .

Теперь буду дальше рассказывать о том, что произошло здесь за эти дни.

15-го вечером папа, по просьбе полковника Любимова, пошел к румынскому коменданту Стефанеску, чтобы попросить его послать отряд в Могилев, для демонстрации. Майор Стефанеску был очень любезен, наговорил с три короба и обещал послать отряд еще

---

*) Я хотела бы только добавить, что Григоровка – второй хутор, принадлежащий нам. (Прим. 1981 г.).

сегодня ночью. В полной уверенности, что все будет хорошо, мы разошлись по своим квартирам, папа к батюшке, Андрей к Красовским, мы остались у нотариуса. Часов в девять мы услышали близкую орудийную стрельбу. Конечно, Таня, Ольга и я надели пальто и вышли во двор, чтобы узнать, в чем дело. Любимова сказала нам, что сотня хочет взять с боя Сулатецкую, и также, что около Серебрии (за Немией Красовских) собрались очень значительные банды. Так как мы неопытны в артиллерийском деле, мы решили, что это наши обстреливают Серебрию или Сулатецкую. Мы довольно долго пробыли на дворе и слушали. Артиллерийский обстрел в темноте производит впечатление: сперва мелькает яркий, белый свет, как молния, потом, секунд через двадцать, раздается красивый мощный звук выстрела, как нам казалось, а на самом деле – разрыва. Это батарея противника начала обстреливать Могилев. Из огорода заговорили пулеметы и смолкли. Мы слушали спокойно эту музыку. Мы не знали, что это не мы обстреливаем, а нас обстреливают, и были довольны, что это наконец началось и что допекут товарищей.

Тем временем, Андрей, услыша канонаду, тоже вышел из дому. Он живет выше, чем мы, на горе, так что город оттуда виден. В этот вечер в Могилеве не горело электричество, тьма была полная. В темноте отлично были видны вспышки выстрелов из орудий бандитов. Около получасу наши орудия молчали, потом и они дали несколько залпов. Оживленная перестрелка не могла разгореться из-за темноты. Около десяти часов все стихло.

К тому времени и мы с Татьяной и Ольгой ушли домой и мирно легли спать. Ночью, часа в два, опять было несколько выстрелов, которые разбудили меня и заставили неприятно забиться мое сердце, но они скоро затихли, и мы продолжали спать как ни в чем не бывало.

Перестрелка началась в половине седьмого утра 16-го. Мы долго слушали эти звуки, весело разговаривая, то о бое (нашем обстреле большевиков), то о совершенно посторонних предметах. Около девяти часов, когда мы были еще не совсем одеты, к нам ворвалась Красовская, расстроенная, взволнованная. Она рассказала, что огромные банды большевиков нападают на Серебрийский склад, что отбить их почти невозможно, что у них очень хорошая артиллерия, что румыны отказались перейти мост. Мы были слегка огорошены такими известиями: вчера все казалось так хорошо.

Мы поспешили одеться и выйти. Татьяна и Ольга ушли сейчас же, а я задержалась на несколько минут, потому что стелила мамину кровать и помогала маме мыться. Я вышла одна на двор. Меня

поразило, что выстрелы, которые звучат довольно глухо в доме, на открытом воздухе такие страшно громкие. Вчера они были тише и реже; теперь же в какой-нибудь полуверсте от нас шел оживленный бой. Артиллерийские выстрелы, их и наши, пулеметы, винтовки, все это слилось в хотя и эффектную, но действующую на нервы симфонию боя.

Когда я вышла на крыльцо, мимо меня резко просвистела пуля. Я опять испытала то странное чувство неуверенности, идти или не идти вперед, как прошлой зимой, в тот вечер, когда я одна гуляла по дорожке нашего могилевского сада и кто-то открыл несуразную стрельбу в соседней усадьбе. В таких случаях испытываешь какое-то странное чувство беспокойства, невольно хочешь сделать шаг назад, а с другой стороны будто что-то толкает идти навстречу этому бодрому, веселому звуку, и сама чувствуешь в душе тоже бодрость и веселье. И здесь, стоя на крыльце и слыша свист пуль, я спокойно пошла по двору искать Таню и Ольгу. Они стояли за домом между двух каменных стен. С ними были Красовская и Любимова; здесь было совсем безопасно от шальных пуль.

Некоторое время мы стояли слушая. Теперь ясно было слышно звук наших выстрелов – громкий, круглый звук, который как мячик катился по долине, отскакивая от гор. Потом далекий, негромкий звук разрыва. Звук их выстрелов – менее громкий, со все нарастающим звуком, потом страшный рвущий удар разрыва. Пулеметы ворчали все чаще, стрельба из винтовок, то одиночных, то пачками, так и стрекотала в воздухе.

По площади, вдоль заборов, скорым шагом шел к нам Андрей. Там посвистывали шальные пули. Папа хотел переждать, но видя, что это не кончается, тоже пробрался к нам. Мы постояли, послушали и пошли домой.

Около десяти часов заговорили румынские орудия. С горы за нами они начали бить по Могилеву, скорее по Немии, гранатами и шрапнелью. Здесь это производило еще большее впечатление, чем прежний обстрел. В воздухе стоял оглушительный грохот; снаряды выли в воздухе каким-то зловещим воем, казалось, это были живые существа, которые скачками неслись в воздухе; после каждого такого воя слышали такой оглушительный удар, будто само небо разорвалось пополам.

А мы стояли на дворе и слушали. Теперь уже не верилось в счастливый исход боя. Казалось, наш маленький отряд (около 200 человек) не выйдет живым из этой бойни. А бой все разгорался.

Мы с Ольгой были одни на крыльце, когда принесли первого раненого. В это время стрельба достигла наибольшего напряжения. Мальчишки нашего хозяина только что закричали нам, что снаряд разорвался за церковью; мы сошли с крыльца во двор, и тут я увидела красивую и грозную картину: шрапнель рвалась над городом. В воздухе уже висело несколько белых облачков, но вот к ним присоединилось новое, черное, и под страшный удар разрыва из этого облачка во все стороны протянулись длинные пальцы; потом облачко сделалось белое и, медленно расплываясь, повисло в воздухе. Вот появилось новое, опять оглушительный взрыв, опять черные пальцы, и опять облачко, уже спокойное и безвредное, плывет по небу.

Мы с Ольгой были увлечены этой картиной, когда послышались голоса, прибежала Ильчанинова и потом показалась группа офицеров, несших носилки. Сейчас я как-то плохо помню этот эпизод. Татьяна говорит, что я вошла в комнату, говоря ей, что несут раненого, но что "it is better not to look". Я помню что-то в этом роде, хотя советовать Тане не смотреть, тогда когда нужно было помочь, было бы больше чем глупо. Кажется, я хотела сказать, что не нужно, чтобы мама смотрела. Теперь я не без некоторого стыда думаю, что тогда я все-таки "заметушилась" (т.е. переволновалась). Наверно, нервы были очень напряжены картиной боя, которую мы только что если не видели, то слышали и слишком ясно себе представили. Этот раненый, бледный, окровавленный, – реальный представитель этого перечувствованного нами боя, – завершил картину и на какую-нибудь минуту лишил нас обычного хладнокровия.

Произошло некоторое смешение; все ходили взад и вперед. Сбежались дети, их гнали, стлали кровать. Я подошла к полковнику Юргенсу, тоже несшему носилки, и спросила: "Вы только что из Могилева?" И хотела прибавить: "Как обстоит дело?" Но он только успел ответить: "Да!" – и уже тащил дальше носилки. Потом он подошел ко мне и сказал: "Вы тоже из Могилева? Это вы всегда ходили с такой большой собакой?"

Мне надо было узнать, как бой. Из разговоров офицеров можно было понять, что все пропало. Это все, что мне нужно было узнать. Расспрашивать не хотелось.

Второго раненого принесли почти сейчас же. Так как второй лишней кровати не было, я позвала Андрея и старшего сына нашей хозяйки и они вынесли мою. Ее поставили в ту же комнату, где уже лежал первый раненый.

Я в первый раз видела раненых только что из огня. До сих пор мы имели дело только с привезенными в тыл. Оба эти были страшно возбуждены и, казалось, плохо соображали, что произошло. Оба были ранены необыкновенно счастливо: первый попал под пулемет; в одной ноге пуля пробила только арку и задела кости, в другой засела в бедровой кости, не сломав ее. Шинель его была прострелена в семи местах. У другого пуля прошла навылет под коленом, не задев кости. Оба они могут Бога благодарить за то, что так дешево отделались.

Мы раздели обоих, хозяйка дала им белье, подняли их на кровати, уложили, дали по рюмке коньяка. Пришел какой-то доктор, который с успехом мог бы и не приходить, так как без него мы бы лучше сделали перевязки. Например, он положил на рану кусок ваты, потом марлю и забинтовал.

Раненым очень хотелось разговаривать, они были так возбуждены, что не могли смирно лежать в своих кроватях – ерзали и рассказывали. Мы с Татьяной энергично прогнали из комнаты детей и стали уговаривать раненых успокоиться и, если возможно, заснуть. Потом ушли.

А тем временем канонада все продолжалась. Наш домишко весь вздрагивал. Но теперь на эти звуки как-то мало обращали внимания. Теперь мы знали, какова обстановка сферы действительного орудийного огня. Перевязка раненых шла так же спокойно, как и в любом тыловом госпитале. Как-то ни минуты не пришло в голову, что снаряд может попасть и сюда. Это было лишено всякого основания: в этот день на площади был ранен еврей, а в доме рядом с тем, где живут папа и Андрей, разорвалась шрапнель, – к счастью, в пустой квартире.

Около часу дня мы с Ольгой опять вышли на крыльцо. Мы не пробыли там и десяти минут, как опять появилась процессия: группа офицеров, несших носилки, впереди опять бежала Ильчанинова. На этот раз это было не так просто, как оба первые раза: лица офицеров были серьезные: раненый был умирающий.

"Этому совсем плохо", – сказала я Ильчаниновой. "Да. Дайте ему вдыхать кислород и вспрысните камфару. Он не проживет и двух часов", – отвечала она. Тут же она рассказала, что нашла его в еврейской лачуге, одного. Потом оказалось, что евреи его раздели и припрятали вещи, в надежде, что они ему уже никогда не понадобятся.

Наша хозяйка запротестовала, говоря, что нет больше места, но не принять умирающего было бы слишком скверно. Сбежался весь

дом; одни мешали, другие помогали. Наконец, со всеми возможными предосторожностями раненого внесли в ближайшую комнату и положили на походную кровать. Все ушли, кроме меня, Татьяны и одного офицера, пришедшего с носилками. За носилками шел с растерянным видом Ярошинский. В общей суматохе я только успела спросить его, где его жена и Антося. Он сказал, что остались в Могилеве, потом скрылся. Оставшийся с нами офицер оказался настолько больным испанкой, что его пришлось отпустить. Он еле держался на ногах. Я вышла с ним, спросила имя раненого и просила известить родных о случившемся.

Потом мы с Татьяной остались одни.

Это была тяжелая картина: больной лежал как пласт, только иногда судорожно двигал головой. Он был до того бледен, что даже губы его были голубовато-белые; дыхание сопровождалось мучительным стоном. Он был ранен навылет в грудь, под самым сердцем, он потерял столько крови, что лежавшая под ним шинель была вся пропитана ею. Что могли мы сделать? Помочь все равно было нельзя. Пришлось только смотреть на его страдания и чувствовать свое бессилие. Комнатка, в которую его положили, — самая худшая из всех в доме: маленькая, холодная, со сломанным шкапом, столом и походной кроватью вместо меблировки.

Таня сидела рядом с больным, давая ему пить, закрывая его, поправляя ему подушку. Я стояла, подпирая стену. Мне не хотелось оставить Татьяну одну с умирающим.

Тем временем над Могилевом продолжали рваться снаряды. Удары разрывов заставляли раненого беспокойно открывать глаза. Пришел фельдшер (доктор отказался идти); соединенными силами мы перевязали больного. Потом мы опять остались одни. Так прошло много времени. Мы ходили поочередно обедать, причем я еле могла заставить себя съесть что-нибудь.

Пока мы сидели над раненым, я каждую минуту ждала, что он умрет. Я никогда не видела, как умирают люди. В это время мама нашла лекарство для больного: конечно, мы не могли исполнить умного совета Ильчаниновой вспрыснуть ему камфару, но у мамы нашлась гомеопатическая камфара, которую мы и дали раненому. После нее ему стало легче: он стал даже говорить немного. Тогда мы решили отправить его в земскую больницу.

Так как это 4 версты от Атак, никто не хотел нести туда больного. Тогда папа нанял четырех румынских солдат, которые за 40

рублей согласились отнести его туда на носилках. С огромными усилиями мы переложили его на носилки, и румыны его унесли.

К тому времени (около четырех часов) стрельба почти прекратилась. Город был в руках большевиков. Все офицеры, которые могли, перешли через мост в Атаки.

Когда все было кончено, я ушла в ту комнату, где спит мама, где никого не было, и села там на стул. Я чувствовала такую усталость, что сидела и мне было лень двинуть хоть одним пальцем. Темнело. Не хотелось ни думать о том, что произошло, ни о том, что теперь будет. Темнело. Пришел Андрей, который, видимо, тоже искал уединения. Мы сидели, изредка перекидываясь отдельными фразами. В ушах все время стоял шум сегодняшнего дня; с необыкновенной ясностью представлялись разрывы снарядов, причем теперь, когда было тихо, при воспоминании об этих звуках неприятно сжималось сердце.

С этого дня румыны объявили осадное положение, после шести часов нельзя было выходить на улицу. Папа, Боба и Андрей ушли рано. Все были кислые, будто сонные. Так прошел этот памятный день. Разнообразные опасения, воспоминания, страхи сжимали сердца многих в этот вечер. В Могилеве раздавались отдельные винтовочные выстрелы. При каждом таком звуке казалось, что это кого-нибудь убивают из "наших".

Наш отряд храбро сражался. 170 с чем-то человек дрались против тысячных банд, причем три раза штурмом брали вокзал и несколько часов успешно отбивались. Но тех было много, и они победили. Очень отличилась "повитровая сотня", наша сотня. Они были отрезаны, но пробились с боем и вообще воевали лучше всех. С нашей стороны потери невелики: 16 убитых и 32 раненых. С их – около 400 одних убитых. Мирных жителей, кажется, довольно много пострадало: в одной еврейской больнице лежат 50 человек раненых, из которых много детей.

Могилев остался во власти разбойников.

Атаки, 24 ноября (7 декабря) 1918.

В первый раз в жизни сама забыла, что сегодня мои именины. Потом вспомнила и сказала Татьяне и Ольге, которые забыли тоже. Разве такие вещи, как именины, имеют теперь какое-нибудь значение?

Мамулечка очень больна: у нее рожа. Как могло случиться такое несчастье, где она могла заразиться, – совсем непонятно. Пока доктор сидел около мамы и говорил, что надо делать, я стояла под дверью и слушала; вдруг почувствовала, что голова моя кружится, меня тошнит и что я сейчас упаду. К счастью, рядом стояла Ольга; я уцепилась за нее, и она довела меня до кушетки. Революционные переживания не проходят даром. Скоро наши нервы никуда не будут годиться.

Сегодня у мамы температура почти нормальная, но опухоль на лице ужасная. Доктор говорит, что это продолжится минимум две недели. Недоставало только этого несчастья для довершения наших невзгод.

Сегодня полковник Юргенс получил официальное извещение от Пущина. В Добровольческой армии уже известно, что произошло здесь. Теперь наш могилевский отряд, который сейчас в Окнице, должен ехать в Галац. Оттуда с французскими войсками идти оккупировать Подолию.

Это хорошее известие. Может быть, хоть когда-нибудь эти французские войска перестанут быть мифом и обратятся в действительность. Только очень уж долго ждать. Хорошо еще, что теперь все чувства настолько притупились, что даже ждать – все равно.

Через несколько дней Боба тоже поедет в Галац и присоединится к отряду.

Атаки, 26 ноября (9 декабря) 1918.

Мамулечке все-таки немного лучше сегодня: температура нормальная, кушала она с удовольствием бульон и вареную курицу; общее самочувствие тоже лучше, только опухоль на лице все такая же. Все-таки теперь не так страшно; только надо запастись терпением – это болезнь, кажется, продолжительная.

Опять стали переправляться буржуи. Последнее время, после 16-го, никто не мог спастись через Днестр. Теперь открыли новый способ: раз в сутки переправляется лодка; сопряжено это с известным риском, так как румыны не всегда выпускают пассажиров на

берег. Но и тут нашли выход: на таких лодках переправляются целые партии военнопленных; к ним-то и примыкают наши коллеги, конечно, тоже одетые в рваные шинели, и все, как полагается голодному пленному. Первый так бежал сын Дембицкого. Теперь с нами обедают наши хлеборобы Ярошинский и Залесский, которые столуются у нашей хозяйки. Они нам и рассказывают разные сплетни.

Вся семья Дембицких уже жила в Атаках несколько дней до 16-го. За день до боя что-то дернуло их перейти на ту сторону. Конечно, они там и застряли. Сам Дембицкий-отец, как крупный помещик и председатель общества хлеборобов, был на учете у большевиков, и его искали. Он переоделся, сбрил бороду и усы и несколько дней скрывался в каком-то погребе на Бобровой площади. Потом он как-то ухитрился переправиться ночью на лодке, причем на этой стороне румыны избили его прикладами. Залесский изобразил это в комическом виде, но я думаю – это было не забавно. Потом сын его переправился, переодетый военнопленным. Залесский рассказывает, что он был в удивительной шинели и фуражке, но в мешке у него было приличное платье. Дочь Дембицкого тоже переправилась, но со всякими приключениями. Она тоже переоделась пленным, но на беду, выходя из лодки, увидела Красовского, который пошел на переправу. Это теперь самое модное место прогулок всех "беглых". Увидя знакомое лицо, Дембицкая имела неосторожность приподнять башлык и улыбнуться Красовскому. Тот подошел и хотел помочь ей выйти из лодки. Тогда солдат-румын увидел, что тут что-то неладно; он схватил Дембицкую и потащил к себе. "Я тащу ее к себе – румын к себе, – рассказывал нам Красовский. – Вижу, что дело неладно, и теперь уж делаю вид, что с ней незнаком. Бегу к коменданту, чтобы он спас ее, и по дороге встречаю Дембицкого и Виктора. Тут бежит с берега еврей и кричит, что ее бьют румыны; все мы бежим обратно; Дембицкий кричит, что это его дочь, Виктор, что это его жена. Румыны никого не слушают и штыком загоняют ее в лодку. Мне тоже досталось, но не сильно", – заканчивает свой рассказ Красовский. Залесский тоже присутствовал при этой картине. Солдат не только ударил Дембицкую два раза прикладом, но и выстрелил из винтовки, будто бы целя в нее. "Я уже собирался его драть, но видя, что ничего не выйдет, поспешил убежать", – рассказывал Залесский. "Если бы вы его ударили, он бы бросил вас в Днестр", – совершенно справедливо заметил Андрей.

Это пример румынской подлости и мерзости. Мне они противны ничуть не меньше наших "демократов".

Атаки, 27 ноября (10 декабря) 1918.

Сегодня, когда мы сидели за утренним кофе, ворвался Залесский со свежими новостями. Будто бы в Одессе уже две недели идет десант; союзники заняли Бирзулу; в Киеве никогда не было "петлюровцев". Все те же россказни о союзниках. Теперь им никто не верит и всем они надоели.

Атаки, 1 (14) декабря 1918.

День моего рождения. Еще на один год состарилась: мне минуло 23 года.

Почему-то с утра отвратительное настроение: кошки скребут на сердце, все кажется так мерзко и противно. Почему именно сегодня? Когда начнешь хандрить, трудно остановиться. Думаешь все дальше и доходишь до чертиков. Уж очень все непривлекательно: настоящее уж очень мерзко, будущее рисуется в мрачных красках, только прошедшее кажется хорошим сном. Невольно приходят в голову мысли, что лучшие годы жизни проходят в такой обстановке, что никогда мы не вырвемся из круга несчастий, который сомкнулся вокруг нас и, все суживаясь, грозит раздавить нас совсем.

Ведь жить хочется! Жить, как все жили раньше, жить счастливо, жить полной жизнью! За что мне суждено прозябать в этом углу, когда раньше мне подобные наслаждались жизнью, даже не думая, что может быть иначе? Кто виноват в наших несчастьях? За чьи грехи мы теперь платим? В нашем сословии наши предки были виноваты, были грешны перед народом. Неужели же мы теперь должны заплатить за их грехи? Общая сумма страданий всего человечества для достижения мировой гармонии? Или только для поддержания равновесия на земле? Если бы хоть я была уверена, что страдания человечества искупают грехи человечества! Все-таки было бы легче. А мировая гармония – как что-то, к чему придет человечество еще при земной жизни, – я не могу в это верить. Ведь если страданиями людей, продолжающимися веками, купится блаженство таких же смертных людей, даже не знающих, какой ценой досталось им это блаженство, – это было бы слишком несправедливо! К тому же люди, не знающие страданий, не ценили бы своего блаженства, т.е. не чувствовали бы себя счастливыми. Следовательно, не было бы на самом деле блаженства и мировой гармонии.

Все это не то. Я не считаю себя несчастной и обыкновенно сохраняю равновесие и спокойствие духа, даже несмотря на последние

события. Только эти дни я немного выскочила из колеи благодаря стечению обстоятельств.

Третьего дня сюда переправилась Нудичка. Переодетая, потому что за ней следят, она переплыла на лодке, несмотря на то, что ей было очень страшно. Она привезла денег, немного белья, все то, что она могла намотать на себя; главная же цель ее поездки заключалась в том, чтобы предупредить нас, что нас все время имеют в виду; что наша жизнь обеспечена только румынами, что если Днестр станет, нас найдут, так как каждый товарищ в Могилеве знает наш адрес и адрес других помещиков здесь в Атаках. Что должна была чувствовать Нудичка, слушая каждый день разговоры об уничтожении нас и всех нам подобных, что она пережила за эти дни, видно по ее лицу. Видно, что она исстрадалась душою.

Я считаю Нудичку человеком совсем необыкновенным. Если и есть второй такой по бескорыстию и самозабвению – это величайшая редкость. Если бы Нудичка относилась ко всем людям так, как она относится к нам, она бы была святой.

Ее рассказы привели нас в удручающее настроение. Она была в худшем положении, чем многие, так как жила в нашем доме. В одну первую ночь после боя к ней ворвалось 9 вооруженных бандитов. Все те же вопросы – "где помещики?", – все те же угрозы. Потом начались грабежи. Нудичка, которая все то, что принадлежит нам, бережет и прячет, как драгоценность, должна была смотреть, как все это тащат пьяные мужики. Потом они поселились во флигеле, во всех надворных постройках. В дом приходят посидеть, поесть, поговорить. Тут-то Нудичка слышит их разговоры: тех-то убить, тех-то уничтожить, арестовать, ограбить. Ведь все, что "панское", – их, и "панов" нужно искоренить. "Пусть только они появятся в Могилеве! Не только через месяц-два – через год найдем их!" "Пусть только станет лед, пусть только мы сможем добраться..." – и т. д., и долго на эту тему.

Помещики и офицеры, офицеры и помещики – это самые травимые, самые ненавистные теперь люди! А почему? Я допускаю, что наше сословие было виновато перед "ними", но ведь из всех меньше других виноваты помещики и офицеры. Те и другие ближе остальных стояли к народу и, кроме грустных исключений, были с ним в хороших отношениях и трудились, хотя и иначе, но вместе с ним. Почти все солдаты, которых я знала, искренне любили своих офицеров. А разве мужик, когда он в нормальном состоянии, скажет

что-нибудь дурное о помещике? Нет, он будет говорить, что, когда был пан, было в тысячу раз лучше, чем теперь. "Як бил пан, он никого не обижал, як бил пан, можно било зароблять, як бил пан, никто не грабовал, а теперь..." И разные комплименты деревенским кулакам и жалобы без конца. И мы знаем, что это правда. Почему же теперь эта ненависть к панам?

С тех пор, как Нудичка приехала, настроение у всех стало отвратительное. Все ходили как в воду опущенные. После ее отъезда все еще ходили мрачные. Она переправилась вчера, около одиннадцати утра, причем румыны стреляли по лодке, но, к счастью, никого не ранили. Вообще, последние дни для мрачного настроения была подготовлена почва.

Вот уже пять дней, как у нас обедают оба Павлова, которые тоже бежали из Могилева. Они страшные пессимисты. Если им верить, уже ничего хорошего быть не может, все пропало; противиться, что-нибудь делать – не нужно и не стоит, так как все равно ничего не выйдет: они не верят в помощь союзников, говорят, что во Франции и в Англии будут революции, что в России уже ничего невозможно. Такие разговоры теперь действуют и такое настроение очень заразительно. Когда кругом нет ничего отрадного, ничего хорошего не видно и ни во что не верится, да еще каждый день слышишь такие разговоры, – это нагоняет самое пессимистическое и мрачное настроение. Правда, Павловы не виноваты: с тех пор, как началась революция, на них сыпятся, кажется, все беды, какие только могут быть. Их отец – генерал, товарищ папы по Пажескому корпусу; у него было большое имение в Царстве Польском и небольшое (800 десятин) здесь, в нашем уезде. Они были чуть ли не миллионеры. В Тремощаницах, их подольском имении, был дом, куда они в течение многих лет свозили из-за границы всякие ценности, так что это был целый дворец и музей. Конечно, его разгромили, ценности вывезли в Одессу и продали. Ликвидационная комиссия оценила дом в 2 миллиона. Недели за три до нашего бегства из Могилева старый Павлов заболел тифом, как тогда говорили. В Могилеве они жили в крошечном домишке, в двух комнатах, почти без мебели. Сейчас же после него заболел его старший сын. Перед самым нашим уходом из Могилева мы узнали, что Павлову плохо. Потом, за три дня до боя, мы узнали, что он умер. Мы все были этим как-то сильно задеты. Еще так недавно он приходил к нам, мы устраивали "чай с генералом", как говорила старая Крупко, а теперь этот самый генерал вдруг умер, да еще в таких трагических

условиях. /.../ За день до боя сюда пришел его младший сын и сказал, что он хочет переправить мать и брата, который еще еле ходит после болезни. Он нашел тут две комнаты и ушел опять в Могилев. На другой день был бой. После него все наши знакомые перебрались сюда, переодетые или в своем виде. Только о Павловых не было никаких известий. В день и после боя было убито несколько человек: средний сын Красовского из Немии, Рыбицкий, начальник станции, начальник тюрьмы, агент съестного бюро еврей Хайбиш и несколько офицеров; многие были арестованы: Богуцкий, Хаджи (городской голова), Марданов (могилевский "полицмейстер"), оба другие сына Красовского и другие. Так как оба Павлова офицеры (лейб-гусары) и теперь были записаны в Вознесенский полк, мы были уверены, что они или убиты, или арестованы. Поэтому, встретив их здесь на майдане, мы были очень рады.

Эти десять дней Павловы, переодетые в еврейские лапсердаки, скрывались где-то в самых мрачных местах Могилева. Наконец евреи сказали им, что прятать их больше нельзя и что так или иначе надо переправиться в Атаки. Они заплатили 1700 рублей за переправу, но переехали без затруднений.

Вчера была панихида по старому Павлову. В убогой, холодной церкви были только папа, Татьяна, Ольга, Андрей, я и оба Павловы. Старый молдаванин-священник и убогий псаломщик как-то особенно уныло служили. Вся эта обстановка производила какое-то подавляющее впечатление. Невольно приходило в голову, что эту панихиду года два тому назад служили бы в одной из церквей Петрограда, при большом стечении друзей и знакомых. И разница между этой деревенской церковью и хотя бы церковью Уделов столь же велика, как разница между жизнью этого человека, прошедшей в роскоши, и его смертью в убогой, почти нищенской обстановке маленькой комнатки в Могилеве. /.../

Неужели придет когда-нибудь время, когда не надо будет бегать из дома, спасать свою жизнь и бросать все на разграбление? Это трудно в первый раз, невыносимо во второй, а что же будет в третий? Правда, мы теперь уже дошли до блаженного состояния, когда имеешь почти только то, что на тебе надето. Скоро печалиться будет не о чем.

. . . .

Нам, кажется, больше нечего делать в Атаках. Делаем разные предположения об отъезде. Вчера папа был у коменданта, чтобы спросить о пропусках. Stefanica был очень любезен, пересыпал свою речь "mon prince", клялся, что через две недели мы будем дома в Могилеве. Пропуска он нам даст, куда мы захотим.

Теперь у нас обсуждается, нужно ли ехать, и куда. Папа стоит за Черновицы, так как туда проезд более или менее приличный: пересадка только в Новоселице, и в общем можно доехать в сутки. Можно поехать в Яссы или Бухарест, или в Констанцу, а оттуда пароходом в Крым. Все это гораздо сложнее. От Бельц до Ясс идет железная дорога, построенная во время войны, да еще румынами. Она сделана без насыпи, так что когда идет поезд, особенно во время оттепели, вагоны качаются из стороны в сторону. Иногда дорога портится совсем и проехать нельзя. Потом есть еще одно затруднение: у нас с собой мало денег. Сейчас есть около тринадцати тысяч, т.е. совсем немного по нынешним временам. Все осталось в банке и казначействе в Могилеве, т.е. может быть ограблено. Весь урожай нынешнего года не успели реализовать. Папе предлагали купить завод за 600 тысяч, но это тоже не успели сделать. Тут мы проживаем больше, чем 100 рублей в день. Если такие расходы в Атаках, что же будет в Бухаресте или Ялте? Если бы наступило более спокойное время, мы бы смогли иметь кредит из банков, но пока денег достать неоткуда.

Атаки, 2 (15) декабря 1918.

Боба советует Черновицы, а мне очень не хочется ехать туда. Вообще хочется остаться в России, а не ехать куда-то за границу. Разве только в Швейцарию, если есть много денег. Но денег нет, и ехать в Швейцарию тоже не хочется.

Малиновская сегодня рассказала, что будто бы в Одессе нет никаких союзников и она взята петлюровцами; Киев якобы тоже взят. Это ей рассказал, кажется, Власов, бывший помощник по особым поручениям Рафальского; он приехал из Черновиц по его поручению, кажется, за его чемоданом.

Могут ли быть такие слухи – правдой? Или это злостная провокация? Что можем мы знать, сидя в этой дыре – Атаках? Все равно все врут кто во что горазд. Теперь верить можно только тому, что видишь сама. У нас есть один источник, из которого мы, может быть, узнаем что-нибудь похожее на правду. Вчера Павловы уехали в Яссы

и будут посылать оттуда телеграммы о том, что узнают нового. Конечно, писать en toutes lettres нельзя, поэтому папа сказал писать условно. Союзники будут называться "братом". "Брат приехал в Одессу", или в Киев, или еще что-нибудь подобное. Этим телеграммам мы можем верить, потому что, наверно, Павловы не будут передавать вздорных слухов. Потом они должны дать знать, очень ли плохо ехать в Яссы, можно ли нам там устроиться, есть ли что есть и т.п. Они хотят как-нибудь пристроиться к штабу французской армии, как люди, хорошо знающие языки. Они звали с собой и Бобу. Вообще они удивительные "ловкачи". Во время войны они тоже имели место в этом роде при Ставке в Могилеве Губернском. Они такие люди, какие встречаются часто среди петроградского и гвардейского "монда": они ничего не умеют сделать для себя, все за них кто-то делает, везде у них знакомые, которые готовы их везде пристроить и достать все то, что им нужно. Это такой тип людей, против которого больше всего имеет право ополчаться революционная демократия. Они до того "крайне правые", каких я еще в жизни не видела. Я сама монархистка, но никогда не дойду до таких крайностей. Они монархисты, по-моему, слепые, или до такой степени упрямые? Старший из них больше молчит, а младший перорирует.

Он говорит, что в начале революции, в первый день ее, при раскрытии заговора членов Думы, надо было Государю не отрекаться, а велеть повесить Родзянко, кн. Васильчикову и других. Тогда будто бы не было бы революции. Я на это ответила, что тогда все общество было так настроено, что такое действие правительства вызвало бы такой взрыв негодования, который не только бы ускорил, но даже мог вызвать революцию. Он говорит, что общество надо было запугать, а потом оно само было бы радо такому обороту дела. Жалко, что мне не пришло в голову поговорить с ним подробнее на этот счет; спросить, как же он смотрит на Распутина, на то, что, ведя войну, правительство всячески старалось проиграть ее, т.е., по-моему, одним этим толкало страну к анархии и гибели. Можно быть таким монархистом, что любить Александру Федоровну и восхищаться ее умом; можно говорить, что спасение России было в германизации, что нужен был союз России с Германией, – ведь мнения бывают разные, – но извинить Распутина, – это вне всякого здравого смысла. Почему же не германизировать Россию, уж если в этом спасение (я этому не верю, но мое мнение немного значит), но зачем не делать этого открыто, а тайно, исподтишка, стараясь обмануть всю страну? Надо было, чтобы Павлов сказал что-нибудь, чтобы объяснить такую политику. Я думаю, он ничего бы не придумал.

Товарищи в Могилеве говорят, что покорили всю Украину; поэтому идет ликование и стрельба в воздух. А тем временем объявили сбор новой контрибуции в 2 миллиона. Первые 2 миллиона, или, вернее, 1.200.000 рублей, захватил комиссар Маевский и бежал с ними. Теперь товарищ Кириенко собирает себе на дорогу.

Тут некоторые говорят, что союзники в Слободке. Румыны тоже клянутся, что в скором времени они перейдут Днестр. Все эти рассказы про союзников теперь только раздражают! Их все ждут, как защитников и спасителей, а их все нет и нет. Я теперь начинаю понимать такое чувство ненависти к ним, которое испытывали жители Петрограда. Люди гибнут, а они не хотят понять того, что могут спасти их. Конечно, им до нас нет никакого дела. По временам я чувствую, что медленно, но верно грязну. Жизнь в такой дыре, как Атаки, не проходит даром. Вообще, мало-помалу мы спускаемся все ниже и ниже, проходим все круги дантовского если не ада, так чистилища. Приехав из Петрограда в Броницу, когда предполагалось прожить там, я очень скучала и не раз говорила: "Прожить всю зиму в Бронице..." Потом мы переехали в Могилев. Я помню то прямо гадливое отвращение, которое я чувствовала к этому захолустному городишке. Броницу мы всегда любили больше всего, поэтому тогда она казалась навеки потерянным раем. "Как, жить в Могилеве!" – говорили все. Потом привыкли к Могилеву.

Теперь мы опустились в третий круг. Перед Атаками Могилев, т.е. Садовая 16, тоже кажется раем. Куда же мы спустимся еще ниже Атак?

Атаки, 4 (17) декабря 1918.

Я еще ни разу не писала, что такое эти Атаки и как мы здесь живем! Атаки – это еврейское местечко, расположенное по правому берегу Днестра, против Могилева. Центр Атак и самое его аристократическое место – это большая немощеная площадь, или "майдан" (площадь по-молдавски), вдоль которой выстроены самые лучшие дома Атак; в конце площади – церковь. Из более посещаемых мест главное – новый базар, потом старый базар. Еще к местечку принадлежит много ужасных, грязных улочек и переулков, с полуразвалившимися, кривыми, покосившимися домишками, густо населенными евреями.

Чтобы описать такую улицу, нужно перо посильнее моего. Скажу только одно, что, когда мне приходится бывать на таких

улицах, видеть эту грязь, нищету и что-то еще другое, до того унылое, заброшенное и отталкивающее, – мне кажется, что это какой-то кошмар, который не может продолжаться долго. Волосы дыбом становятся при мысли, что здесь можно жить! Однако эти домишки населены, как муравейники. Все эти люди смотрят на нас с любопытством диких.

Вся колония наших беглых коллег живет на "майдане". Мы – в доме нотариуса, самом лучшем из всех в Атаках. В этом доме у нас две комнаты, в которых живем мы, т.е. женская половина нашей семьи: мама, Татьяна, Ольга и я. Папа и Андрей в доме батюшки, а Боба занимает маленькую комнату в том же доме, что и Красовские. В начале наших атакских похождений, когда "беглые" встречались, они спрашивали: "У вас есть кровать?" Или: "Ваши комнаты населены чем-нибудь посторонним?"

В этом отношении в нашей квартире оказалось хуже всего. На нас четверых есть только одна кровать и маленькая продавленная кушетка. Насчет населения тоже неблагополучно: в одной комнате были в начале клопы, которых мы как-то извели тем порошком, который привезли с собой. Здесь никто даже не знает, что это такое. Клопов я боюсь настоящим страхом, "хуже бешеных собак", как говорит мама. Есть люди, которые боятся лягушек, мышей и пауков, а я так же боюсь клопов, хотя никогда не имела с ними дела.

Когда мы приехали, нам дали две кровати, диван и кушетку. Но кровати оказались таковы, что спать на них не было возможности: в диване сидели клопы, кушетка была продавлена. Мы было совсем упали духом. Тогда мама спала на кровати с тремя матрацами, Таня на кушетке без матрацев, я на диване, посыпаясь вся порошком, а Ольга на полу, на разных сборных манатках. Конечно, это не могло так продолжаться. Папа достал приличную кровать с сеткой и двумя матрацами от батюшки, для мамы. Татьяна подставила к своей кушетке кресло и положила на него матрац; дыра в ней забивается всем чем попало; я попробовала спать на диване, но, найдя утром огромного клопа около подушки, собрала манатки и тоже перекочевала на пол. Мы с Ольгой поделились матрацами и устроились, было недурно, но после нового наплыва беженцев хозяйка отобрала у меня три большие подушки, которые я клала поверх матраца. Теперь мы спим так: мамулечка одна в меньшей комнате, на своей более или менее сносной кровати. В большей комнате главная ночлежка: Татьяна на своем сборном одре, я на полу около печки, и Ольга на полу, в углу, под роялем. На день, конечно, все это убирается, но вечером, около десяти или одиннадцати часов, из малень-

кой передней рядом с нами (которая холодная и служит нам кладовой) вытаскиваются матрацы, подушки, одеяла. Каждая разбирает свое и начинает устраиваться на ночь. Тут с нашей ночлежки хорошо бы нарисовать такой "силуэт войны", какой у меня есть в альбоме в Петрограде. Когда все они разложены, по комнате пройти трудно. У меня есть два матраца, из которых один набит какими-то кулаками, а другой приличный. У Ольги один, тоже набитый кулаками, и страшная бараница, т.е. баранья кожа. Твердо ужасно, но все-таки как ляжешь – засыпаешь сейчас же. Можно ко всему привыкнуть. Раньше я никогда не думала, что когда-нибудь буду спать на полу. Первое время было странно просыпаться так низко. Раз я хотела встать, с размаху брыкнула обеими ногами, чтобы соскочить с кровати, и больно ушибла ноги: пол оказался слишком близко.

Утром, около половины одиннадцатого, приходит Андрей и приносит нам белый хлеб. Мы пьем кофе, потом, убрав посуду, идем на базар. С этим занятием мы впервые познакомились в Атаках. Хотя нет, мы с Ольгой два раза ходили на базар в Могилеве, покупать миски для кроликов. Тогда это казалось очень забавным. Здесь это тоже было забавно первое время. Жаль только, что мы не умеем торговаться. В Атаках трудно сохранить инкогнито. Подходим мы к лотку с яблоками. "Хорошие яблоки, из вашего сада", – говорит молдаванин с хитрым лицом. "Из какого сада?" – спрашиваем мы. "Да из Броницы. Хорошие яблоки", – отвечает он. "Уж не из Броницы ли вы? Да ведь вы паны из Броницы!" – приходится слышать чуть ли не каждый день.

Бедная Нудичка, которая думала, что мы тут правда спрятаны, очень ошибается. Как только мы успели перейти мост и сесть на извозчика, возница разглядывал нас некоторое время, а потом сказал: "Вы из Броницы?" И на наш утвердительный ответ спросил: "А разве там очень плохо?" "Да не так-то уж хорошо", – отвечали мы.

Несколько дней жители Атак не знали, кто мы такие. Так как тогда все ходили слухи о приближении союзников, тут пустили оригинальную утку: будто бы Татьяна, Ольга и я вовсе не женщины, а "французские разведчики" – "такие высокие, румяные, в особенных серых пальто и сапогах". Эта версия держалась недолго. Очень скоро все узнали, кто мы. Например: идет Таня по майдану, слышит за собой бабьи голоса: "Посмотри, дочь князя, а в сапогах!". Татьяна с ними заговаривает; оказывается, что протестующие против существующего строя: одна была прачкой в экономии, другая тоже работала там же, обе хорошо зарабатывали и обе были довольны. "Чи пани кого грабовали?" – говорят эти бабы. А теперь богатые мужики не

дают жить бедным людям. Все та же песня. Какого бедного мужика ни спроси, все скажут то же самое. Вот тоже крепкий залог контрреволюции.

Первое время, когда все еще жили разными радужными надеждами, по утрам члены нашей колонии выходили на майдан делиться новостями. Наши окна выходят на майдан, который расположен перед нами во всей своей красоте. Сидя у себя, мы знаем все, что происходит в Атаках. Если "наши" собираются кучками – значит есть новости. Мы знаем, кто еще переправился, кто уезжает и кто гуляет. Теперь настали мрачные времена: все ударились в меланхолию, никто ни во что не верит, никто не делится новостями; многие, уставши ждать лучших времен, разъехались, другие только и говорят о том, что все пропало и пора перебираться куда-нибудь, где уютнее и безопаснее жить. Кажется, все собрались переселяться в Черновицы. Мне противно думать, что я опять попаду в "Hôtel Bristol", увижу грязные номера с клопами и пойду обедать в "Zum Schwarzen Adler". Как все это надоело! Когда же это кончится?

Атаки, 5 (18) декабря 1918.

Очередные слухи! Сегодня пришел из Волчанца паровоз и привез новости: будто бы союзники заняли Слободку уже два дня тому назад, а сегодня пришли в Бельцы. Тут многие воспрянули духом, передают это друг другу и вообще повеселели. Я не могу этому радоваться, потому что не верю этому. Нас уже много раз утешали такими сказками. Я совсем потеряла способность верить во что-нибудь хорошее.

Другие говорят, что в Могилеве заметно небывалое оживление: будто бы видели большие обозы, беспрерывно тянущиеся из города; по тому берегу ходят патрули и обстреливают лодки, если какая-нибудь рискует переплывать реку. Кириенко наложил контрибуцию в 200.000 рублей, на дорогу наверно, но будто бы евреи отказались платить ее. Говорят, большевики обещали ограбить весь город. Может быть, наши вещи уже тоже поехали с большевистскими обозами?

Если все это правда – большевики почуяли что-то для себя неприятное. Теперь недоставало только, чтобы они взорвали мост, как тогда, во время первого бегства в феврале. Нам это было бы неприятно, хотя и послужило бы верным доказательством того, что их дела плохи. Во-первых, дом, в котором мы живем, так близко

от моста, что во время первого взрыва тут вылетели окна и дом потрескался. Было бы неприятно, если бы он посыпался нам на голову. Потом, мамулечке нельзя еще выходить и ее может продуть. Во-вторых, это значительно затруднило бы нам переход на ту сторону, уж если нам суждено перейти.

Бедная моя Нудичка! У меня сердце болит за нее. Что она теперь переживает? Только бы ей не сделали ничего дурного!

Атаки, 6 (19) декабря 1918.

В сущности, писать совсем не хочется, но мрачное настроение заело меня до того, что хочется чем-нибудь отвлечься. Не знаю, почему на меня вдруг напала такая хандра. Целый день сидишь и не знаешь, что предпринять, чем бы заняться; и все хочется сердиться, все раздражает. Особенно злит меня наша хозяйка, которая в общем очень симпатичная и добрая женщина. Вообще я все хуже и хуже переношу атакское изгнание. Интересно знать, если бы пришлось всю жизнь прожить так, что бы со мной случилось? Пожалуй, преспокойно привыкла бы. Ведь люди такие мерзкие – они ко всему привыкают!

Новый слух о союзниках: железная дорога от Бельц до Ясс расползлась совсем, проехать невозможно. Конечно, этого надо было ожидать с румынскими порядками. Эта дорога расползлась уже тогда, когда Боба ездил в Яссы. Союзники будто бы сидят в Фалентах и не могут проехать. Это рассказывает какой-то еврей, который только сегодня приехал из Бельц. Он очень обиделся, когда Татьяна усомнилась в том, что в Фалентах правда есть союзники. Ему рассказали "такие верные люди".

В Бельцах застрял и наш отряд, который уже двинулся в Яссы. Потом застряли, конечно, тоже Залесский, Павловы и Лисснер. Тут Стефаника клялся, что дорога уже в исправности, они и поехали.

Сегодня к нам приходили румыны искать квартиру и стульев для своего собрания. Они говорят, что скоро их будет так много, что они займут все квартиры. Бобе сказал кто-то, что сюда идет пехотная бригада. Стефаника убеждает нашу колонию никуда не ездить, а сидеть спокойно в Атаках. Он клянется, что никакой опасности

быть не может. Об опасности теперь никто не думает, и вообще сегодня такое настроение, что никто не хочет уезжать из Атак.

Слухи вообще разнообразные: один рассказывает, что союзники не придут сюда вообще, а пойдут на Новоселицу и Черновицы, другой – что сюда придет много румын, но все они на стороне петлюровцев, что Стефаника – большевик и нарочно уговаривает помещиков не уезжать, чтобы потом выдать их петлюровцам. Можно придумать что угодно, но вольно и верить таким сказкам!

Глупо и неприятно, что те, которые должны были доставить нам сведения, которым мы могли бы верить, застряли в Бельцах. Залесский должен был узнать, что делается в Одессе, а Павловы – в Яссах и Бухаресте. Мы изумлялись: почему они не посылают обещанных телеграмм? Теперь это понятно: из Бельц нечего сообщить интересного.

Атаки 9 (22) декабря 1918.

Скука одолевает меня так, что кажется еще немного – и я с ума сойду! Ведь вчера исполнился целый месяц, как мы торчим в этой проклятой дыре! Минутами на меня находит бешенство, хочется на всех сердиться и говорить всем неприятности. Если такое житье продолжится, я не знаю, что с нами будет! Настроение у всех портится, начинают ссориться и цепляться из-за пустяков.

Должно же это кончиться! Тут все-таки что-то наклевывается: каждый день сюда приходит подкрепление румынам; комендант Санду и другие офицеры клянутся, что "через два или три дня" будет взят Могилев. Правда, мы это слышим уже так давно, что такие слова только раздражают, но румыны очень обижаются, если им не верить. Они клянутся, что опасности тут нет, что большевики не перейдут с той стороны, что у них (у румын) есть артиллерия и все что надо... Но разве можно верить румынам? Третьего дня Красовский прилетел к нам, говоря, что румыны намекали, что тут опасно, что будет что-то, и один офицер, помоложе, прибавил, что даже в эту ночь могут случиться неприятности.

Наши хлеборобы "заметушились". Вчера сорвались и уехали (т.е. не уехали, потому что опоздали на поезд в Волчанце) все Красовские, Власов и Брезниский; уехали они только сегодня, не слушая более спокойных. С ними должны были уехать Лисснеры, но в последнюю минуту раздумали.

Тут было два лагеря: оптимистов и пессимистов. Первые все-таки верят, что что-то будет сделано, что дело повернется к лучшему. На днях сюда приехал родственник Богудского из Бухареста. В Яссах он собственными глазами видел французов. Он говорит, что они пойдут на Аккерман – Бендеры, а у нас на ту сторону перейдут румыны. Все это должно быть скоро; со стороны большевиков нечего бояться наступательных действий. Этому верят оптимисты, к которым принадлежим пока и мы.

Пессимисты же говорят, что Киев и Одесса заняты петлюровцами, что они достигли соглашения с союзниками, которые перестали считать их за большевиков, а смотрят на это движение как на чисто национальное; что союзники не пойдут на Украину; что пропаганда и недовольство против румын растет и "через два или три дня" большевики переправятся сюда, прогонят румын и вырежут всех. Заключение из этого – уезжать как можно скорее. Не знаю, кто более прав, это покажет время...

Я избрала благую часть и не верю ни одному из каждодневных глупых слухов. Свежему человеку трудно себе представить, до какой точки равнодушия ко всему можно дойти, живя в таких условиях. Целый день чувствую такое отупение и тяжесть в голове и во всем теле, что все в тягость, все противно. Мы медленно, но верно катимся под горку.

Вот почему, когда сегодня был поднят вопрос уезжать или оставаться, я первая стала за отъезд. Конечно, я не боюсь здешних "событий", и если бы была уверена, что они скоро наступят, то, конечно, постаралась бы остаться здесь. Но события замедляются, и жить здесь еще месяц или хотя бы две недели – это правда слишком! Я боюсь опуститься совсем и перестать быть похожей на человека.

Отсюда попасть можно только в Черновицы, так как тут между Бельцами и Яссами все еще не действует железная дорога. В Черновицах будто бы скоро будут беспорядки; ехать туда – это что-то кошмарное, если верить одним, и довольно удобное путешествие, если верить другим. Тут на все бывают две противоположные точки зрения. Несмотря на все ужасы, о которых рассказывают, мы, кажется, все-таки уедем.

Атаки, 10 (23) декабря 1918.

Сегодня приехал из Сорок Ярошинский и очень изумился, что Могилев еще не занят. В Сороках кто-то распустил этот слух. Без сомнения, румыны что-то готовят: каждый день подходят новые части. Приехал корпусной генерал, пришла артиллерия. Последние несколько дней в воздухе что-то чуется; в общем, настроение напряженное.

Сегодня папа и Таня встретили Санду на майдане и спросили его, есть ли тут опасность, нужно ли уезжать и даст ли он пропуск в Черновицы? Санду очень любезен: он уверяет, что опасности переправы с той стороны нет, что это евреи и другие темные личности распускают эти слухи; что можно оставаться здесь или ехать в Черновицы, если мы хотим; пропуск он нам даст, как только мы захотим. Тем временем Лисснер рассказывает, что румыны никого не выпускают из Атак.

Наша колония здесь все редеет: сегодня уехал старый Валевский и Малиновские. Остались мы да Ярошинский, который ждет событий.

Атаки, 11 (24) декабря 1918.

Вчера вечером раздался стук в дверь, и на наш вопрос: "Кто там?" – какие-то голоса ответили: "Свои, свои!" Это оказались новые беженцы, но на этот раз из Киева: гетманский полицмейстер Бразул с сыном-офицером. Они привезли самые свежие новости из Киева, поэтому их обступили все обитатели дома. Ведь мы ничего не знаем вот уже больше месяца.

Новости, конечно, из рук вон плохи: Киев взят петлюровцами, гетман бежал, в городе террор. В общем там произошло то же, что и в Могилеве, только в гораздо большем масштабе: против трех тысяч офицеров-добровольцев было пятнадцать тысяч большевиков-петлюровцев. Немцы, которых в Киеве было много, и которые будто бы были на стороне добровольцев, перешли на сторону большевиков. Их совдеп сговорился с тем совдепом, и дело было сделано. Потом на сторону большевиков передались гетманские сердюки. Гетман бежал в Швейцарию, по одной версии, и прячется в германском посольстве – по другой. По городу разыскивают и убивают офицеров. Министры одни арестованы, другие бежали. В общем, катастрофа полная.

Если не подоспеет какая-то помощь извне, будет плохо. До нашествия большевиков там кто-то каждый день распускал провокационные слухи о приходе союзников. Мирные жители верили и ждали их со дня на день. То же, что и у нас. Сам Бразул до того "замызган", что имеет вид полусумасшедшего: не может посидеть спокойно на стуле, бегает по комнате, подскакивает, если кто-нибудь откроет дверь. По его мнению, все пропало, все погибло! Ему все кажется, что румыны отправят его обратно к большевикам.

Вчера же пришел румынский офицер, и так как здесь никто не говорит по-французски (хотя в доме живет 28 человек), то говорили с ним мы. Майор Николеску, толстый, черный, спокойный человек, рассказывал о событиях в Киеве, о том, как население просится к румынам; кто такие украинцы, большевики или нет? И разные другие тому подобные вопросы. Мы со своей стороны спрашивали: будут ли румыны переходить? Когда? Придут ли французы? "Nous attendons les Français, Mademoiselle. Nous attendons un ordre", – говорил майор, и на вопрос, когда же это будет, ответил: "Attendons encore deux ou trois jours!"...

Вчера в Могилеве что-то было. Около десяти часов мы услышали дальнюю стрельбу, которой отвечали несколько ружейных выстрелов с этой стороны; потом около казармы, которая соседний с нами дом, раздались свистки, и сейчас же оттуда вышел отряд и беглым шагом направился куда-то. Мы подумали, не переправа ли начинается, но так как больше ничего не было слышно, легли спать.

А тем временем папа, Андрей и Боба переживали неприятные минуты: в 10 часов Андрей вышел во двор и услышал стрельбу и страшные крики, такие, будто одна толпа бьет смертным боем другую. Папа тоже вышел, и они слушали вместе эти страшные крики, не зная, началась ли переправа, или это еврейский погром? Они хотели уже идти к нам. Андрей говорил, что никогда еще не слышал таких ужасных звуков.

На квартире Красовских, рядом с Бобой, живет доктор, который недавно вернулся из германского плена. Он рассказывал Бобе много интересного. Он был в Страсбурге, когда туда входили французские войска. Он поляк и много говорил о будущей Польше. Конечно, к ней отходит Познань, потом Галиция, Волынская и Подольская губернии. В Варшаве ждут теперь приезда Вильсона, который величественным жестом создаст Великую Польшу. При всем этом, в будущей Польше правление предполагается республиканское, т.е. исполнится то, что говорили нам сами поляки: будет масса

разных партий, смотрящих врозь. Польша опять расползется по швам, и "la Pologne ne va pas durer trois jours!" Значит, если все это правда, наша губерния будет частью Польши? Можно нас поздравить! По-моему, после всех наших несчастий мы заслуживаем лучшую участь!

Украину союзники не признают. Они не признали гетмана, не признали его посла и теперь уничтожают это понятие – Украина, – вернув ее к тому, чем она всегда была, т.е. частью России. Зачем только при этом они отрезают одну из лучших губерний от России? Это непонятно.

Атаки, 13 (26) декабря 1918.

Вчера тут прошел слух, что Петлюру уже прогнали в Киеве и провозгласили правителем Ленина. Таким образом от Петрограда до границ Румынии, до Днестра, теперь Совдепия. Украина упразднилась сама и примкнула к большевистии. Это само по себе немаловажный факт, но теперь все так привыкли к крупным (и почти всегда катастрофическим) событиям, что они не производят впечатления. Правда, в этом факте есть не только дурная сторона: кажется, союзники до сих пор не были уверены, большевики ли петлюровцы и было ли их движение национальным или большевистским. Теперь в последнем нельзя сомневаться, и, надо надеяться, для борьбы с этим будут приняты меры.

Сегодня вернулся Залесский. В Одессу его не пустили, так что он доехал только до Бендер. В Яссах, Бендерах и Кишиневе он видел французов. Теперь уже нельзя сомневаться в том, что они существуют.

Атаки, 14 (27) декабря 1918.

Сегодня утром, когда мы сидели за кофе, пришел еврей. Он приехал из Бельц и привез нам письмо от Павловых. Они застряли там, так как железная дорога Бельцы-Яссы все еще ждет мороза, чтобы прийти в приличное состояние; есть еще сообщение автобусом, но и оно возможно только тогда, когда мороз. Перед такими готтентотскими порядками пасуют даже наши! Таким образом, бедные Павловы безнадежно загрязли в Бельцах (мороза нет, все время оттепель и грязь ужасная) и к довершению всех неприятностей

оба заболели испанкой. Они написали два письма, очень подробно описывая условия дороги, как просил папа. В общем эти условия не так уж ужасны, как их описывают! В окнах вагона были стекла, пишут, что в вагоне очень грязно, но ни слова про то, что со стен надо пригоршнями сгребать насекомых; провизию, конечно, надо брать с собой, так как на станциях почти ничего нет.

В Бессарабии есть только три железнодорожных моста через Днестр: один в Бендерах, другой в Рыбнице, а третий в Атаках. Следовательно, можно ожидать сюда союзников. Павлов пишет, румыны говорят, что между Рождеством и Новым годом (по старому стилю) будет приступлено к планомерной оккупации России.

Теперь вопрос в том, оставаться ли нам здесь и ждать событий или ехать в Черновицы? У нас на этот счет еще не сговорились. По-моему, ждать здесь долго очень уж неприятно. Если и поверить тому, что оккупация начнется в этот срок, да прибавить неизбежные задержки, пройдет не меньше месяца, прежде чем что-нибудь случится. Значит надо прожить здесь еще минимум месяц; ходить по майдану по щиколотку в грязи, ходить на базар, каждый вечер раскладывать одры и каждое утро опять складывать, спать на полу, брать ванну раз в месяц, и так, как я опишу ниже. И наконец, опускаться и глупеть с каждым днем все больше и больше. Вот перспектива житья в Атаках...

В Черновицах я не знаю, какие условия жизни, но все-таки, наверно, лучше, чем здесь. Может быть, что, уехав отсюда, мы пропустим интересные события, но это будет не очень жаль, так как всякие события теперь очень надоели. А сидеть в погребе во время обстрела или быть застреленными или раненными вовсе неинтересно...

Правда, всего этого может и не случиться, но ждать каких-нибудь новых переживаний не стоит. Ехать в Черновицы тоже не хочется, во-первых потому, что ехать долго и очень трудно, а во-вторых, потому, что не хочется встретить там опять тех же наших хлеборобов, которые успели порядочно намозолить глаза. В общем, мне не очень хочется ехать и не хочется оставаться. В сущности, все равно.

. . . .

Вот как я сегодня брала ванну, в первый раз с тех пор, как мы живем в Атаках. Здесь это целое событие, так как, конечно, водопроводов нет и воду нужно возить издалека в бочке. Но этим, кажется, никто не смущается, так как не думаю, чтобы многим пришло в голову брать ванны. После долгих поисков нашли человека, который согласился привезти воды, и тогда только я стала надеяться, что это будет возможно. Но когда мне сказали, что ванна готова, т.е. вода нагрета, меня ждало некоторое изумление: оказывается, что ванна ставится в кухне, около плиты, и тут предоставляется желающим купаться. Когда я пришла в кухню, то была озадачена: там находились 4 девки, исполняющие разные должности в этом доме, все занятые различными работами. Что делать? В чужой монастырь со своим уставом не суйся. Прогнать их было нельзя, поэтому je pris mon courage à deux mains и полезла в ванну. Девки с интересом наблюдали за этой процедурой. Это пример того, как можно опуститься в таких условиях, как мы живем.

Атаки, 16 (29) декабря 1918.

Союзники идут вовсе не для того, чтобы возродить Россию. Они поработят ее не хуже наших бывших врагов, немцев. Теперь, когда война кончена такой небывалой победой одной стороны и таким неслыханным поражением и позором другой, войскам победителей, наверно, захочется отдохнуть дома, а не идти спасать Россию от большевиков. Такие услуги даром не делаются. Россия будет отныне ареной деятельности и наживы для других народов.

Вся территория будет разделена на участки, в которых будет установлена сфера влияния той или другой державы Согласия. Кажется, весь юг будет подчинен Франции, средняя и северная часть России – Америке, Сибирь – Японии, Кавказ, Среднеазиатские владения и Туркестан – Англии. Россия фактически перестанет существовать, так же, как перестала существовать Австрия: теперь есть Чехия, Венгрия, Польша, но нет Австрии. Сербия получит Боснию, Герцеговину и Истрию, Румыния – Буковину, Трансильванию и Бессарабию, Польша – Галицию и Познань. Вильсону раньше удобно было признавать формулу "без аннексий и контрибуций", но теперь Согласие нашло более удобным отменить ее. Будто бы, они требуют 280 миллиардов золотом с Германии, что совершенно не может быть, так как никакая держава не может уплатить такой суммы, а теперешняя нищенская, голодная Германия и того меньше. Примером того, как велик позор Германии, может служить следующее:

английское правительство предъявило ультиматум германскому флоту, чтобы он явился в Эдинбург, сдаваться, что тот и сделал. Да, велик позор Германии и велико торжество победителей!

Атаки, 18 (31) декабря 1918.

Наш отъезд в Черновицы решен, но еще не назначен срок. Вчера получили письма Красовских и Валевского, описывающие Черновицы в самом привлекательном виде, и, так как еще и раньше мы думали об отъезде, все высказались за то, чтобы ехать. Они описывают Черновицы, будто там необыкновенно хорошо живется: все есть, все дешево (даже обувь), только трудно найти квартиру и надо жить в гостинице. Все-таки они все очень неприхотливы, поэтому понятно, что им везде нравится. Правда, и мы теперь привыкли к самым несуразным условиям, так что и мы проживем там, но мне почему-то не хочется ехать в Черновицы. Особенно не хочется потому, что там у нас слишком много знакомых.

Я себе представляю их обеды за общим столом в ресторане: наши хлеборобы вообще не принадлежат к изысканному обществу и манеры у них тоже не изысканные. Наверно, Лисснер уже рассказал, кому мог, что они бежали от ужасов революции, что его голова оценена, что оставил в Подолии миллионы и т.д. Теперь, наверно, все посетители ресторана уже знают, кто они, и изумляются, глядя на них. Поэтому мне не хочется встречаться с ними в одном ресторане и жить в одной гостинице.

Условия путешествия следующие: едут отсюда в Волчанец (2 версты) и садятся там в поезд; хорошо, если попадется вагон со стеклами. Поезд уходит в 3 часа дня и в 6 часов вечера приходит в Окницу. Там надо выходить и идти спать к еврею Моткарю (какие там условия, я не знаю, но, наверно, не очень хорошие). В 6 часов утра уходит поезд; в 4 часа вечера приходит в Новоселицу, где ждет черновицкий поезд. (Раньше он не ждал, и в Новоселице нужно было ждать около суток). В 7 часов вечера поезд приходит в Черновицы. Нам это неважно, но маме будет трудно проделать это путешествие.

Атаки, 19 декабря 1918 (1 января 1919).

Мы решили ехать через два дня, в субботу 21-го. Кажется, поедем двумя партиями, а может быть и все сразу, еще не знаю. Сегодня мы были приятно изумлены: из Могилева переправились две дочери священника и привезли нам очень много вещей, о которых мы уже и думать забыли. У нас с собой были только те платья, которые были на нас надеты. Все это уже сделалось грязное и противное. Дети привезли нам с Татьяной хорошие новые пальто, суконные платья, шелковые кофточки, мне черную бархатную юбку, маме и Ольге тоже кое-что из платья, потом порядочно белья. Теперь неприятный вопрос о том, как ходить по Черновицам такими неприличными пугалами, отпал, что очень неожиданно и радостно.

В Могилеве жить становится все ужаснее: грабежи все усиливаются, анархия все растет. Бедная моя Нудичка! Когда я думаю о ней, меня как будто совесть мучит. Я ее люблю, как родную, совсем не меньше всех наших, и так боюсь, что с ней случится что-нибудь дурное. Если бы можно было уговорить ее бросить все, ехать к нам! Но ведь она ни за что не оставит дом, пока там хоть что-нибудь будет цело.

Большевики все разграбили во дворе: оба магазина с зерном и мукой, так что есть нашим скоро будет нечего. Пожгли дрова, шкапы и каток; все изуродовали в саду и даже обрушили какие-то постройки. Но дом пока цел, только весь второй этаж занят под какую-то канцелярию. Мебель пока тоже цела, каким-то чудом; даже с кожаной мебели не срезали кожу.

Атаки, 20 декабря 1918 (2 января 1919).

Передумали: едем все в воскресенье. Кое-что не готово, белье еще сушится. Все-таки надо устроиться, чтобы ехать. Само путешествие уже не кажется таким страшным. Плохо только то, что румынские солдаты раз 10 или 20 осматривают вещи, причем будто бы выбирают то, что им нравится. Все это делается для того, чтобы получить несколько лей, но при незнании языка и при страшной грубости румынских солдат эти обыски могут быть очень неприятными.

В Черновицах плохо то, что очень скверные гостиницы. Та, в которой мы жили в июле (Hôtel Bristol) совсем непригодна для житья: гадость, грязь, клопы. В "Schwarzer Adler" живут все моги-

левские беженцы. Тут нам рекомендуют "Hôtel Central", который, насколько я себе представляю, ужасная дыра. Потом есть какая-то "Schweiz", которая я не знаю где. Квартиру найти трудно, пишут Красовские. Жить же долго в гостинице очень дорого и неудобно. Конечно, отсюда нельзя делать какие-нибудь предположения, но наша поездка туда и наше пребывание там не представляются в розовом свете. Мы так привыкли к здешним несуразным условиям, что жить здесь или тащиться куда-то – мне все равно. Только бы с Нудичкой не случилось ничего плохого, да здесь наши не болели бы, – кажется, все остальное все равно.

Из Киева приехал какой-то исправник и рассказывает все совершенно противоположное тому, что рассказывал Бразул. Тот говорил, что Петлюра ввел в город такие блестящие войска, что они напомнили ему нашу прежнюю гвардию. Этот говорит, что это были отвратительные банды. Почему люди так врут? Ведь теперь нельзя верить никаким рассказам: всегда больше половины оказывается вранье.

Если верить исправнику, в Киеве творится что-то такое, что далеко превосходит июль прошлого года, Мариинский парк и другое. Будто бы в Национальном Музее засело 3000 офицеров, которые не хотят сдаться большевикам. Правда, сдаться – значит умереть. Союзники по прямому проводу (из Одессы?) требуют выпустить их с оружием в руках. Конечно, большевики этого не сделают, и они погибнут от голода...

Атаки, 22 декабря 1918 (4 января 1919).

Сегодня последний раз спим в ночлежке на одрах. Хозяйка содрала с нас 500 рублей за полтора месяца за две комнаты. В общем наше пребывание в Атаках стоило больше 10 тысяч. Надоело все это: пора распрощаться с Атаками!

Окница, 23 декабря 1918 (5 января 1919).

Добрались до Окницы необыкновенно удачно. В Черновицах опишу подробнее наше путешествие. Сейчас 7 часов вечера. Мы только что выпили чай, а теперь каждый устраивается, как хочет. Ольга лежит на "софе" и говорит, что пора бы и спать: завтра вставать в 4 часа утра. Боба смеется над нею и спрашивает, спит ли она уже. Мы устроились в лучшем помещении Окницы: у нас две комнаты с "софами", горит керосиновая лампа, печь жарко натоплена. Это учреждение называется не то Мошкаря, не то Бронштейна. Если нас не будут кусать клопы, нам сильно повезло. Завтра предстоят неприятные переживания.

Черновицы, 26 декабря 1918 (8 января 1919).
«Hôtel Central».

Мы живем второй день в Черновицах, но уже успели упасть духом. Атаки так надоели за последнее время, что сюда мы стремились, как куда-то в рай. Как и следовало ожидать, на рай здесь совсем не похоже. Жить в гостинице неприятно, неудобно и дорого, а денег достать неоткуда. Вообще, положение крайне неопределенное и напряженное. Кажется, что пройдут чуть ли не годы, пока что-нибудь выяснится, а как жить эти годы, или даже эти месяцы, что делать, чем зарабатывать свой хлеб, – я не знаю и ничего не могу придумать. Все упали духом; все ходят какие-то пришибленные, неразговорчивые и мрачные. В общем – мерзко.

Наше путешествие сюда прошло так благополучно, как мы и не ожидали.

Выехали из Атак на четырех извозчиках, что составило целый поезд. Дорога была очень хорошая (сравнительно), колес и рессор мы не ломали, никто нас не грабил, и вообще не случилось ничего из тех ужасных вещей, которые нам пророчили атакчане. В Волчанце мы вполне удачно погрузили наши 16 вещей в вагон 4-го класса и заняли две скамейки. Стекла были около наших скамеек, пол был страшно грязный, и даже на скамейках лежали комки грязи. К нам было набилось несколько солдат-румын, но какой-то офицер прогнал их. Так мы ехали от трех часов до пяти. В Окнице нас ждал предупрежденный буфетчик с тремя знакомыми носильщиками, которые и перетащили наши вещи к еврею Бронштейну (родственник Троцкого?). Я мало что видела от Окницы, надо было пройти

главную улицу, которая представляла из себя жидкое болото, где грязь была гораздо выше щиколотки. Хорошо, что мы были в сапогах. Комнаты показались нам уютными, потому что было тепло и светло.

Мы напились чаю и устроились на пресловутых "софах". Эти "софы" – маленькие кушетки, короткие, узкие и твердые, как дерево. У мамы была кровать с матрацем и пружинами, так что она спала хорошо, но мы чувствовали себя не очень удобно на наших ложах. Папа, Татьяна, Боба и Ольга еще ухитрились кое-как спать, но Андрей и я проворочались на этих прокрустовых ложах всю ночь. Я засыпала только очень ненадолго и была очень рада, когда наконец часы доползли до 4-х часов утра и можно было зажечь лампу и встать. Мы наскоро выпили чай и пошли с носильщиками на вокзал. Было не только темно, но совсем черно. Из двух фонарей один сейчас же потух; чуть ли не ощупью, держась друг за друга, мы брели за носильщиками. На улице я уже не стала пробовать идти по положенным маленьким камешкам, а просто шла наугад вброд по глубокой черной грязи.

В поезд мы попали тоже удачно: заполнили купе 2-го класса, без стекол правда, но окна заткнули буркой и Бобиной накидкой. Купе осветили свечами, которые захватили с собой. Ольга и я забрались на верхние места и решили хорошенько выспаться. В купе подсели румынский офицер, какая-то девушка и какой-то человек. Таким образом, все было полно и уж никто не пробовал к нам садиться.

Из Окниц мы должны были уехать в 6 часов, но поезд тронулся только после половины девятого. Как я ни пробовала заснуть, ничего из этого не вышло. День тянулся томительно долго. Даже когда рассвело, в купе было полутемно, так как окна были завешены и оставалась только половинка окна со стеклом. Как это томительно и скучно – сидеть целый день в полутемном вагоне, усталыми, невыспавшимися. Мы сидели и клевали носом. Боба разговаривал с румыном, который оказался очень симпатичным человеком. На остановках поезд стоял по часу и больше; было ужасно скучно, все устали.

В Новоселицу поезд должен был прийти в 4 часа, но опоздал на полтора часа. Пересадка на узкую заграничную колею чуть не кончилась очень глупо: Татьяна, Ольга, Боба и Андрей побежали вперед занимать места, а папа, мама и я остались с частью вещей. Хорошо еще, что к нам пришел носильщик и с его помощью мы перенесли вещи и сели в вагон. Поезд отошел в ту минуту, как мы втащили

последний чемодан; билеты взять, конечно, не успели. Еще одна минута, и Таня и Ольга уехали бы, а мы все остались бы (Боба и Андрей таскали вещи) на 24 часа в Новоселице, где негде сидеть, кроме четырех стен пострадавшего от военных действий вокзала и еврейского заезда в местечке. Нам опять повезло: тот офицер, который ехал с нами от Окницы, провел нас в купе, где сидели только офицеры. Они были очень любезны, помогли уложить вещи и дали места. Из всего поезда это было единственное купе со стеклами. Несмотря на то, что Буковина принадлежит теперь Румынии, служащие на железной дороге австрийцы. Мне почему-то было очень приятно увидеть кондуктора с добродушным лицом и услышать немецкий язык. До Черновиц ехали только два часа.

Но зато в Черновицах нам не повезло: мы объездили все гостиницы и нигде не было номеров. Было уже половина одиннадцатого, опустился густой туман; было холодно, все устали. Предстояло чуть ли не ночевать на улице. Наконец, нас привезли в какую-то отвратительную дыру, какой-то еврейский притон, куда бы мы раньше даже не вошли. Комнаты грязные до последней степени, холодные, такие, что мы, войдя, не решились снять пальто. Они были скорее похожи на такое место, где могут убить или ограбить, чем на простые жилые комнаты. При одном виде отвратительно грязных кроватей мы совсем приуныли. Лечь на такую гадость было бы невозможно.

Папа и мама опять сели на извозчика и поехали искать что-нибудь, а мы все сели, не снимая пальто, и стали ждать. Все совсем упали духом. Еще никогда мы не проводили так Сочельник.

Наконец вернулся папа и сказал, что нашли комнаты в том самом «Hôtel Central», где нам сказали, что ничего нет. Оказалось, что Залесский, Вальтер и еще один поляк уступили нам свои номера. Давши взятку portier, мы получили еще два. Наш номер, большой, как сарай, ярко освещенный, чистый и сравнительно теплый, показался необыкновенно роскошным. Мы спустились обедать в ресторан, причем все с удивлением оглядывали нас, потом легли спать.

На другой день, одевшись в хорошие, приличные платья, мы преобразились. После атакских костюмов мы выглядели совсем другими людьми. Все были веселы и рады, что вернулись более или менее к прежнему виду. Утром ходили по городу, причем мы купили себе новые шляпы. Цены тут на все очень высокие, а вовсе не такие безобидные, как нам писали. Жизнь в гостинице обходится безобразно дорого. Теперь мы употребляем все усилия, чтобы найти

квартиру, что тут очень трудно. Где мы только ни живали, попробуем устроиться и в Черновицах. Наше пребывание здесь по-видимому затянется.

Черновицы, 30 декабря 1918 (12 января 1919).
«Hôtel Central».

Завтра неделя, что мы здесь, а все еще нет надежды выбраться из гостиницы. Эти дни мы думали, что скоро что-нибудь устроится, так как наклевывается квартира, и даже очень хорошая. Но из этого ничего не вышло, и мы опять остались ни при чем. Сегодня одна личность обещала нам найти квартиру, или даже виллу, если мы хотим, потом принести кофе, какао, мыло, сахар, сукно и вообще все, что только пожелают "die Herrschaften", но я не знаю, что из этого выйдет.

Настроение у всех стало немного лучше; хоть не так часто сцепляются. Все-таки положение все такое же неопределенное.

Черновицы, 1 (14) января 1919.
«Hôtel Central».

Опять Новый год, и опять все тот же вопрос: неужели еще предстоит такой же год, неужели не будет перемены к лучшему?

1917 и 1918 годы медленно проползли, оставив о себе тяжелые воспоминания. Теперь думать о них не хочется: уж очень тут наболело. Не хочется и делать планы на этот наступающий год. Все равно хорошего быть ничего не может. Все мерзко, все отвратительно!

Вчера мы если и не встречали Новый год, то все-таки провели вечер не так, как всегда. В 8 часов пошли в кинематограф, так как давался фильм "Анна Каренина", который нам давно хотелось посмотреть. Конечно, все это очень теряет с глупыми немецкими надписями и вырезками, но все-таки было приятно увидеть что-то русское. Были в кинематографе все мы и Красовские. После окончания, в одиннадцатом часу, мы пошли ужинать в "Румелию", где я чуть не заснула. В номер вернулись только к двенадцати. Все как-то избегали говорить о том, что наступил новый год. Очень уж грустно было вспоминать бедную Нудичку, одну, там, в Могилеве. Как-то она встретила 1919 год?

Сегодня мы с Татьяной встали в половине девятого, так как хотели попасть в собор, где служил митрополит. В Черновицах больше всего православных церквей, но с тех пор, как румыны оккупировали Буковину, в них служат только по-румынски. Как-то странно и неприятно присутствовать при православном богослужении и не понимать ни слова. Видно, что многие прихожане тоже ничего не понимают: у многих в руках славянские молитвенники. Митрополит Владимир Репта на вид такой бедный, безобидный старичок. Говорят, что ему 82 года. Глядя на него, трудно себе представить, что это тот самый Репта, про которого во время первого занятия Черновиц русскими войсками "Новое время" писало сердитые статьи, изумляясь, почему православный митрополит бежал при приближении русских войск? Про Репту говорили, что он не любит русских и поощряет украинскую политику. Сейчас трудно себе представить, что такой безобидный старичок может интересоваться политикой. В общем, здесь в соборе я не чувствую себя, как в настоящей православной церкви. /.../

Черновицы, 2 (15) января 1919.
«Hôtel Central».

Скверные известия! Если только это правда, то очень скверные известия! Сегодня Рафальский, Потоцкий и Лисснер ходили к здешней английской миссии подавать какую-то глупейшую записку о положении в Подольской губернии (будто им до этого есть какое-нибудь дело!). Те их приняли холодно и сказали, что англичане и французы признали Петлюру, который обязался заплатить долги и выставить армию против большевиков; посоветовали не ездить в Одессу, так как может случиться, что французы оттуда уйдут; на вопросы о Деникине и его армии отвечать уклонялись. В общем, из всего этого можно заключить, что так называемые союзники готовятся сделать нечто до того некрасивое, чего не бывало еще даже в английской истории: с самого начала не признавая Украину и поддерживая Добровольческую армию, а теперь, признав первую, предают и губят вторую, уже не говоря о тысячах других невиноватых людей. Пока это кажется так чудовищно, что еще плохо в это верится. Единственное, что было бы простительно, это если у них началось такое же революционное движение и они уже не могут думать о других делах, кроме своих. Но пока нет основания думать, что это так. Если же это правда, то весь свет перевернется, и это и лучше, так как пусть уже тогда все гибнет, а не мы одни!

Мне почему-то всегда казалось, что они сделают-таки нам какую-нибудь пакость, но что это будет до такой степени возмутительное предательство – этого нельзя было ожидать!

Черновицы, 5 (18) января 1919.
«Hôtel Central».

Послезавтра наконец перебираемся на квартиру. Так надоел «Hôtel Central» со своими мышами, холодом и храпящими по ночам жильцами в соседнем номере. Хотя в новой квартире поместимся только мама, Татьяна, Ольга и я, а папа, Боба и Андрей живут в двух комнатах на двух разных улицах, но все-таки я рада, что мы будем в своем углу, где никто не будет мешать. Мне так хочется уйти из гостиницы и зажить как-нибудь похоже на домашнюю обстановку, что я с удовольствием думаю о таких занятиях, как варить обед и стирать белье. Говорят, тут почти невозможно достать прислугу. Квартиру пришлось нанять на три месяца, но теперь уже нечего и думать о возможности уехать раньше. Даже делают планы на будущее, о которых я напишу ниже.

Последнее время все приободрились (кроме того вечера, когда узнали о союзниках; настроение было отвратительное). Папа и мама заняты квартирой, все даже веселы. Мы с Ольгой, по прежней петроградской привычке, "стреляем" по городу целыми днями, покупаем разные пустяки ("fünf deka") и ищем новые улицы. Третьего дня мы купили яблок и чего-то липкого и красного и пошли в Residenz. Красовский в претензии, что все узнают, что он русский, а нас наоборот никто не хочет признавать за русских. Когда мы с Ольгой идем по улице, то вслед нам говорят: "Das sind wohl Engländerinnen!" В разговоре нам не хотят верить, что мы "geborene Russen", и т.п.

Придя в Residenz, мы хотели попасть внутрь, но нам сказали, что там идет "eine Sitzung" и чтобы мы приходили после двух; тогда мы пошли в собор и хотели пробраться в парк, но он оказался запертым. Мы заходили в какие-то ворота, но попали один раз на задворки, а другой раз в семинарию, но все-таки не нашли вход в парк. Тогда с горя тут же разъели красную штуку, к величайшему изумлению каких-то злых на вид батюшек, которых почему-то встречали в большом изобилии. Мы с Ольгой всегда гуляем весело, но есть яблоки и "fünf deka" я ей не позволяю там, где кто-нибудь видит.

Вчера мы с Татьяной и Красовскими ходили к одному православному священнику-румыну, с которым знакома вся русская колония. Отец Михаил* очень симпатичный человек, очень любит русских и не любит униатов и Шептицкого. Он рассказывал нам много интересного. Завтра мы все пойдем к нему с Красовским.

Эти два последние дня все повеселели благодаря новому плану, который выдумал Красовский. Он состоит в следующем: нанять недалеко от города небольшой хутор и устроить там трудовую колонию из семьи Красовских и нашей; устроить ферму и небольшое полевое хозяйство и делать все самим, для полевых работ найти несколько человек офицеров вроде Власова и Никифора, которые вместе с Бобой и Андреем делали бы все самые трудные работы, а молочное хозяйство, птицеводство, кролиководство и огород делали бы мы, т.е. Татьяна, Ольга, я, Красовская и Люся Красовская. С этого хутора мы постарались бы иметь некоторый доход, чтобы поддержать свои финансы, которые скоро иссякнут. Это план, а что из него выйдет – еще трудно сказать. Теперь вся могилевская колония подумывает о том, как зарабатывать деньги. Скверные настали времена.

Мы еще долго, если и не навсегда, не вернемся домой. Надо что-нибудь здесь придумать. Кажется, Крупенский и еще кто-то хотят купить самое большое здесь *café* и промышлять таким образом. Не знаю только, как они это сделают, когда у них нет денег. По-моему, мы лучше придумали. Что может быть лучше дела при земле, дела, которое нам знакомо и дорого? Да за одно то, чтобы иметь дело с животными, доить коров, поить телят, разводить кроликов и цыплят, я бы дала год жизни! Опять попасть в деревенскую обстановку, работать с хорошими людьми, иметь хоть и не свой, но все-таки кусочек земли с травой, деревьями и животными, – да что может быть лучше? Если все это осуществится, мы устроимся так хорошо, как и не надеялись.

Через несколько дней папа и Боба поедут в Атаки, чтобы попробовать достать что-нибудь из Могилева. Если возможно, надо достать денег. Говорят, теперь сообщение с Могилевом гораздо легче, чем было раньше, потому что румыны дают пропуск на 8 дней. Я бы не хотела поехать сейчас в мрачные Атаки, увидеть майдан и всю компанию нотариуса. Хотя Черновицы и маленький городишко, но

---

*) Не священник, а диакон, отец знаменитой певицы венской и мюнхенской оперы Viorica Ursuleac. (Прим. 1982г.).

тут все-таки есть хоть какие-то интересы, и не чувствуешь, что мозг спит и что ты медленно, но верно опускаешься.

Завтра будет служба в соборе и оттуда крестный ход и водосвятие. Конечно, идут не на Прут, а на какой-то Marienplatz, что не очень далеко. Мы пойдем непременно, хотя у меня уже насморк. Неприятно зимой ходить без шубы, даже когда зима такая, как здесь: все время нет мороза, мокро, туман, но холодно. Теперь наши шубы наверняка погибли в Киеве, а мы мерзнем в пальто. Интересно, когда опять настанут нормальные условия жизни?

Черновицы, 7 (20) января 1919.
«Hôtel Central».

Вчера провели день довольно разнообразно; все-таки тут лучше, чем в Атаках! Татьяна, Ольга и я встали утром раньше обыкновенного и пошли в собор. Конечно, пока Татьяна и Ольга раскачались со своих одров, да пока мы ходили пить кофе, — поспели только к самому концу службы. Правда, что это и не так плохо, так как мы ничего не понимаем по-румынски. Около десяти крестный ход двинулся из собора. Мы пробрались в самый перед и шли чуть ли не за самим митрополитом, среди каких-то важных здешних бюргеров и офицеров. Прошли таким образом через весь город на Marienplatz, где в маленьком сквере стоит крест над небольшим водоемом. Тут святили воду. Здесь этому делу по-видимому придают большое значение и сам ход на Иордан стараются сделать как можно эффектнее. На нас, видавших лучшее, это не производит большого впечатления, но православные жители Черновиц очень горды своей "prozessione". /.../

После обеда мы с мамой ходили на новую квартиру. Там все еще вверх дном, переедем только завтра.

Вечером, к четырем часам, мама, Татьяна, Ольга, я и все Красовские пошли к отцу Михаилу, который накормил нас кутьей. Он мне очень нравится. Хочу попросить его написать мне ектению по-румынски, чтобы можно было понимать в церкви.

Он обещал помочь найти хутор для "коммуны". Теперь мне почему-то кажется, что из этого ничего не выйдет! Все опять начинают размякать. Ни к чему-то мы, славяне, не способны! Раньше я обижалась, когда это говорили, но теперь и в себе самой и в окружающих вижу эту черту славянской лени, славянской непоследова-

тельности, которая живет в каждом славянине. Мы все можем сделать сгоряча, под влиянием минуты мы на все способны, но остынет пыл, упадет энергия – и опять мы ни на что не годимся. Мы раньше верили в гегемонию славянства и теперь еще иногда повторяем то же. Разве это не похоже на то, что мы, стоя над павшей лошадью, говорим о том, что завтра она потащит воз?

ЭПИЛОГ

... На этом я кончаю диктовать мой дневник. Записью 7 января 1919 года кончается 3-я тетрадь, продолжения не существует. Я обрываю мои записи переживаний 1914-1919 гг. сознательно и без большого сожаления.

Наше невольное пребывание в Черновицах, сначала в «Hôtel Central», а потом в нанятой нами квартире, оборвалось неожиданным и резким аккордом. Наша жизнь и судьба в течение нескольких дней, или даже нескольких часов, изменились. Этой перемены мы тогда не заметили и не поняли. Это событие я хочу кратко описать по памяти: как "сама судьба взяла нашу жизнь в свои руки". А также сказать несколько слов о судьбе членов моей семьи, т.е. тех лиц, которые играют такую большую роль в моих воспоминаниях: о судьбе моих родителей, братьев и сестер.

Наша жизнь в Черновицах начала налаживаться. Мы подружились с отцом Евгением Козаком, профессором православной Духовной Академии, и с диаконом о. Михаилом Урсуляком. Оба были ярые "статороссы" и противники австро-униатской Украины. Оба мечтали о великой и мощной России. По протекции проф. Козака, мудрого и добрейшего патриарха с белой бородой, нас троих — Татьяну, Ольгу и меня — записали как "ausserordentliche Hörer" на курс в университете (философия и богословие). С этого момента мы были устроены, с радостью и энтузиазмом посещали курсы. Первое время

нашего пребывания в Черновицах лекции читались еще на немецком языке. Профессор Siegel читал о Спинозе. Мы все больше и больше усваивали немецкий язык. На богословском факультете преподавали на немецком, румынском и церковно-славянском языках. Помню, какое удивление вызвало среди студентов-богословов, когда Ольга начала бегло читать "В начале бе Слово..."

Кроме университета, были, конечно, все работы по домашнему хозяйству, скорее нудные и скучные. После первых попыток найти прислугу мы решили делать все сами. "Дома" настроение было натянутое, нервное, все легко раздражались. Сейчас я не помню, как развлекались наши братья. Мы же трое много бродили по городу и везде и во всем находили возможность быть довольными и веселыми. Помню также несколько тяжелых болезней. Должна прибавить, что все врачи, которых иногда необходимо было посещать, никогда не соглашались брать платы: узнав нашу фамилию, усердно старались помочь "so einer hohen Familie". Теперь, в 1982 году, это звучит, как сказка. Были тогда времена другие, или люди? Тогда все старались помочь "бедным беженцам", и наши протесты не помогали.

Потом мы часто вспоминали один "прекрасный день": Ольга и я были одни дома, – не знаю, где были остальные. У Ольги был нарыв на веке и перевязка на голове. Я сидела и читала. Вдруг звонок у входной двери. Редкость – к нам мало кто ходил. Ольга пошла открывать дверь и вернулась в комнату с пожилой, хорошо одетой дамой. "Ah, c'est vous la petite princesse?" – спросила она.

Нас тогда нелегко было удивить, но то, что она нам сказала, было ново и почти неправдоподобно. Она – графиня Hélène Saint-Quentin – училась в пансионе в Дрездене и там была дружна с одной "princesse Sayn-Wittgenstein". У графини было имение в дальних окрестностях Черновиц. Она жила одна: муж ее и трое детей были еще (после окончания войны) в Вене и должны были в ближайшее время вернуться домой в Буковину. Приехавши по делам имения в Черновицы, графиня остановилась в «Hôtel Central», там услышала о нас и решила разыскать родственников своей подруги. Скоро вернулись родители и Таня. Уже шел оживленный разговор по-французски.

Скоро, узнав нас поближе, графиня пригласила нас – трех сестер и брата Андрея – на лето к себе в имение Жадова, в долине реки Серет. Я не могу сейчас вспомнить все подробности. Графиня стала часто приходить к нам и уговаривать нас переехать к ней. Тем временем вернулись из Вены ее муж (отставной генерал 7-го драгунского полка австрийской императорской армии), дочь Дэзи

(ровесница Ольги) и два сына. Теперь я с удивлением вспоминаю, что тогда нам было "стыдно" признаться в нашем безысходном положении; было стыдно быть бездомными "беженцами". Хотелось перед "чужими" спрятаться. Ведь тогда мы были одни из первых эмигрантов в Европе.

Таким образом летом 1919 года мы попали в деревню. Деревенский дом, хотя и очень пострадавший во время войны (Буковина несколько раз переходила из рук в руки), запущенный сад, лето, лес! Для нас началась новая жизнь.

Раньше мы совсем не знали, что такое Буковина. И еще меньше знали, что в самой Буковине существовали строгие подразделения: соседние долины рек Серета и Прута – это были два отдельных, особых мира. Мы попали в мир Серета – "das Serethtal", – сказочное место: отроги Карпат, огромные буковые и хвойные леса, живописная река Серет. Особенность этой страны – удивительная терпимость ее жителей: румынские, немецкие, украинские (гуцульские), еврейские деревни жили хотя и каждая по-своему, но удивительно терпимо по отношению друг к другу. Почти все люди говорили на нескольких языках.

В долине Серета жило, кажется, пять помещиков, некоторые скромно, другие владели огромными имениями. Почти что все эти помещики были или в родстве, или дружны между собой, но были и семейные и политические распри.

Наше появление в семье Saint-Quentin подействовало на спокойный Serethtal, как бомба. По несколько раз в неделю запрягалась крестьянская "арба" и семья возила нас показывать соседям и родственникам. Это была сенсация. Потом никогда в жизни я не встречала столько гостеприимства, столько ласки и симпатии, как в чужой нам Буковине. Нас как бы передавали из рук в руки. Всю мою жизнь я с благодарностью вспоминаю этих таких добрых новых друзей. Имена и названия до сего дня звучат напоминанием любви, приюта и дружбы: имения Жадова, Слободзия (Marie Kraigher), Панка (баронесса Marie Wassilko), Carapciu (Marie von Grigorcea), Berhomet (граф Constantin Wassilko). Везде были друзья, везде было трогательное гостеприимство. К тому же – настроение первого послевоенного года. Неудивительно, что мы всем сердцем предались радости жизни. Воспоминания об Атаках и т.д. отошли в прошлое.

Были и другие события: отъезд брата Бориса в армию генерала Врангеля. Он вернулся в "лебединый стан" (по словам Марины Цветаевой), где и погиб, как мы узнали много лет спустя. Последняя весть от него была прощальняя карточка с парохода из Варны в Одессу.

Свадьба сестры моей Тани в ноябре 1920 года с сыном самого крупного помещика в Serethtal – Konstantin Wassilko. Брак, который обещал столько радости и счастья, принес молодым, нежно любящим друг друга, много горя. Мой beau-frêre Константин умер от рака в 1932 году, через 12 лет после свадьбы. Он оставил Таню с двумя маленькими детьми. После смерти Константина и тяжелой болезни самой Тани, она и ее дети проводили каждое лето, до начала 2-й Мировой войны, у нас в Schönstein. В сентябре 1939 года они уехали последним поездом обратно в Бергомет. Прошло 34 года до того дня, когда мы смогли опять встретиться, когда всей ее семье (7 человек) с большими трудностями и препятствиями удалось вырваться из коммунистического "рая" Румынии. Вся их семья эмигрировала в Германию. Таня прожила последние полгода со своей дочерью и ее мужем в Lünen, где скончалась в 1974 году. Она там и похоронена. За эти 34 года разлуки наши жизни пошли по совсем различным дорогам, но дружба и любовь пережили и это испытание.

Мама жила и скончалась у нас в Чехии, в имении моего мужа, графа Андрея Разумовского, в марте 1927 года. Мы похоронили ее на тихом деревенском кладбище, которое граничит с нашим садом в Schönstein. В 1939 году мы похоронили рядом с ней брата моего Андрея. Сестра моя Ольга, после долгих мытарств в Чехии, Франции, Венгрии, Австрии, умерла у нас в Вене (в 1943 году) и похоронена на русском кладбище в Вене.

После смерти мамы, отец мой женился на Елизавете Михайловне Карцевой, вдове генерала Карцева, убитого в 1917 году собственными солдатами. Семья Карцевых были друзьями моих родителей в Киеве. Мой отец жил и умер (в 1934 году) на острове Капри, где и похоронен на одном из прекраснейших кладбищ мира.

Брат мой Андрей годами жил в Бухаресте, где работал в банке Chrissoveloni. Он женился на болгарке – Раде Дренской. Потом заболел лейкемией, приехал тяжело больной в Вену, где прожил еще полгода, и умер у нас в ноябре 1939 года.

Теперь мне остается только сказать вкратце, что судьба готовила мне самой в быстротекущей жизни.

Скоро после приезда в Черновицы мы все убедились в том, что все мы должны стать на собственные ноги. Андрей получил место ночного сторожа в селе Зарожанах в Бессарабии. Его опасная работа заключалась в охране и защите сахарного завода от партизан, прятавшихся в обширных кукурузных полях. Жалованье он получал нищенское, но все-таки ему удавалось содержать родителей, Ольгу и меня, он даже настаивал на том, чтобы Ольга и я получали какие-то гроши в качестве карманных денег. Татьяна была замужем в Бергомете, Боба в Крыму. Наши родители и я с Ольгой жили попеременно в маленькой квартире в Черновицах и в маленьком живописном домике на краю прекрасного леса графа Della Scala, который пригласил нас пользоваться им так долго, как мы хотим.

Я помню, что именно в этом доме, летом 1920 года, зашел разговор с тетей Константина Вассилько, который опять изменил мою жизнь. Графиня Evi Wassilko, вдова дяди Константина, происходила из Силезии, бывшей Австрии и недавней Чехии. Она часто рассказывала нам о своих соседях и друзьях, графах Разумовских, и о дружбе своей с их двумя дочерьми.

Услышав в первый раз это имя, мы энергично запротестовали: "*Русский* исторический знаменитый род графов Разумовских не существует (только по женской линии) и в России вымер!" "Может быть, в России, – ответила Э. Вассилько, – но не в Австрии". С удивлением мы услышали о потомках графа Кирилла Григорьевича Разумовского, об его сыне Григории, совсем поселившемся в Австрии, знаменитом ученом-геологе, о брате его Андрее, русском после при Венском Конгрессе в 1814-1815 гг., о потомках Григория Кирилловича, о внуке его Камилло, помещике в австрийской Силезии и соседе Эви Вассилько, о трех сыновьях его – Льве, Камилло и Андрее. Старший, Лев, погиб во время войны в Карпатах. Графиня Вассилько рассказала также, что ее подруга, графиня Marie Spiegelfeld, одна из дочерей графа Камилло, живет там же, в имении Мельч, с мужем и четырьмя маленькими детьми и старается найти для них гувернантку, говорящую по-французски. Через некоторое время она спросила меня, не хочу ли я поступить на это место.

У нас тогда вода подступала к горлу: надо было работать, содержать родных и саму себя. После недолгого раздумья я согласилась.

На лето 1921 года Эви Вассилько с тремя детьми ехала к себе домой в Чехию и предложила взять меня с собой. Тогда я могла пробраться через границы Румынии, Польши и Чехии только секретно: у меня не было даже тени какого-нибудь паспорта. Это удалось, и после очень неприятных двух дней и ночей в тогдашних послевоенных условиях я очутилась перед канцелярией имения гр. Разумовских в Schönstein bei Troppau.

Моя жизнь гувернантки, потом невесты и жены Андрея Разумовского не относится к запискам этого дневника.

На прощанье и в благодарность я хочу сказать еще несколько слов. Только Божья рука могла провести нас через все страхи и смертные опасности двух мировых войн и революции живыми и невредимыми. В 1914 году нас было трое молодых девушек-подростков, в 1939-1945 гг. были опять три девушки-подростка (и два подростка). Это были мои дети. В обоих случаях Господь спас нас всех. Прошу моих детей и внуков помнить это.

Вена, март 1982 года.

СОДЕРЖАНИЕ

Imprimerie de la Manutention à Mayenne — 29 janvier 1986 — N°9360

Серия "Наше недавнее"

Вышли из печати:

1. Н. В. Волков-Муромцев. Юность. От Вязьмы до Феодосии.
2. Н. А. Кривошеина. Четыре трети нашей жизни.
3. О. А. Хрептович-Бутенева. Перелом (1939—1942).
4. А. В. Герасимов. На лезвии с террористами.

I.S.B.N. 2-85065-062-5